

Рз
1726

АРКАДИЙ ПЕРВЕНЦЕВ

Кочубей



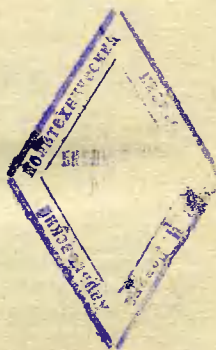
92
1726

АРКАДИЙ ПЕРВЕНЦЕВ

Кочурба

РОМАН

1464748



МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1991

ББК 84Р7

П26

Редактор А. А. Абрамов

Первенцев А. А.

П26 Кочубей: Роман. — М.: Воениздат, 1991. — 272 с.

ISBN 5—203—01001—3

Роман А. Первенцева «Кочубей» посвящен истории гражданской войны на Северном Кавказе. Социалистическая революция выдвинула целую плеяду военачальников, вышедших из гущи народа, многие из них стали выдающимися людьми своего времени. Один из них Иван Кочубей — герой настоящего романа.

Книга рассчитана на массового читателя.

II 4702010201—024 148—91
068(02)—91

ББК 84Р7

ISBN 5—203—01001—3 © Оформление, Воениздат, 1986



катеринодар был оставлен. Кочубей уходил к Армавиру, прорываясь к главным силам. Вслед ему, покидая станицы, на быстрых конях стремились казаки.

— Примай, батько, до своого табору, — просили они.

— Добре, хлопцы, добре, — зорко вглядываясь в новых бойцов, говорил батько. — Не пытаю, шо вы за люди и шо вы до цего робыли, бо я не поп-батюшка, а прошу вас порубить вон тех беляков, шо задерживают нас бия¹ того витряка...

Пели над головами кадетские пули. Кидались в седла хлопцы, на скаку выхватывая узкие кубанские шашки. Клубилась жестокая рубка у ветряка. Очищалась дорога. Кочубей улыбался, надвигая до самых белесых бровей папаху, скакал к месту боя.

— Добре рубались, добре... Накрошили капусты... Надо зачислить до части.

Мелькали по балкам станицы и хутора. Зеленели поля кукурузы и подсолнуха. Местами из диких тернов и зарослей донника взвивалась встревоженная птица: коршуны-шулеки, ястребы. На курганы взлетали всадники головной походной разведки. Приподнимались в стременах, выглядывая путь-дорогу.

Вел отряд осторожный Рой, бывший есаул, а сейчас начальник штаба. Недавно выбился в есаулы за разумную отвагу и сметку. Только год назад у озера Вап поздравил генерал Баратов сотника Роя с высоким казачьим чином. Не было сейчас на плечах его офицерских различий...

— Начальник штаба, может, собьем кадета? Раньше нашего занял станицу, — проверял есаула Кочубей, получив донесение о крупных силах, преградивших путь.

— Успеем еще порубаться вволю, надо обойти по Сухой балке, — советовал Рой.

¹ Бия — около (укр.).

— Добре! Такая и моя думка, — соглашался Кочубей, и отряд избегал западни.

Пепельной пылью покрывались лица, крупы лошадей и лаковые крылья тавричанских тачанок. Кониверюги несли те тачанки.

Забияка-ветер играл красным бархатом отрядного штандарта. Золотые махры горели под солнцем. Переливались шитые кореновскими монашками буквы. Под штандартом — родной брат Кочубея, Игнат. Когда схватывались степные ветры, нарочно разматывал знамя Игнат на всю ширину тяжелых полотнищ. Клонился гнедой Игнатов жеребец, разметанная полоскалась грива, и казалось — ныряла в степных волнах порывистая лодка под бархатным парусом. Да разве одному Игнату было любо и дорого багряное знамя!..

II

Сорокин полулежал на покрытой текинскими коврами тахте. Он был в чесучовом бешмете и мягких кабардинских чувяках. Рядом с ним, в офицерском, наполовину расстегнутом френче, Одарюк — начальник штаба. Возле них — карта-двухверстка. Сорокин свысока бросал грубые отрывистые замечания. Его убеждал ровный голос Одарюка. Постепенно главноком все меньше и меньше прерывал своего начальника штаба, а голос Одарюка слышался громче и уверенней.

Главноком Сорокин значительно похудел за последние дни. Скулы обострились, пожелтели. Обычно лихо закрученные усы опустились книзу. Главноком был не уверен в завтрашнем дне, прежняя слава его потускнела. Больше двух месяцев его преследовали неудачи.

Он зашагал по комнате. Резко поворачивался, бормотал, будто ни к кому не обращаясь, но зная, что его слушает Одарюк, старался и свои неудачи объяснить своим величием:

— ...Сорокин отстоял Екатеринодар, Сорокин создал армию, Сорокин не допустил немцев на Кубань, Сорокин сам неоднократно кидался в атаки, и только его боялись враги...

Главноком остановился у окна, замолчал.

— Сорокина обвиняют, что он дал отдохнуть и собраться с силами Добровольческой армии. Сальские степи родили Деникина, — тихо сказал Одарюк.

Сорокин обернулся, сжал кулаки:

— Что вы этим хотите сказать?

— Наши неудачи — результат излишней боязливости. Боевые действия на Кубани характерны, — убеждающе продолжал Одарюк. — Кто имеет большую территорию, тот сильнее. В гражданской войне армии создаются на местах и снабжаются тоже из местных ресурсов. Деникин оправился от екатеринодарского поражения в Сальских степях, а окреп и раздался вширь, только выйдя оттуда...

Щеголеватый адъютант главкома Гриненко доложил о прибытии Кондрашева. Сорокин, видимо, обрадовался.

— Пусть заходит, — распорядился он.

Кондрашев, быстро войдя, отрапортовал:

— Прибыл с фронта по вашему вызову, товарищ главнокомандующий.

Главком испытующе оглядел его. Коренастый, подтянутый, с небольшими черными усиками на умном энергичном лице, в темной черкеске, оттененной мягким блеском ценного казачьего оружия, — таков был начальник второй партизанской дивизии, пока еще мало известный главкому. Части дивизии организовались самостоятельно в предгорье из шахтеров, железнодорожных рабочих, фронтовиков-солдат и казачества и вошли в одиннадцатую армию с подходом ее в эти районы.

— Садитесь, — предложил Сорокин.

Кондрашев, мельком оглядев тахту, спросил:

— Не замараю, товарищ главнокомандующий?

Сорокин, метнув глазами, сдержанно буркнул:

— Разрешаю... — Язвительно скривил губы: — Привыкли в навозе спать — вот и странно.

Кондрашев, ничего не ответив, сел, откинув полы черкески. Армейские юфтовые сапоги его были забрызганы грязью. На спине, лице густо лежала пыль. Сорокин присел возле него.

— Думаем добавить тебе славы, — испытующе глядя на Кондрашева, сказал он.

Кондрашев недовольно сдвинул брови, ожидал. Сорокин, прищурившись, но не спуская глаз, помолчал, потом медленно встал. Кондрашев тоже поднялся, откинув за бедро маузер.

— Шкуро, захватив Невинномысскую, закрутил нам горло. Натянет еще раз и задушит. Сегодня ночью вы должны взять Невинномысскую, — твердо отчека-

нил Сорокин. — Вам придаются Дербентский, Выселковский, Крестьянский полки, конный Черноморский и... партизанский отряд Кочубея.

— Кочубей?! — удивился Кондрашев. — Слышал об этом командире. Да ведь он крутится в тылах белых.

Главком довольно ухмыльнулся и пальцем подозвал к окну Кондрашева. Во дворе играли в карты конвойцы. В тени амбара спали дюжие казаки, раскинувшись на душистом сене. У коновязей лошади, мучимые жарой и мухами, терлись одна о другую и нервно помахивали хвостами. Недалеко, в направлении станицы Ольгинской, привычно перекатывались звуки оружейной стрельбы.

— Кочубей подходит, — вслушиваясь, сказал Сорокин. — Прорвется, сукин сын, все-таки. Подробно — у Одарюка...

Одарюк взял Кондрашева за локоть.

— Дмитрий Степанович, — ласково сказал он, — выйдемте в штабную комнату, я вам сообщу диспозицию сегодняшней операции.

Сорокин вдогонку крикнул:

— За Невинку — приезжай — угощу коньяком. — Обращаясь к адъютанту Гайченцу, подмигивая, приказал: — Позови Щербину: он нам пока что организует вышивку.

III

Сорокин не ошибался. В знойный полдень, ложно демонстрируя на правом фланге, беспокойный Кочубей прорвал стыки двух офицерских бригад. Когда белые сомкнулись, то внутри хитро задуманного охвата никого не было. Отряд Кочубея, минуя левобережную Ольгинскую, карьером вырвался на высокий берег Кубани. Кочубей бросил в ножны горячий клинок, и фанфары торжественно прокричали сигналы отбоя и сбора. Огненный ливень с того берега размывал подножие великого Ставропольского плато. Отряд был вне огня. Опаленные боями, измотанные до этого трехсуточным бессонным маршем, бойцы как бы размякли. Сойдя с исхудавших коней и навернув на кулак повод, кочубевцы раскидались на кулигах зеленого пырея. Соперничая с пионами и тюльпанами, вызрели по степи яркие цветы их башлыков, шаровар и шапок. Мертвым

сном спал отряд, кое-где свалились и лошади. Коней мучила жажда, и они не могли есть.

Кочубей был доволен успехом. Дав поспать адъютанту Левшакову не более получаса, растолкал его и грубовато приказал:

— Поедем поглядим, як там раненные да убитые.

Они пробирались между спящими людьми. Кони осторожно ступали копытом, а иногда перепрыгивали через несуразно разметавшегося человека. Левшаков, мучимый озорством и скукой, замахнулся было на одного преградившего им путь казака, но Кочубей сердито остановил его:

— Не замай ты, шпингалет! Ослеп, чи шо? Это ж Пелипенко, взводный с партизанской сотни, добрый рубака.

Пелипенко лежал с распахнутой до пупка рубахой и храпел так, что лошадь его, перестав щипать пырей, обнюхивала его и фыркала.

Кочубей отъехал и, обернувшись, спросил:

— Мабуть, заметил, адъютант, гайтан на шее Пелипенко?

— Ладанка? — догадался Левшаков. — Говорят, помогает, если с христовым волосом.

— Во дурень, а ще мой адъютант! — покачал головой Кочубей. — Где ж у Христа столько волосьев? Таких Пелипенко — як голыша в Кубани. То крест у него. Нияк от старого режима не отвыкнет.

Обозники спали на полостях, под возами. Раненные — их было человек пятнадцать — тоже дремали. Некоторые, тяжело раненные, стонали. Их бережно полила теплой водой из кубышки сестра милосердия, красивая девушка-казачка.

Кочубей, сойдя с лошади, шел по рядам повозок, сбивая плетью головки засохших маков.

— Вот тебе и баба, адъютант!

— Баба завсегда крепче мужика, товарищ Кочубей, — убежденно сказал Левшаков, пытаясь идти в ногу. Левшаков семенил, путал шаг и смущался неумением на ходу переменять ногу. Чуб его был мокр, щеки покрыты пылью, лицо обветрено и шелушилось. Нос облупился, и с него сходила уже, как говорят казаки, третья шкура.

— Это ты верно говоришь, — ухмыльнулся Кочубей. Посерьезнел. Повернувшись, быстро заговорил, не глядя на Левшакова: — Милосердие баба больше по-

нимает, вот шо, дорогой мой адъютант. Тебе человек як блоха, а ей все як сын. Вот хлебороб! Кинет он хлеб в павоз? Нет. А горожанин кинет. Бо он не знает, кто и как тот хлеб рождает.

Заметив командира отряда, сестра милосердия оправила волосы под платком и облизнула яркие губы. Кочубей, подойдя, подал руку.

— Молодец! Оце милосердие. Як кличуть-то тебя?

— Наталья.

— А где убитые, Наталья?

— Там! — Она указала в сторону тачанок.

Уходя, Кочубей спросил:

— А боевое дело як?

— Тоже могу, товарищ Кочубей, — задорно ответила женщина.

— О! — удивился Кочубей. — Вот так загвоздила. Шо ж ты можешь? С пушки аль с пулемета?

— Нет, — застеснялась она, — я — как придется...

— Добре, добре, — похвалил Кочубей, — поглядим, яка ты до кадета милосердная...

Убитых было трое: два казака и третий иногородний, неизвестно откуда взявшийся в отряде. За робкий нрав и безответность его посчитали придурковатым и из оружия ему доверяли только старую драгунскую пашку, да и то без ножен. Этой пашкой он во время утреннего прорыва, когда напали на него сразу трое, зарубил двух пеших юнкеров. Третий же, стащив его с седла, заколол штыком. Трупы лежали, прикрытые тонким рядом. На рядне проступила кровь. Серыми густыми пятнами сидели мухи. Кочубей, гневно согнав мух плетью, приподнял край брезента. Покачал укоризненно головой. Скрипнул зубами. Сердито растолкав дремавшего у трупов дневального, пошел обратно.

— Бережу, бережу бойцов, а все убивают, — тихо бормотал он. — Яку б такую на людей бронированную силу одягнуть¹, щоб пуля не взяла?

Уже спускаясь с пригорка и проезжая сухой глинистой падиной, он снова прервал тягостное для жизнерадостного Левшакова молчание:

— Во, адъютант. Видел ты? Убиты трое: два казака и городовик. Слухай сюда, Левшаков. Да яка ж меж ними разница? Все люди, трудящие люди, все под ярмом холки понатирали дай боже... Казаки с Новой

¹ Одягнуть — надеть.

Рождественки, я знал их, были они соседи, с одного кварталу. Спрягались для пахоты по паре коней. Землю им удружили далеко, верстов за двенадцать от станицы, на бугре. Никогда у них, у супрягачей, не родило. Все зерно ветры выдували. А зимой — до богача в работники. Пришли в отряд до меня, под Выселками. Кони як зайцы у них были: одни уши, а вместо седел — подушки... Потом справились. — Кочубей сплюнул и тряхнул головой. — Второй казак зря сгиб. Выручать дружка кинулся, сопли и поводья распустил, а кобыла споткнулась. Тут его и взнуздали. Дурень...

IV

Противник вел перестрелку с батареями Кротова. Кротова окрестили заклепщиком: метким огнем он заклепывал орудия противника. Кротов был начальником кондрашевской артиллерии. Сегодня, искусно передвигая орудия, вводил в заблуждение белых. Снарядов не хватало, и Кротов бил только по верным целям. В станице кое-где горели дома. Сероватый дым, пригнанный ветром до Кубани, клубился с того берега предрассветным утренним туманом. Мосты через Кубань — один железнодорожный, второй гужевой — были укреплены.

Внимательно шаря биноклем, Рой определил плотные проволочные заграждения, опускавшиеся крыльями в воду, и значительное оживление у мостов.

— Основной удар надо делать по мостам, — сказал Рой, опуская бинокль. — Через реку трудно. Кубань тут здорово крутится. А на бродах кадеты нагнездили пулеметов. Дурная курятина, товарищ Кочубей.

Кочубей выискивал места, уязвимые для прорыва. Чтобы было видней, он стал на седло, и ветер трепал его яркий башлык. Спрыгнув с седла, Кочубей враскачку подошел к начальнику штаба.

— Почитай еще раз приказ, начальник штаба.

Рой, пошарив в полевой сумке, вынул приказ, прочел:

«Товарищу Кочубею

Главком приказал взять сегодня ночью Невинномысскую и уничтожить части белых. Вашему отряду в районе хутора Усть-Невинского переправиться, совместно с Отрадо-Горным пехотным полком, через Ку-

бань. У невинномысских высот сосредоточиться к 3 часам 30 минутам. Ударить на станицу с юго-восточной стороны. Левый фланг охвата обеспечивается Черноморским кавполком. Фронтальный удар наносу я, условный сигнал — орудийный выстрел с высоты 216.

Помощник командующего войсками фронта

Кондрашев».

— Стой. Всего ты б мне и не читал, — скривился Кочубей, — читай главное.

Рой откашлялся.

— «Ваня. Я тебя еще не видал, но слышал много. Сильно на тебя надеюсь и на твоих казаков.

Дмитрий».

Кочубей передернулся, на лице забегали мускулы, нахмурился, потом улыбнулся, взял бумажку и, далеко отставив от себя и ткнув пальцем, важно спросил:

— Где тут написано «Ваня»?

— Вот, — указал Рой.

— А «Митрий»?

— Вот.

— Добре. Начальник штаба, Невинку треба взять, — твердо сказал Кочубей. — Хлопцам вели потуже очкуры¹ подтянуть да шашки погострить о голыши.

Когда Рой повернулся, Кочубей остановил его и медленно, будто высказывая только сейчас пришедшее решение, приказал:

— Людей и коней накормить. Як потемнеет, спустить отряд вот туда. — Он указал на мельницу Баранова и шерстомойку.

Далекая, вытянутая по Кубани левада была пустыня. Двухэтажный дом мельника можно было определить только по рыжему пятну крыши: видно, окружили дом немалые тополя и акации.

Левада находилась под действием прямого огня противника. Кочубей понимал сложность задачи.

— Як ты кумекаешь, начальник штаба?

Рой, передернув плечами, поднял бинокль. Несколько минут длилось молчание. Наметанный глаз есаула вновь обследовал опасные подходные пути и удобные для конницы места сосредоточения. Мелкая лощинка,

¹ Очкур — пояс казацких шаровар.

пожалуй, поможет провести спешенные сотни. Он опустил бинокль и утвердил решение Кочубея:

— Рискнем. По мостам ударить только с левады. А для пехоты пробег большой. Только нужно незаметно.

— То твое дело. Стремена подвязать, на копыта — тряпки. Хлопцев предупреди: за сигарки и разговоры — плетюганов... — Внезапно оборвав речь, схватил Роя за руку: — Глянь, глянь, як Кондрашев подтягивает брюхолазов!

— Тактически правильное решение задачи, — похвалил Рой, оценивая местность, — принцип внезапности. Туманы тут бывают по утрам. Неожиданная атака. Когда мало снарядов — это, пожалуй, единственный выход.

Кочубей не скрывал восхищения:

— Вот тебе и пехота! Як ужи!

Незаметно для противника, почти не отрываясь от земли, переползали открытые места пехотинцы. Пехота накапливалась к небольшому хутору Рождественскому. Бесшумно ползли разношерстные бойцы второй партизанской дивизии Кондрашева, Дербентского и Выселковского полков: ползли казаки, не сумевшие еще добыть себе коней, — завтрашние бесстрашные кавалеристы; ползли иногородние: бондари, плотники, сапожники, овчинники; ползли старые солдаты в обмотках и выцветших гимнастерках, с винтовками, пронесенными через фронты, и невинномысская мастеровщина из депо и железнодорожных мастерских; лезли шахтеры хумаринских копей и рядом с ними рудокопы серебряно-свинцового рудника, вон из-под того Эльбруса, сейчас только чуть угадываемого за дымами пожарищ и пылью, поднятой ветром с широкого Недреманного плоскогорья.

Кочубей долго наблюдал за этим гибким человеческим потоком. Потом тихо распорядился:

— Иди, начальник штаба, да кликни ко мне Володьку.

Он опустился на землю, а поодаль, не спуская с него глаз, на корточках сидели его верные телохранители — черкесы.

Впереди всех Ахмет Муртузуев. Косые лучи заходящего солнца играли его золотым оружием. Не уважают адыгейцы чеканной оправы. Белой слоновой костью испокон веков украшали мастера племени адыге клинки, кинжалы и пояса своих джигитов. Но при-

шел отец Ахмета, потомок известных абреков, в Адыгею как переселенец отсюда, из предгорной Черкесии, где любят чеканку золотую и серебряную с чернью. Принес свои вкусы и обычаи в адыгейский аул. Поэтому веселится солнце, перебирая лучами своими золотую орнаментовку.

Тихо пели черкесы, в такт покачиваясь гибкими телами. Подпевал им и начальник их — знаменитый джигит Иван Кочубей.

Прибежал вызванный Кочубеем Володька — любимец Кочубея, воспитанный отрядом мальчишка, неизвестного роду и племени, партизанский сын, как звали его в отряде.

— Я тут, батько, — вытянулся Володька. Быстрые, угольные глаза его были лукавы.

— Гони в штаб к Кондрашеву и передай ему...

— Пакет? — быстро и обрадованно перебил Володька, большой любитель скакать сломя голову с важными донесениями.

— Во дурень! Шо я, чернильная душа, чи шо? — шутливо шлепнув его плетью, сказал Кочубей. — Надо передать ему три слова... — Кочубей подумал, выискивая наиболее веские и убедительные слова. Володька ожидал, наклонив корпус вперед. — Передай Кондрашу: Невинка завтра будет наша!.. Во! — приказал Кочубей.

Володька рванулся вперед, но потом остановился, повернулся к Кочубею, сморщил лоб, развел руками.

— Чего ж ты, пень? — озлился Кочубей.

— Невинка завтра будет наша, — повторил вслух и будто недоумевая Володька. — Выходит четыре слова, а сказали — три слова передать.

— Тю тебе, во грец! — воскликнул пораженный Кочубей. — Ишь який грамотюка. Передай так: Невинка будет наша! Да останься у Кондраша для связи.

И когда в низкорослом дубняке исчез гонец, Кочубей, упершись в бока кулаками, покачал головой:

— Ученый шпингалет! Уже батьку учит. Давно в Батайске с буфера сняли?.. А верно!.. Не только завтра будет нашей Невинка... Завсегда, навек!..

V

Ночью бригада выступила к мельнице Баранова. Не звякнув ни стременем, ни котелком, кочубеевцы спустились по балке и сосредоточились на берегу Кубани.

Кочубей, оставив заместителем Михайлсва, выехал к Рождественскому хутору в рекогносцировку, прихватив с собой Роя, Левшакова и Ахмета. Они двигались в густой южной темноте, и кони, мягко ступая копытами, непривычно обвязанными тряпками, передергивались и похранывали.

— Надо поглядеть, начальник штаба, шо и як... пехота же, — тихо делился своими сомнениями Кочубей, прикинув к уху Роя. — Митро думает, шо я всю бригаду пошлю вплавь... Может, нема расчета व्यюки в речке полоскать, может, помогнем невзначай Митьке. Проскочим в Невинку по мостам?

Оставив Ахмета с лошадьми у околицы, они пошли в хутор. У хат, заборов, канав — повсюду лежали люди. Близко бежала Кубань, и с вражеского берега слышались голоса и тихое пение. Изредка оттуда постреливали по хутору, — очевидно, белые не догадывались об операции.

— Во це гарно, дуже гарно сгарбузовались, — шептал Кочубей, всегда умевший ценить подлинное военное искусство.

Поймав слухом приглушенный, тихий говор у реки, они крадучись подошли к группе лежащих людей. Поднялись штыки. Кочубей отпрянул:

— Тю, нечистая сила, своего чуть не запороли, як кабана.

— Пропуск? — спросил один.

— Да я — Ваня Кочубей!

— Пропуск? — раздельно повторил тот же голос.

— Начальник штаба, скажи им пропуск, я шось запам'ятовал, як там...

— «Мундир».

Штыки опустились. Человек в мохнатой папахе, спросивший пароль, шепнул на ухо Рою отзыв:

— «Москва», — и добавил, не оборачиваясь: — Ложитесь!

Невдалеке еле слышно стонал человек.

— Шо с им? — спросил Кочубей.

— Высунулся, ранило, — ответил человек в папахе.

— Пулька дура: высунулся — и чик его, — скороговоркой произнес лежавший рядом; у него был тонкий, даже пискливый голос.

— В бедро ранило, — добавил третий, в черкеске.

— Перевязку-то сделали? — забеспокоился Кочубей.

— Да. Старцев перевязал, как умел, — ответил человек в папахе. — Ему больно оттого, что кричать нельзя. Будь ему свободней, он бы всю боль криком выгнал.

— Надо сестру с моего госпиталя. Добра есть у меня милосердная сестра.

— Как хвалиться, лучше позвал бы.

— Надо — позову.

— Ну как же не надо, — заметил тот, что был без шапки, — до утра кой-кого еще подденет...

Кочубей приказал:

— Адъютант, за сестрой!

В темноте скрылся Левшаков, самый преданный и самый, по внешнему виду, невзрачный адъютант, которого знала история. Он с гордостью именовал себя адъютантом, но никогда не интересовался внешними отличиями этого чина. Однажды ему предложили аксельбанты, снятые с убитого офицера. Аксельбанты Левшакова обидели, и он приспособил их на репицу своего боевого коня.

Кочубей, отослав Левшакова, полюбопытствовал:

— А кто ж вы будете: рядовые брюхолазы або начальство?

— Можно и познакомиться, — просто сказал человек в папахе. — Кандыбин — помощник комиссара фронта.

— Старцев — военный руководитель, да и комиссар тоже, — представился человек в черкеске.

— А он тоже комиссар? — неприязненно, ткнув пальцем в третьего, с тонким голоском, спросил Кочубей.

— Нет, это Птаха — командир кавалерии у Кондрашева. Наездник, — ответил Кандыбин и передвинулся ближе к плетню, так как ему показалось, что с той стороны плеснули весла.

— Эге, — покрутил головой Кочубей, — этот для меня понятный, вот этот самый Птаха, а вот як комиссары в самый переплет влипли, га?

Кандыбин сдержанно засмеялся:

— Потому что комиссары, больше не почему.

Вскоре прибыла сестра. Вынырнув из темноты вслед за Левшаковым, она деловито спросила:

— Где раненый?

Раненый подполз. Наталья начала возиться около него, тихонечко покрикивая:

— Ну, ну, не скули. Переворачивайся же! Ну и колода! Пустяковая рана. Тише скули, а то кадет подслушает. Ну и мужики дохлые пошли.

Пехотинец был ранен в бедро, потерял много крови. Рана была серьезная. Боец поворачивался с трудом.

— Эй, вы, — позвала Наталья, — помогите! Замучилась.

Провожаемый шутками товарищей, на помощь подполз боец.

— Ничего не вижу. Куда тащить?

— Не знаешь куда? Первый раз? — прикрикнула на него сестра.

Раненый вскоре притих и лежал, будто перерезанный надрезом белым бинтом перевязки. Наталья, развернув узел, принесенный с собой, наливала в кружку молока. Во фляге булькало, и помогавший Наталье боец, почуяв, что у нее имеется кое-что перекусить, потянулся к узлу. Наталья ударила его по спине.

— Прими руки. Это раненым.

— Да, может, я сейчас буду раненый, — отшучивался солдат.

— Таких пуля за три версты облетает.

Начальник штаба, оставив Кочубея разговаривать с новыми знакомыми, присел возле Натальи. Она была в кофте из легкого ситца.

— Легко одеты, ночь довольно холодная, — заметил Рой, притрагиваясь к ее полной руке.

— Ладно уже, заботливый, — отрезала Наталья.

Рой этого не ожидал. Он сам не заметил, как прикоснулся к ее руке. Ему было неприятно, что эта белокурая красивая девушка, которой он часто любовался издали, истолковала его жест ложно.

— Да нет же, вы меня не так поняли, — пробовал он оправдаться.

— Куда уж мне понять... Ладно, уходи. Пристала к вам, жалею... Липнете все, как мухи... Тошно!

— Вы останетесь здесь, в хуторе, — решив уйти, сказал Рой. — После взятия станицы — на прежнее место. Вероятно, на правый берег переведем санитарную часть не раньше завтрашнего вечера.

На обратном пути Кочубей нервничал:

— Надо поспешить. Проваландаешься тут, и, может, так дело повернется, шо комиссары Невинку заберут, а Кочубей будет у кобыл хвосты обкусывать.

И категорически распорядился:

— Оставь, начальник штаба, в леваде особую партизанскую сотню, а всех остальных — по Митькиному приказу. Надо, мабуть, на переправу послать с отрядом Михайлова и того белявого, шо Кондраш прислал вечером. Як его?..

— Батышев?

— Вот, во, Батыша. Он, кажись, добрый рубака, сердитый с виду и при всей форме...

В полночь Михайлов увел бо́льшую часть отряда.

VI

Кочубеевский гонец Володька, ласково принятый Кондрашевым, был накормлен и оставлен связным при штабе. Сюда являлось множество командиров. Одни из них были похожи на блестящий комсостав Кочубея и радовали сердце Володьки напускной грубостью и богатством оружия, другие же казались серыми и обыкновенными.

Володька сидел у ворот на дубовой корчаге. Ворота были сняты с петель и стояли поодаль, у забора. То и дело к штабу подлетали верховые, соскальзывали с седел и, торопливо привязав коней, бежали в дом. Во дворе дежурили ординарцы-черкесы. Они стояли у подседланных коней, красивые и затянутые в черкески; если и говорили, то все вместе, а если молчали, то тоже одновременно и долго.

— Связного Кочубея, — зычно крикнули из окна, — до комиссара Струмилина!

Володька, оправив парабеллум и отряхнув синие касторового сукна шаровары, медленно пошел к дому. Он здесь представлял отряд непревзойденного, по его мнению, командира Кочубея, и поэтому следовало держаться солидно.

— От Кочубея? — спросил вошедшего в комнату Володьку улыбающийся белокурый человек в солдатской гимнастерке.

— Да, — важно ответил Володька.

— Вот что, парень. В вашем отряде есть коммунисты?

Володька, прежде чем ответить, оглядел присутствующих: запыленные люди, по виду из железнодорожных рабочих, знакомых ему по прежней беспризорщине. Люди, очевидно, прибыли с фронта.

— Нет коммунистов в отряде, — гордо ответил Володька.

— Я ж говорил тебе, Саша, нет большевиков у Кочубея, — развел руками Павел Ковров, боевой друг комиссара, старый товарищ по рудничному забою.

Володька вспыхнул:

— Врешь ты! Коммунистов нет — это да, а большевики есть.

— Кто же? — насторожился обрадованный Струмилин.

— Я, батько Кочубей, Михайлов, Наливайко, Рой, Пелипенко, — захлебываясь, перечислил Володька и совсем неожиданно выпалил: — Весь отряд большевики.

Когда поутих смех и люди утихли, комиссар, деловито объяснив обстановку коммунистам, отпустил их по частям. Все коммунисты были расписаны по ротам рядовыми бойцами, и сам комиссар был рядовым первой роты. Вечерело. Штаб постепенно пустел. Вскоре, когда в темноте пропали Кондрашев и Струмилин, чересы отвязали от крыльца пикет с красным флажком и повезли ее к новому командному пункту.

Ночь и напряженность ожидания усиливали шорохи, и обычный голос Кондрашева, не сниженный до шепота, казался Сердюку громким криком в этой удивительной тишине, насыщенной только редким шуршанием ящериц и стрекотанием цикад.

— Сердюк! Тебе первый удар по мостам. Кочубей и черноморцы на флангах. Помни, Сердюк, чтобы не было повторения прошлого боя...

Сорвался Сердюк, безмолвный и решительный командир батальона, и лег за его скакуном невидимый ночью след по влажным степным пыреям и белоголовнику. «Не будет того, что было в прошлый раз».

О позоре недавнего наступления так и записал в свой дневник — желтую полевую книжку — командир второй партизанской дивизии бывший сапожник и фронтовик Кондрашев:

«...После своего прибытия Сорокин вызвал меня и приказал: ввиду нашего сегодня наступления мы должны сейчас же раздать каждому бойцу спирт столько,

сколько кто хочет, а после этого мы поведем наступление на станицу Невинномысскую. Приказание было дано. Через час повели наступление. Время было четыре часа пополудни, в летний жаркий день. Расстояние до моста было не более трех-четырёх верст. Ввиду знойного дня опьяненные бойцы полегли по всему полю и заснули. Некоторые из них кричали: если бы еще немного дали, то лучше было бы наступать. А другие ругали командование, что их напоили. Ввиду страшной жары тут и без того человек валился, а когда выпили по кружке чистого спирта, то, безусловно, все свалились, и им было уже не до наступления, а все хотели спать. Гайченец перед наступлением темноты высылает кавалерию по всему фронту поднять пехоту и совместно с ней пойти в наступление. Конечно, этого кавалерия сделать не смогла, но тем не менее она послужила для пехоты заслоном, что могло спасти пехоту от налета белых. Видя, что кавалерия бездействует, Гайченец выезжает со мной по дороге, ведущей в село Ивановское, на мост Невинномысской и встречает нескольких едущих кавалеристов. Он напал на них и начал их ругать: «Вы хулиганы и барбосы, не выполняете нашего приказа и не пошли в наступление». Один из них отозвался в свое оправдание; тогда Гайченец, недолго думая, выхватил маузер и пристрелил кавалериста. Тут все как один бросились на него и хотели его срубить, но мне пришлось их успокоить, а Гайченец скорее бросился на лошади бежать к штабу Сорокина. Я бы и сам его с удовольствием срубил — убитый боец был хороший казак, но это была бы анархия и нашей партии не была бы от этого польза. К утру пехота проснулась и заняла старое исходное положение...»

* * *

Михайлов, пройдя подножием плато около девяти верст по Ивановскому тракту, достиг реки Большой Зеленчук, которую перешел вброд у хутора Иванча. К двум часам ночи Михайлов пересек долину зеленчукского устья и подвел отряд к Кубани, найдя там подошедший с Ивановской Отрадо-Горный пехотный полк. Спешив сотни, Михайлов направился искать переправу. Обрывистый берег зарос бурьяном. Правильными кругами белели заросли куриной слепоты и беле-

ны. Река шумела. Слышен был скрип камней, перека-
тываемых в отмельных местах. Вокруг валуна
взвивалась хлопьями пена, камень стучал, стучал, по-
том переворачивался, сносился вглубь, и белая пена
проскакивала мимо, быстро исчезая с глаз.

— Ну и скаженная, ведьма! — будто негодовал
Михайлов, а сам в душе и любил эту родную реку
только за ее буйный поров.

Михайлов, обнаружив удобный, наискось срезанный
берег, направил лошадь к воде.

Конь, не привыкший к горным рекам, фыркал, дро-
жал и спускался мелкими осторожными шагами. Ми-
хайлов пожалел, что конский состав отряда приведен
из равнины. Лошади, привыкшие к спокойным, плавно
текущим рекам — вроде Челбасов, Бейсуга, Кирши-
лей, — шарахаются от настоящей воды.

Определив пригодность берега, передал посыльным
приказ начать переправу.

Пехотинцы Отрадо-Горного полка спускались, идя
с двух сторон всадника. Некоторые разулись, привязав
обувь и шинели на голову. Казалось, на тонконогих
стеблях колышутся огромные уродливые тюльпаны. У
воды хватались за путлища, одновременно поддавали в
бока лошади кулаками, и лошади, напуганные и до
этого мрачным ревом реки, кидались в Кубань. Кипу-
чая струя стремительно относила их вниз, прибывала
к тому берегу и выбрасывала на него, как черную не-
нужную накипь.

Вскрикнул человек и сейчас же замолк. Приказ
был обходиться без криков. Михайлов послал узнать.
Приплыл с того берега старшина Горбачев, сообщил:

— Закрутило Свистуна и Покатилова. Пошли по
речке. Видать, каюк. Коней жалко, с фронта еще, вен-
герки... — И, точно спохватившись, пожалел и всадни-
ков: — Добрые были казаки — Свистун с Покатило-
вым.

Михайлов положил руку на плечо старшины.

— Говорил начальник штаба — на горе батарся
кадетская. Подумай, Горбач, — сказал тихо Михайлов
таким тоном, будто предлагая по знакомству обстря-
пать выгодное дельце.

Далеко влево тусклые неподвижные огоньки. Не-
винномысская. Мелькнул движущийся свет, колыхнул-
ся, исчез, снова появился — более яркий, лучистый.

— Броневи́к из Бело́мечетки в Невинку, — произнес вслух Михайлов и оглянулся. Горбачева не было рядом.

Конь переминался с ноги на ногу, увязал в мокром, холодном песке. Когда последняя черная точка выплеснулась на правобережье, Михайлов погрузился в пучину.

— Бр-р, какая кусачая... Лед! Под Катеринодаром была горячее. Бр-р...

Вывавшись на тот берег, Михайлов, поиграв клинком, втиснул его в набухшие но́жны и крупной рысью повел отряд к темной гряде невинномысских холмов, нависших над станицей. Пехотинцы, привернув штыки, деловито построились. Бурые волны покатались теперь по земле — цепи продвигались к исходным для атаки местам.

VII

Блекли и понемногу исчезали звезды. Тяжелые тучи, только сейчас грузно лежавшие на холмах, натужно поползли кверху. Кубань шумела и дымила, точно подоженная по всей своей длине. Над землей дрожала молочная мгла, накрывшая хутор и отдельные строения прикубанской низины. Деревья, будто сточенные у земли, казалось, медленно и невесомо плыли в пухлом сизоватом тумане.

Кондрашев провел ладонью по мягкому крупу жеребца. Шерсть была влажна, и на гриве серебрился иней. Командующий зябко поежился и взглянул на часы. Скоро. Он напряженно следил за движением стрелки... С плато громынуло орудие: это был условный сигнал. Над станицей разорвался снаряд, и коричневое облачко разрыва заплатой повисло на бледном фоне неба. Прокатилось, то утихая, то нарастая, «ура». Берега ожили. На штурм пошли батальон Сердюка и дербентцы. Кондрашев еле различал наступающие цепи и только по сгущенному до рева крику «ура» определил, что пехота достигла мостов. На минуту, точно распоров пелену тумана, у мостов зачернели штыки. В уши ворвался знакомый звук... шквальный пулеметный огонь. Штыки упали. Поднялся туман. Сухо заработали «люйисы» и винтовки.

Кондрашев помчался к хутору. Спрыгнул с коня, побежал по канавке шоссе, ведущего к мосту. Он был

зол, видел лежащих людей и, не обращая внимания на опасность, орал, размахивая маузером.

— Ишь Дмитрий охрип, — бесстрастно произнес Старцев и медленно двинулся по кочковатой луговине.

За ним поднялся Кандыбин.

— Хлопцы, комиссаров пуля не берет, — крикнул чей-то насмешливый голос, и цепи, будто исправляя минутное малодушие, двинулись в атаку.

Где-то заиграла гармошка и сразу затихла.

— Лады пробует! — весело крикнул Старцев и побежал вперед, увлекая за собой выселковцев...

Низкие мосты как бы плыли над водой. Кругом падали люди. Кондрашев обогнал Сердюка и бежал впереди роты своих земляков, поддерживая левой рукой мешавшую ему шашку. Блеснула узкая заводь у хутора. Тревожно и разноголосно закрикали домашние утки. Испугавшись неведомого шума, стая тяжело поднялась над водой. Ливнем с того берега — пулеметы. Полетели перья; утки, иступленно крикая, повернули обратно и грузно опустились на землю. Кондрашев успел еще кинуть взгляд назад и заметил, как селезень, бросив стаю, быстро заковылял по тропинке, помахивая своей радужной головой...

Батарея белых, громившая глинистые отроги и плоскогорья, сразу замолкла, будто безудержно горланящему великану с налета в горло вогнали кляп. На окраинах станицы учащенно застучали выстрелы.

Кондрашев понял, что Кочубей и черноморцы ударили с флангов. Малейшая задержка фронтального прорыва означала разгром малочисленных групп охраны.

— Вперед, ребята! — крикнул Кондрашев, наискось перемахнул железнодорожное полотно и скатился по насыпи к гужевому мосту.

Его сшибли дербентцы и вломились на мост.

Их порыв был напрасен. Мосты как бы продувались пулеметным ветром. Дербентцы схлынули, а по Кубани поплыли трупы...

К Кондрашеву подполз Кандыбин. Он был черен и возбужден.

— Слабая артиллерийская поддержка, Дмитрий. Надо расстроить им систему огня.

— Снарядов нет. — Кондрашев скрипнул зубами. — А то бы Кротов их с навозом смешал.

Внезапно пулеметный огонь погас. Сразу стало тихо

до жути. Зловещая тишина, сменяющая привычный уже шум боя, потрясает человека. Кондрашев вскочил на ноги. Откуда-то с правого фланга, от безмятежных до этого левад, почивших на белых перинах тумана, нарастал грозный конский топот.

Кондрашев выругался.

— Обошли, бандиты! Сердюк! Повернуть резервную роту! Встретить! — Замер, сжав, точно кашканом, руку Кандыбина.

— Глянь, глянь! Убьют... убьют девку!

Повскакивали любопытные пехотинцы. К мосту медленно шла женщина в белом платке. Она казалась огромной в дымных испарениях реки. Фигура ее как бы плыла по туману, и голова как будто достигала вершин тополеЙ, подступавших к реке. Дойдя до моста, она остановилась у перил, точно в нерешительности, и потом быстро побежала вперед.

— Сестра кочубеевская, — Кандыбин стиснул зубы, — перебежала к кадетам...

Но вдруг с той стороны моста, там, где строчили пулеметы, вырвались огненно-дымные столбы. Наталья пропала из глаз. Над рекой прокатился грохот.

— Бомбы! Вот так сестра! — обрадованно закричал Кандыбин.

Кондрашев вздыбил коня.

— В атаку! Ур-а-а!

Все это случилось в несколько коротких минут. Не успела пехота подняться, на нее обрушился грозный рев. Из тумана вырвались всадники, показавшиеся Кондрашеву великанами. Немудрено — всадники мчались стб́я, размахивая клинками, в косматых бурках, развевающихся от ветра карьера.

— Конница Султан-Гирея! — крикнул Кондрашев, поднимая маузер. — Огонь!

— Кочубей! — гаркнул Кандыбин, схватив папаху и размахивая ею. — Кочубей!

Мимо Кондрашева, мимо пехоты, расшвыривая траву и землю, зараженная неукротимой яростью, пролетела дико орущая ватага. Впереди был Кочубей в белой папаше, на лучшем своем жеребце; кубанский баплык развевался по ветру, и казалось, вслед за отчаянным вожакoм неся трепетный сокол, пылая небывало ярким оперением.

Мосты прозвенели на ураганном аллюре, и на тот берег вырвалось на стрельчатом древке багряное знамя.

Солнце выбросило из-за невинномысских высот алый сноп; подул утренний ветер с великого Ставропольского плато; туманы, выдуваемые ветром, клубились, хирели и таяли.

Перемычка была взорвана. Пехота вливалась в Невинку через узкие горла мостов. В станице еще отбивался, оскалив зубы, упорный враг. Все торопились. На мосту лежала раненая женщина. Кое-кто перепрыгивал через ее тело, другие спотыкались, падали, ругались. Бой продолжался, и людям было некогда думать о милосердии.

* * *

На базарной улице освобожденной станицы почти столкнулись на галопе два всадника. Одновременно повернулись, спрыгнули.

Кубанские башлыки были у обоих за спинами, черески, шапки бухарского смушка с золотым позументом поверху и дорогое боевое оружие. Они еще не знали друг друга. Сошлись, и первым быстро сунул сухую ладонь человек небольшого роста, гибкий и мускулистый.

— Ваня Кочубей!

— Дмитрий Кондрашев!

Задержав рукопожатие, начдив улыбнулся, быстро отер кистью руки губы и просто спросил:

— Давай поцелуемся, Ваня?

— Давай, Митя!

Они поехали вместе, шутили и делились впечатлениями боя. Кондрашев хвалил Кочубея за блестящую атаку, и, несколько смущенный, Кочубей отнекивался:

— Да какая там атака! Кабы не сестра с бомбами, все б поплыли по Кубани, як коряги, до самого Катеринодара. — Не оборачиваясь, позвал адъютанта: — Левшаков!..

— Я, товарищ командир, — подлетел Левшаков.

— Гони зараз к мосту и окажи милосердие той дивчине, шо пособила нам. Одна нога тут, одна там. Я буду на площади, возле церкви. Да передай ей от моего имени спасибо.

Левшаков сорвался исполнять приказание, а Кочубей продолжил разговор:

— Мы дырку пробуравили, и все. А твоя, Митька, пехота в дырку проскочила и тоже кровь пустила ка-

дету в Невинке. Видел я комиссаров твоих... Чернильные души, а тоже дрались львами... Комиссары, а так кровь пускают... — Он покачал головой. — Неповнятно. Хоть проси себе в отряд комиссара.

Кондрашев, будто случайно, заметил:

— Теперь, Ваня, у тебя не отряд будет, а бригада. Входишь в мою дивизию...

Кочубей отстранился от Кондрашева.

— Это для чего же? По якому такому случаю? — спросил он и сжал узкие губы.

Минут пять они ехали молча. Казалось, неминуем взрыв. Кондрашев был готов ко всему. Кочубей заметно волновался, и комиссар Струмилин, приблизившись к нему с правой стороны, тихо сказал:

— По случаю революции. Гуртом бить лучше.

Кочубей оглядел Струмилину, сдвинул на глаза панку и резко отчеканил:

— Раз для революции надо, дóбре. Пусть бригада, и пускай под твоим доглядом, Митька. Только не под Сорокиным. А тебя предупредю, Митька. Молодой был — атаману брюхо штыком пропорол, в Урмии двух офицеров срубал. Свободу люблю. Дуже я до свободы завзятый.

* * *

На площадь сгоняли пленных. Офицеров было мало. В плен попали сотни две казаков-пластунов. Пластуны виновато поглядывали на своих врагов и курили часто и сосредоточенно. Офицеры, в большинстве молодежь, держались по-разному. Одни храбрились, вызывая грубили, другие размякли, нервничали и охотно отвечали на вопросы, хотя говорили сбивчиво и невпопад.

Кочубей, растолкав плечами конвойных, прошел в гущу пленных. С ним вразвалку шел Рой.

— Тю ты, свои ж казаки, а дерутся против, — нарочито удивлялся Кочубей. — Якой станицы?

Казаки с коротко подстриженными усами, в рваном бешмете ответили:

— Платнировской.

— Ишь! Земляк. А я с Александро-Невской, слышал?

— Слышал. Станция Бурсак.

— Эге, верно, — обрадованно произнес Кочубей и просто спросил: — У меня служить хочешь?

Казак поглядел на товарищей, смутился.

— Не знаю.

— А кто же знает? Верблюды?

Казак улыбнулся. Кочубей моргнул Рой.

— Зачислить в особую сотню. — И, подбоченившись, гордо уведомил: — Будешь служить у самого Кочубея.

Роя начали останавливать и просить внести в списки.

— Говорили, у большевиков одни коммунисты да жида, а тут, глянь, свои ж казаки в командирах ходят.

— Да у нас лычки быстро нашлем, — шутил Рой. — А где Шкуро, ваш генерал?

— Какой он наш! Сука, а не генерал. Как ударили ваши с левого фланга, бросил все и задал стрелка на Баталпашинку. Конь у него быстрый.

Когда вернулся Левшаков, Кочубей допрашивал дроздовского офицера. Узнав, что сестра подобрана и жива, отмахнулся от подробностей.

— Начальнику штаба доложи.

Рой слушал Левшакова. Сестра ранена осколками гранаты. Ранение не угрожает жизни. Помещена в школу. Левшаков тянул, многословил.

— Кровать есть? — перебил его Рой.

— Лежит на полу.

— Уход?

— Какие-то старухи ведут уход.

— Что требуется раненой?

— Да я не спросил, а она сама черта два скажет, — обидчивым тоном ответил Левшаков. — Со мной и говорить не стала. Прогнала.

— Да вы что — приставали к ней, что ли? — обозлился Рой.

— Вот поезжайте сами, товарищ начальник, и поглядите, — посоветовал Левшаков, обиженный, — кому-сь кислицы снятся...

Рой решил лично провести сестру.

— Товарищ командир, разрешите...

— Подожди, начальник штаба, — притянул его за руку Кочубей. — Вот гляди, який кадет попался. Прямо катрюк¹, а не кадет.

Офицер передернулся.

— Прошу без оскорблений.

¹ Катрюк — мул (местное).

— Слышишь, начальник штаба? Слышишь, як он надо мной выкаблучивает? — еле сдерживаясь, шипел комбриг на ухо Рою и громко спросил:

— Ты мне скажи, довезешь мое слово до своего Шкуры аль нет?

— Я повторяю: Шкуро достаточно серьезный генерал и ваши... — офицер замялся, — странные предложения, абсолютно странные предложения, не примет. — Обращаясь к Рою, точно ища у него поддержки, офицер устало добавил: — Ваши командир, как он себя назвал... Ваня Кочубей предлагает мне под честное слово вернуться в случае неуспеха моей миссии. Но вы поймите, Шкуро-то меня не отпустит обратно, а слово Кочубей с меня требует!

— Погляди на него, товарищ начальник штаба, — еще хомут не засупонил, а он уже брыкается, — тыча в офицера пальцем, сетовал комбриг.

— Что вы от него хотите, товарищ комбриг? — спросил Рой, пока еще ничего не понимая.

Он разглядывал офицера, его грязные сапоги, изорванный в нескольких местах френч, скорбное продолговатое лицо, обросшее и землистое. Рой понял состояние этого человека. Офицер хотел спать. Вероятно, был утомительный марш, потом бессонные ночи дежурств и ожиданий, потом бой. Рою хорошо было знакомо состояние, когда организм отказывается работать и наступает предел утомления. В это время даже смерть не страшна, ибо она похожа на сон, на отдых. Офицер прикрыл глаза и покачнулся. Непреклонный Кочубей толкнул его в бок.

— Не дремай, когда с тобой по-людски говорят. Я четвертые сутки без передыху кишки вам мотал и, гляди, держусь на ногах, як кочет. Можу зараз на забор вскочить и сто раз кричать кукареку.

Обращаясь к Рою, горячо заговорил:

— Я прошу его, дохлого: садись на коня, поняй до Шкуры и зови его на честный бой, один на один. В чистом поле и ударимся: на пашках, на маузерах, на кулаках, на чем он захочет. Убью я Шкуро — его войско до меня, он одюжит — мой отряд до его...

— Ничего не получится, ничего, — повторил офицер раздраженно, — не пойдет Шкуро на такой поединок.

— Почему? — повысил голос Кочубей. — Почему, га?

— Времена куликовских битв прошли. Да и убьете вы его. Я теперь вижу — убьете, а Шкуро, вероятно, гораздо раньше меня с вами познакомился. Определяйте нас куда-нибудь, — обратился он снова к Рою, — к стенке или спать. Если убивать, то поставьте на солому. Упадешь, и так... мягко, приятно... — Офицер потянулся и мечтательно улыбнулся.

Раздосадованный Кочубей уже не слушал его. Обращаясь к пленным казакам, тесно обступившим его и глядевшим на него зачарованными глазами, выкрикивал:

— Так по какому праву он людей мутит, га? Спокойной жизни не дает никому! Генерал, а от урядника своего бегаёт, як заяц!

— Запишите и меня, — просили Роя, — станицы Беломечетской.

— Запишите, товарищ, нас, Суворовской станицы... трех братьев-казаков. Хай ему бес, проклятой Шкуре, раз он такой.

Широко раздвигались пленные, уступая дорогу Кочубею. На перепавших лошадях, подъехали Михайлов, Батышев и несколько командиров. Шумно спешили. Кочубей, обрадованный, быстро подошел к Михайлову и, крепко расцеловав, поздравил его и прибывших с ним с боевым успехом.

По пути к месту сбора они скупо поговорили о сегодняшнем бое, как о чем-то незначительном. Кочубей опять перешел на тему о трусливом генерале и беспокойном уряднике.

Рой отстал и, найдя школу, превращенную в лазарет, направился в сопровождении санитаров к раненой сестре.

Наталя лежала на полу, на соломенном матраце, прикрытая желтоватой простыней из грубой бязи. Лицо ее было бледно и прозрачно. В углу класса, отведенного раненой, громоздились парты, на стенах висели обрывки учебных плакатов, наивные гербарии школьников и убранные пыльной сухой зеленью небольшие портреты Пушкина и Гоголя. Окно было открыто. Во дворе школы чадила походная кухня. Бегали санитары в окровавленных халатах, на траве, под серебрястыми тополями, вытянулась плотная шеренга трупов, и возле них десятка два спешенных казаков-кочубейцев ели дыни, со смехом перекидываясь корками и дынной сердцевинкой. Гоголь насмешливо поглядывал

в окно, и ветерок шевелил мертвые листья, увенчавшие его голову.

Возле Натальи сидели две старухи казачки. Когда Рой подошел, они встали и, шепча слова соболезнования, отошли.

Рой присел возле раненой. Он чувствовал необъяснимую неловкость. Спрашивать о состоянии здоровья — глупо, рассказывать о бое — утомительно, и, вероятно, вот эти две старухи сообщили ей уже обо всем.

— Поправляйтесь, — сказал он, — мы постараемся сносно обставить вам комнату... Кровать, белье, сиделок.

Наталья повернула голову и указала глазами на тяжелую капитальную дверь. Стоны, болезненные крики и ругательства явственно доносились из-за нее.

— Им лучше помогите. У меня и так присохнет, — прошептала Наталья и попросила: — Рыжего адъютанта больше не присылайте.

— Вам что-нибудь надо? — поднимаясь, спросил Рой, все еще испытывая неловкость.

— Кажись, ничего. Хотя... — она приоткрыла глаза и оживилась, — пришлите книжечку почитать. Только не толстую... с картинками... — Она немного подумала и несколько смущенно добавила: — Чего-нибудь про нас. Похожее. Берущее за сердце...

Обходя лазарет и беседуя с бойцами, начальник штаба будто невзначай спросил доктора о Наталье.

— Пустяки, — успокоил врач. — Бледная, желтая и так далее — от потери крови. Травма сама по себе невелика. Организм крепок, затянет быстро.

* * *

Сорокин въехал в станицу уже к вечеру. Главком был в светло-серой черкеске и белой папахе. Под ним метался белоснежный полуараб, взятый из цирковой конюшни в городе Армавире. Главком въехал в Невинномысскую как победитель, и его личный оркестр из серебряных труб играл фанфарный кавалерийский марш. С главкомом были Гайченец, Одарюк, адъютант Гриненко и приближенные Сорокина: Рябов, Костяной, Кляшторный — эсеры-авантюристы, случайные люди в армии.

Позади оркестра Щербина вел конвойную сотню,

двести всадников, на вербованных по особому отбору из полков, выведенных Сорокиным из-под Екатеринодара и Тихорецкой.

— Молодец Кочубей, — снисходительно похвалил Сорокин нового комбрига, обсуждая операцию. — Кровь у него моя, а на полководца не похож. Мелковат.

— Но, Иван Лукич, Кочубей любят бойцы, — осторожно сказал Одарюк.

Сорокин рассмеялся:

— Большие, чем главкома?

— Ну, здесь аналогии скользки, Иван Лукич, — помялся Одарюк, — но, начиная с Тихорецкой, нас все время били белые, а Кочубей прорвался сюда, ни разу не будучи бит.

Сорокин отмахнулся и, позвав адъютанта, приказал:

— Собрать в ставку командиров частей, принимавших участие в бою.

Гриненко повернул коня. Главком весело заявил:

— Отпразднуем победу.

Повернул к станции. Там, на запасном пути, недалеко от подошедшего с Курсавки бронепоезда Мефодия Чередниченко, сверкал огнями специальный состав салон-вагонов — ставка на колесах главкома Сорокина.

Оркестр играл марш. Мальчишки бежали в хвосте конвойной сотни.

* * *

Сорокин отдыхал. Он принял ванну и был в шелковой кавказской рубашке, подтянутой узким пояском с золотым набором. Окна салон-вагона были открыты. Оркестр непрерывно играл, и в вагон собирались вызванные командиры частей. Сорокин был весел и уже достаточно пьян. Когда прибывший Гриненко, склонившись к уху главкома, что-то сообщил, Сорокин вспыл:

— Что ты шепчешь? Объявляй открыто.

— Кондрашев и Кочубей не могут явиться, — вытягиваясь, отрапортовал Гриненко.

Сорокин поднялся и, зло сощурившись, тихо спросил:

— Причина?

— Кондрашев разводит части по фронту, а Кочубей выступил на линию Суркулей.

Главком качнул утвердительно головой и опустился в кресло.

— Погуляем без них. Давай, Гриненко, наурскую¹...

VIII

Бригада Кочубея шла в Суркули — в район, указанный Кондрашевым. Кочубеевцы пели песни, а впереди особой сотни Наливайко и друг Ахмета, Айса, плясали на седлах наурз-каффу. Черкесы хлопали в ладоши, покрикивали и подпевали в тон инструментам. Ахмет говорил Кочубею, радостно поблескивая зубами:

— Тебе спасибо. Отец Айсы все плакал. Айса смеется и пляшет — очень замечательный каффа. А музыка!

Кавказский оркестр, непонятный европейцу, но трогавший наиболее чувствительные струны души горца, был создан им, Ахметом. Несложные инструменты, и как играют! Вот известные музыканты из аула Блечеп-сын. Они бесподобны в игре на небольшой гармошке-однорядке — вшине и дудке, напоминающей кларнет, — камиле. Им помогает Мусса из аула Улляп. Он виртуоз: в его руках скрипка, сработанная из дерева, овечьего пузыря и воловьих жил, звучит так, что можно и смеяться и плакать.

Недаром Муссу всегда приглашал сам ханок² Султан-Клыч-Гирей-Шахам, когда к ханок собирались званые гости.

Мусса и его скрипка славились далеко за пределами Улляпа.

Музыканты охранялись черкесами так же, как в казачьих сотнях гармонисты. Ахмет подпевал, подергивая плечами и искусно работая на пхашичао — трещотке Айсы, заменяя своего друга, занятого танцем.

Шли осторожно. В середине отряда — музыка и пляски, в головной походной заставе — недремлющая разведка. По цепке сообщение:

— Барсуковский свободен.

— Ну и деранул Шкуро! — удивлялся Кочубей.

Показывая вправо, сказал:

¹ Наурская — танец.

² Ханок — сын хана.

— Вот там, по речке Невинке, Рощинские хутора. Богато там казаки живут. Родичи там мои, дядьки. Натерпелся я от них, был молодой. Может, даст бог, доберусь им кишку укоротить.

Заметив клочок сена у дороги, обернулся, крикнул:

— Адъютант, прикажи подобрать. Ишь бузиновая кавалерия. Сами не догадаются.

В пыли сверкнула обрonnenная подкова.

— Адъютант, подобрать, сгодится, — снова приказал Кочубей и, проследив, как Левшаков, не слезая с лошади, схватил подкову и сунул в козровую суму, одобрительно кивнул.

Бригада далеко за собой оставила Барсуковский хутор. Дорога свернула на Петровское и Киян-разъезд. Колонна поднимала пыль. Кочубей делился с начальником штаба заветными думками:

— Кончим кадетов — будем с тобой, Рой, хозяйство ладить. Зараз корысти с нас, як с бугая сметаны. Пшеницу топчем. Коней за фруктовые деревья вяжем, ломаем. Хаты палим. Снарядом... бух... бух... куда попало... А як без снарядов? Кадета конфетом не доймешь. И шо генералам от Кубани надо? Як мухи на дохлую кобылу.

Комбриг недовольно покачал головой и замолк. Сотни двигались тихо. Хотелось спать, и не было слышно музыки. В пыли, завернутый в чехол, колыхался штандарт, и по бокам поблескивали казачьи клинки.

* * *

Начальник штаба, покачиваясь в седле, думал о просьбе Натальи. Он мысленно перебирал книги, памятные ему еще с детства.

У отца Роя был старый шкаф, гардеробного типа, но с полками.

Шкаф был огромен, никуда не входил и стоял в темном коридоре. Его сработал мастер, непонятный станице интеллигент, худой, непостижимо высокого роста, с длинными волосами. Отец назвал столяра Авессаломом за его долгогровость. С легкой отцовоу руки за столяром в станице укоренилось это библейское прозвище, и он охотно на него отзывался. Шкаф в семье тоже окрестили «авессаломом». На полках шкафа были книги, на книгах гнездились куры, имевшие доступ в

гемный коридор, и мальчик, Андриюша Рой, часто стряхивал с занимательной книжки куриный помет. Иногда к шкафу добирался и сам творец его — Авессалом, выбирал сразу десятка два книг, уносил их и, перечитав, приносил обратно. Он-то и приохотил мальчика к чтению. В дальнейшем читать было некогда. Учеба и муштра в реальном, в городе Екатеринодаре, беспроесветная лямка в казачьем хозяйстве и... война. По-другому была раскрыта страница жизни, и на смену занимательной литературе «авессалома» пришли полевые и строевые уставы.

Но чем угодить Наталье?

Перед его глазами проплывали тяжелые тома Толстого, кожаные переплеты Гоголя.

Вот голубые книги Лермонтова, Пушкина, с вытисненными на коленкоре цветочками и фигурками не то амуров, не то летящих по небу ангелов, Жюль Верн, Майн Рид, Купер... все не подходило.

Рой ломал голову, и задача эта была для него сейчас ответственной самой сложной диспозиции.

«Черт возьми, что же дать ей — «Хаджи Мурата» или «Полтаву»?.. Кстати, в «Полтаве» тоже Кочубей, только старик... «Тараса Бульбу»?»

Рой задумался.

Может ли сейчас «авессалом» дать ответ на простой вопрос кубанской девушки из отряда красного казачьего партизана?

И вот, вначале в тумане, потом всё ясней, начали вырисовываться красные коленкоровые очертания книги, любимой им, где на меловых листках роскошного издания проходила непрерывная борьба за освобождение Кубы.

Далекий остров, очерченный голубыми извилинами, поднялся перед Роем, как пылающий костер восстания рабов. Книга и называлась «Пылающий остров»; автора он не мог вспомнить, но горячие образы кубинских патриотов, с мечами в руках добывающих себе человеческие права, были близки Рою и сейчас.

Маленького чумазого Андриюшку захватывали удивительные приключения и батальные сцены.

Рои жили у речки, огород переходил в густые камыши, и мальчик, отбиваясь от атак комаров, сидя в густых зарослях, в сотый раз перечитывал книгу. Отец, охрипнув от зова, уезжал в поле один, потому что Андриюшка, увлеченный, не слышал его криков. Когда пе-

реворачивалась последняя страница, он бросался по тропинке, мимо копанки, мимо старой шелковицы, перепрыгивая через огромные белые тыквы. Отца уже не было, и тогда Андрей, босой, черноголовый, во всю силу своих резвых ног догонял далеко за станицей отцовскую мажару.

Книжка была одним из счастливых воспоминаний его безотрадной юности. Покачиваясь в седле, Рой мысленно находился в далекой теперь станице, на берегу илистой, малярийной реки, и снова был упрямым непонятым ребенком, которого часто поругивал отец и журила добрая щупленькая соседка-учительница...

Снова пылающий остров, красный переплет книги, увлекательные страницы о боях на местности, покрытой папоротником, пальмами и толстым тростником, похожим на челбасский камыш.

— Надо найти, обязательно найти, — вслух произнес Рой.

— Шо найти, начальник штаба? — спросил Кочубей, расслышав его возглас. — Суркули? Так Суркули уже под самым носом. Я тоже вздремнул, не хуже того офицера. Ну и соня тот офицер... Дохлятина...

IX

В комитете партии Северокавказской республики решали сложную задачу: кого послать комиссаром к Кочубею. У него уже был комиссар Ляхов, посланный вскоре после невинномысского боя. Кочубей, сначала обрадованный прибытием грамотного помощника, выгнал его через три дня за проявленную Ляховым робость в бою.

— Я думаю, надо послать в бригаду Кочубея Кандыбина, — предложил Старцев. — Кочубей остался доволен им еще за невинномысский бой. Кандыбин хороший коммунист, вояка, да и казак к тому же.

В тот же день Кандыбин выехал на фронт к Кочубею. На днях у Кандыбина была убита лошадь, и он отправился в Суркули на обывательской линейке. Недружелюбно принял очередного комиссара Кочубей. Оглядел внимательно, словно никогда до этого не встречал его. Плотный, будто отлитый из стальных мускулов, с лицом, темным от боев и солнца, похожий на черкеса, Кандыбин спокойно выдержал тяжелый кочубеевский взгляд и, зевнув, отвернулся. Чуть дрогну-

ли губы Кочубея, но он подавил довольную улыбку. Не хотел показать, что понравился присланный.

Было уже поздно. Кочубей, сидя на кровати и снимая сапоги, сказал:

— Ну, ложись, комиссар, а утречком пробежим на фронт.

Кандыбин, завернувшись в тулуп, брошенный ему на пол, лег в одной комнате с Кочубеем. Комбриг потонул в трех перинах и спустя минуту заснул.

Утром, когда из раскрытых окон еще струилась благодотворная ночная прохлада, Кочубей вскочил, моментально оделся и, заметив храпевшего на тулупе комиссара, грубо толкнул его ногой в бок:

— Ну, вставай! Разлегся! Ты шо ж, до меня спать приехал?

У ворот Кандыбину подвели высоченную кобылу из конюшни батьки. Раньше любил ее Кочубей. После же того как попала в одну из ног лошади пуля и потеряла она боевые качества, держал ее за прежние заслуги. Прозвали ее втихомолку коноводы «трехногой дурой». Комиссар, осмотрев седловку и ту же подтянув переднюю подпругу, легко вскочил в седло. Кочубей незаметно одобрительно крикнул. Желая показать лихость новому, приятному ему человеку, присел на корточки и прыгнул в седло без помощи рук. Это был знаменитый прием посадки, не удававшийся никому, кроме самого Кочубея. Комиссар сознательно не высказал никакого удивления. Кочубею это не понравилось. Нахмурился, отстал, пропустив вперед комиссара. Поехал рядом с Михайловым. Подморгнув и толкнув Михайлова в бок, ехидно шепнул:

— Глянь, комисса-а-ар!

Узкое коричневое лицо Михайлова скривилось в презрительной улыбке. Нагнувшись к Кочубею, что-то ему сказал. Оба засмеялись. Десяток спаянных боевой дружбой командиров, ехавших позади них, тоже переговаривались и посмеивались. Недавно принятый в эту боевую семью комполка Кондрашева Николай Батышев, уже прославивший себя атакой, проведенной вместе с Горбачевым на батарею во время флангового удара по Невинке, был среди них. Ему Кочубей доверил командование первой сотней, и Батышев, чтоб не ударить лицом в грязь, тоже отпускал колкие шутки по адресу новоявленного комиссара. Кандыбин, не подавая виду, свободно покачивался впереди.

Он думал сейчас не о бое, не о том, что будет там, на фронте. Он искал путей к сердцу Кочубея, по которым придут доверие, дружба, а следовательно, и боевые успехи. Комиссар фронта предупредил Кандыбина о своеобразии его роли в партизанской бригаде, где не было ни одного коммуниста и дисциплина поддерживалась только благодаря популярности Кочубея. Бригада Кочубея могла сделаться и большой революционной силой и могла пойти по дороге анархии. Немало бродило в то время непонятных ватаг по Кубани. Сегодня ватажек сидел на командном совещании рядом со всеми и получал боевые задания, а завтра, пустячно обиженный, бросал на вчерашних друзей мятежные сотни.

На ярах-перевалах раскинулась станица Воровсколесская. В этой станице укрепились белые после падения Невинномысской. На подступах — окопы и огневая защита. Из станицы выбрасывались свежие формирования: полки, батальоны. Здесь была резиденция генерала Покровского. Отсюда фронт снабжался скотом, хлебом, фуражом. Белые пока были пассивны.

Красные готовили удар по Воровсколесской — Вердэну фронта. Сегодня предвиделся бой. Подтягивались пехотные части. Балками подбиралась конница. Устанавливали батареи. Метались ординарцы. Ночное совещание в Курсавке, в присутствии главкома, постановило лкбymi усилиями взять Воровсколесскую. На совещании поручили Кочубею в случае успеха выкачать из станицы все продовольствие и фураж. Как передавали, главком, не надеясь на закрепление успеха, приказал лично Кочубею сжечь станицу.

Кочубеевцы ехали шагом. Дорога вилась по балкам и выбитым сражениями взгорьям. На гряде иногда вырисовывались всадники. Узнав своих, исчезали. Попадались лениво идущие на фронт бойцы, на штыках были нанизаны булки и куски сала. По чубатым головам да еще по особой манере залихватски заламывать высокие шапки комиссар угадал так называемых германогайдамаков, завезенных с Украины.

Мимо них кочубеевцы проехали рысью. В этом сказывалось особое пренебрежение к пехоте. Поднялись на гряде. Невдалеке ударила пушка. Этот звук поддерживали винтовочные выстрелы. Так обычно начинались сражения...

Кандыбин заметил приближающуюся кавалькаду. Кочубей тоже взгляделся, привстав на стремянах. Успо-

коленный, откинулся на заднюю луку, ожидая. Подъехал Кондрашев, кивнул Кандыбину, с Кочубеем поздоровался за руку. Кочубей восхищенно разглядывал гнедого жеребца начальника дивизии.

— Вихр, а?.. Митька! Чей?

— Жеребец? Был когда-то полковничий, теперь мой, — довольный похвалой, ответил Кондрашев. И подъезжая так, что звякнули, встретившись, его и Кочубеевы стремяна, спросил: — Готов, Ваня?

— А як же!

— Покровский подтянул трехдюймовки на левый фланг, — будто случайно кинул Кондрашев.

Кочубей, игриво подмигнув Михайлову, также как бы ненароком спросил:

— Так чего надо от Вани Кочубея?

— Взять надо, — спокойно сказал Кондрашев.

— Раз надо — возьму.

Кондрашев продолжал объезд наступающей группы. С подчеркнуто важной посадкой он удалялся небольшим галопом. Небрежно брошенный на плечи башлык ярким пятном кровянил в безрадостных тонах вытопанных полей. Рядом с ним, на вороном коне, — комиссар Струмилин, с задорно выбившимся из-под кожаной фуражки белокурым чубом. Комиссар сидел в седле неважно. Это определили кочубеевцы, но не подали виду, зная уважение самого батьки к комиссару дивизии.

Бой начинался. По степи зачернели тела. Было жарко. Часто стреляли орудия. Кое-где, потеряв седоков-связных, носились лошади, пугливо шарахаясь от шрапнельных разрывов. Пехота не решила задачи. Пригнутаая огнем, залегла. Для перемены положения была выброшена конница Кочубея. Вырвались из балок отважные сабельные сотни под водительством Михайлова. Трепетное, помчалось бархатное бригадное знамя. Курган — командный пункт командира бригады. Над курганом часто свистели нули, но Кочубей спокойно стоял на седле с биноклем в руках. Конь беспокойно прядал ушами. Вдруг на поле точно накинули яркопеструю ткань. Шесть бригадных сотен, скакавших до этого в сомкнутых порядках, развернулись. Кочубей удовлетворенно крикнул, улыбнулся.

— Добре, казаки, добре, — похвалил он.

Кандыбин глядел на него с одобрением. Кочубей напомнил комиссару атаманов запорожской вольницы,

прославленных в казачьих песнях. Захотелось самому ощутить свист ветра в ушах и сладкую радость сечи. Похлопал комиссар по крутой шее кобылицы, и она тихо заржала, раздувая ноздри. Но что с Кочубеем? Не было уже улыбки. Соплились на переносице глубокие морщины, и плотно сжаты тонкие губы. Комиссар поднял бинокль. На далеких, но отчетливо различных курганах — коричневое облако пыли. Должно быть, обходила с левого фланга конница Шкуро, на вербованная в предгорных станицах, отмеченная в диспозиции сегодняшней операции. Кочубей опустил в седло, зло приказал Кандыбину:

— Бери, комиссар, седьмую сотню и возьми вон те сопки! Не возмешь — зарубаю.

Седьмую сотню, пятьсот одностаничников-отраденцев, повел в атаку комиссар. Пьяно бурлила кровь — хмельные соки воинственных предков.

Тяжелая была схватка. Седьмая сотня погнала на кадетские окопы шкуринцев — в большинстве своих же станичников, принявших кадетскую веру. Упрямый и возбужденный, скакал впереди всех комиссар. Окопы оцетинились рогатинами и штыками, и около окопов столкнулись в сабельном ударе.

А в это время начали бить орудия, которые подвел генерал Покровский для прямой наводки. Разрывал генерал кольцо атаки в самой середине, думая пустить подошедший из Армавира офицерский полк Алексеевской бригады.

Понял маневр Кочубей. Не миновать пускать в бой особую партизанскую сотню. Триста всадников, отборных казаков и горцев, личная гвардия Кочубея, томилась без дела, ожидая знака комбрига. Кочубей любовно оглядел их. Ангорские папахи партизан перед боем были до яркой белизны вычищены отрубями. За спины переброшены алые башлыки. Черкески, кривые дагестанские пашки с крестообразным эфесом, полированные коробки маузеров и матовые стволы ручных пулеметов. Краса бригады — первая сотня: ею справедливо гордился комбриг, выводя в дело только в критические минуты сражений. Подал условный сигнал командиру сотни Батышеву. Батышев, до этого хозяйственно осматривавший седловку и ковку, зычно крикнул: «Садись!»

Храпнули кони, и забряцало оружие.

К Кочубею подъехали помощники взводных командиров для передачи его приказаний, второй трубач и калмык с сотенным значком.

Выборный командир второго взвода, Тит Мудраков, весело подмигнул напряженному и серьезному командиру первого взвода, Пелипенко.

— Видать, лавой вдарим, а потом в стоячку, на пушки!

— Видать, так, Панахида, — спокойно согласился Пелипенко. — Видишь, батько сам поведет.

Тит Мудраков, прозванный за тяжелую руку Панахидой, вынув клинок, попробовал лезвие ногтем.

— С вечеру жало навел. Может, самого Шкуру до селезенки достану, — похвалился он.

— Его достанешь! — усомнился Пелипенко. — Он с колокольни достает с бинокля... Ну, кажись, начали...

Кочубей подал звучную команду атаки. Полевым галопом разостлалась по степи особая партизанская сотня. Действенный ружейный огонь расчленил взводы. Орудия близко. Трубачи проиграли апшэль, и крылья лавы сомкнулись на карьере. Кочубей встал во весь рост и взмахнул клинком.

— Вот это дело! — обрадовался Мудраков, на скаку перекидывая стремяна для упора.

Взметнулись в седлах партизаны. Всныхивающая маузерными молниями лава обрушилась на врага.

Недалеко рывкнуло «ура». Кондрашев ударил с правого фланга. Белые дрогнули. У парка зарядных ящиков, скрытых за косогором, поднялась паника. Группами, на артиллерийских лошадях, бросив все, удирали ездовые. Прямо на орудия, состязаясь в лихости, неслись кочубеевцы. Захлебывались вражеские пулеметы.

— Ой, Христа, фитилек, ланпадку!.. — крикнул Тит, вынесшись с фланга к батарее, и, полный взбалмошной удали, выпрыгнул из седла на трехдюймовку.

Стиснул Тит пушку в объятиях, оскалил в хохоте зубы:

— Ой ты моя молодица!

Но прешла по нему последняя пулеметная строчка. Перерезала Тита пониже шеи, отхватив спину до половины лопаток. Медленно сползла спина, и, когда пальцы правой руки коснулись земли, голова склонилась вбок и рухнула с орудия окровавленная масса.

Страшен и нелеп был человек, разделенный надвое. Пелипенко не оглянулся. Сгорбился и, дорвавшись до

пулеметов, кружил шашкой, озлобленный и молчаливый, и свистел воздух вокруг него.

...Станица была взята. Поле боя объезжал Кочубей. Хмурился, замечая то там, то здесь белые папахи своих любимых лебедей. Иногда подолгу задерживался у трупов известных ему бойцов. Вдыхал, качал головой.

— А это шо за комедь! — воскликнул он, увидав на оружии обезглавленного человека.

Узнав Мудракова, снял шапку.

— Добре помер Панахида! Похоронить его с воинскими почестями. А докторам восстановить в прежней доблести Титово тело.

* * *

На церковной площади Кочубей выстроил бригаду и на глазах всех расцеловал отличившегося в бою Кандыбина. Это считалось лучшей наградой в кочубевской части.

— Молодец! Вот это комиссар! Ну, давай руку, товарищ будешь, и кличь меня завсегда Ванькой.

Бригада кричала «ура», а комиссару подвели другого коня, хороших кровей, из заводных¹ лошадей Кочубея. Кандыбин с некоторой грустью расстался с «трехногий дурой». Кочубей, поблагодарив бойцов за атаку, вызвал командира временно ему приданного Ейского полка, Деревянникова, вялого, пугливого человека, и приказал ему:

— За ночь вывезти из станицы все. Хай кадеты воздух глотают. Вывезешь — награду, не вывезешь — перед бригадой зарубаю самолично.

Отпустив Деревянникова и заметив перебежавшую площадь старушку, подозвал ее.

— Где поп с этой церкви?

— На шо ж вам батюшка? Ой, лишечко! — запричитала старуха. — Убивать?

— Молебна хочу служить, — подбоченясь, ответил Кочубей.

— Молебна? А говорили, у большевиков бога нема, — удивилась старуха и всплеснула руками. — Да как же вы служить будете, сыночек, ведь батюшка-то утек с кадюками.

¹ Заводных — запасных.

— Эге!.. — протянул Кочубей. — Раз нет попа, не надо и церкви... Хлопцы, давай ее палить — поп утек.

Охотники побежали за соломой. Вскоре первым появился Пелипенко, таща на спине целую копну бурьянистого сена, увязанного вазовой веревкой.

— Хлопцы на огородах смыкают солому, а мне хазин бурьян приспособил, — хвалился он, сваливая принесенное у паперти и отдуваясь. — Давай спички.

— Подожди, Пелипенко, пока ребята еще припрут соломы, а то не загорится, — посоветовал кто-то.

— Загорится, як от керосина, — поощрил Кочубей. — Эй, хлопцы, солому тащить до самого алтаря!..

Кандыбин отозвал Кочубея:

— Ваня! Зря ты это делаешь.

— А ты шо мне за указ? — усмехнулся он.

— Ведь это противореволюционно...

Кочубей махнул рукой.

— Давай, Пелипенко, шо ж ты чухаешься?

В церковь вносили вязанки соломы. В ожидании веселого зрелища бойцы перешучивались, покуривали, смеялись.

— Ты должен отменить, — наступая, требовал комиссар.

— Да шо ты привязался? — вспыхнул Кочубей. — Шо, ты мне указы будешь отдавать?

— Ты не хочешь, я сам отменю, — твердо сказал комиссар. — Товарищи!.. — крикнул он.

Рассерженный Кочубей тряхнул его за грудь. Комиссар, вырываясь, выхватил кинжал.

— Вот так комиссар! — Кочубей крепко держал Кандыбина за руку. На уровне глаз комиссара матово поблескивало дуло кочубеевского нагана. — Эх ты! Вот як надо, — и вывернул руку, кинжал упал на землю. Потом засунул наган за пояс и удовлетворенно заметил: — Вот это комиссар! Еще раз товарищем будешь.

Добавил тоном, не терпящим никаких возражений:

— А церковь спалим, есть мой приказ. А за компанию — подпустим красного петуха и станице. За станицу режь Сорокина, он приказал. Давай поглядим, яка тут церковь.

Кочубей, бросив повод ординарцу, вошел в церковь. За ним направился Кандыбин. Кочубей, подергивая плечами, шел по серому некрашеному полу легкой джигитской походкой. У иконостаса остановился в раз-

думье. Он был серьезен, и прежнее шутовство будто слетело с него.

— Святые, эх, эх... святые... — укоризненно покачивая головой, прошептал он и продолжал уже злобным, повышенным голосом: — Да яки ж вы святые, да яка с вас польза? Где ж ваша святость? Все в камнях, венцах, со скипетрю, а люди оборванные и босые.

Сплюнув, резко повернулся, снял шапку и, стерев пот коротким взмахом руки, заорал нарочно громко и вызывающе:

— Хлопцы, вытянуть самую кращую ризу и одянуть на моего Зайчика!

Жеребец Кочубей, Зайчик, был наряжен в голубую пасхальную ризу.

— Глянь, хлопцы, як на его пита! — подмигнул Кочубей и, прямо с паперти прыгнув в седло, выскочил за ограду.

Из решетчатых окон церкви пробивался дым.

* * *

Вялый с виду Деревянников организовал достойную удивления выкачку белогвардейской базы. Всю ночь, непрерывным потоком, шириной в пятьдесят подвод, шла выгрузка. Под лунным светом двигались подводы с мукой, сеном, продуктами. Ржали косяки лошадей, ревели стада коров, блеяли отары овец, лениво похрюкивая, жирной лентой двигались свиньи. Все это оседало в Суркулях. С этого дня Суркули сделались базой снабжения фронта. Практичный Кочубей начал налаживать тыловое хозяйство фронта. А на зорьке станица Воровсколеская запылала со всех сторон. Белые перегруппировались. Кочубей организованно ухотил, выполнив приказание.

Кондрашев, заметив зарево, послал узнать, в чем дело.

Сообщили: «Уходя, станицу приказал поджечь Кочубей, а в церковь внести три копны сена и тоже поджечь». Вызванный Кондрашевым, Кочубей в присутствии Кандыбина сказал детски наивно:

— А шо мне впотьмах отходить? Боялся, шо заблудюсь, и запалил для освещения.

Это было уже на третий день.

— Ну, сидай, — пригласил Кочубей и подвинулся на лавке, — зараз можно и побалакать.

Кандыбин присел. Кочубей хлебал борщ вместе с Михайловым, Батышевым, Наливайко, братом и другими любимыми командирами и друзьями. В хате висели иконы, лубочные картины, изображавшие бой у Гельгоlanda и виды Новоафонского монастыря. На коленях обедающих лежали расшитые цветными нитками рушники. Поодаль, покачиваясь и тихо напевая знакомую Кандыбину свадебную песнь черкесов «Орейдада», сидел телохранитель Кочубея адыгеец Ахмет. Ахмет никогда в присутствии посторонних не занимал места за столом вместе с Кочубеем, боясь уронить достоинство своего начальника в глазах еще мало ему знакомых людей, — таков обычай Адыгей. Рядом с адыгейцем командир третьей сотни возился с трофейным парабеллумом. Кочубей, не переставая жевать, знакомил с собой комиссара. Изредка призывал в свидетели присутствующих, и те, утвердительно кивая головами, вылавливали из миски жирные куски говядины, со свистом высасывали мозговые косточки.

— ...Такого мне коршуна, як ты, и надо, политичный ты мой комиссар. Разгадал я тебя сразу, а потом ты подкрепил мою догадку. Думаю я, будешь и ты исподтишка выпрашивать, кто я и шо я. Так я сам про себя расскажу. А ты слухай, бо потом размусоливать время не будет.

Кочубей внимательно поглядел на комиссара. Тот тоже, будто впервые, пристально всмотрелся в Кочубея. Не больше двадцати семи — тридцати лет от роду, подвижный и худощавый. Казалось, каждый мускул на его лице жил. Губы плотно сжаты слегка презрительной гримасой. Нос правильный, немного с горбинкой, брови белесые, сходящиеся на переносье у резких морщин. Улыбка Кочубея была обаятельна. Но, улыбнувшись, он обычно сейчас же гасил ее, будто считая несовместимой со своим положением и званием.

Ахмет, прекратив пение, слушал начальника. Командир сотни протирал маслом револьвер, заржавевший у офицера.

— Так вот, — продолжал Кочубей, — был я на действительной, в Урмии, а после на фронте турецком, тоже партизаном, только не у Кондраша, а у Шкуро

под началом. Пришел домой с фронта... в станицу Александро-Невскую. Вижу, нет в станице от всяких атаманов да баптистов разворота. Дóма тоже, як пиллой... Подался на Тихорецкую. Хожу як кабан, очи в землю, а думки як пчелы. Шось не правится. Буржуи у власти, а на станции юнкерá пристають: иди да иди, казак, к ним. Рубанул я одного юнкера и гукнул: «Кто хочет вырубать окно острыми пашками к жизни хорошей!» Кинулись до меня хлопцы. Сгарбузовал я отряд и вступил в революцию вооруженный, при полной форме...

Кочубей тряхнул оружием: два маузера, наган, браунинг, кинжал, пашка. Нахмурился и быстро, чуть ли не на ухо комиссару, зашептал:

— Мешал буржуев и офицеров, як полову коням, вилками-двойчатками. Головой в землю, ногами в гору. Легла не одна подлюка в степовых балках. Подоили с их мы кровь. Подался я до Сорокина в армию. Рубались за Выселки, Батайск, Катеринодар, Эйнем и прочие станицы. Рубались — аж волосья дыбом. Хлопцы у меня на выбор: або грудь в хрестах, або голова в кустах, революции не стеснялись. Як приходит до меня: «Прийми, батько», а я его по сусалам. Не падает — выходит, добрый будет вояка, беру в отряд. Вот как, политичный ты мой комиссар, товарищ Кандыба! А если спросишь, як я новую жизнь понимаю, то скажу тебе: могу об этом балакать только с батькой Лениным, бо он, по слухам, теж моей программы придерживается...

Неожиданно раздался выстрел. Выстрелил офицерский парабеллум командира сотни. Пуля рикошетом попала в Кочубея, и он схватил рукой шею. Ахмет кинулся к виновнику выстрела, но, остановленный окриком Кочубея, замер. Кочубей, морщась, гонял пулю под кожей, пальцы его окрасились. Потом, видимо, уловив момент, рванул и вытащил пулю. На черкеску брызнула кровь. Кочубей поднес пулю ближе к глазам и разглядывал ее, удивленно приподняв брови.

— Ишь, стерва, всю шею поковыряла.

Плюнул пренебрежительно на пулю и бросил в лицо оторопевшему командиру:

— В другой раз выпорю. Не умеешь с оружием обращаться. Отдай-ка стрелюку Ахмету.

Обескураженный командир виновато протянул парабеллум черкесу.

Все было необычно комиссару в ставке Кочубея. Даже вот этот случай с пулей, да и самый рассказ Кочубея. Какими внутренними законами поддерживалась дисциплина в отряде, а теперь бригаде? Неужели только на круговой поруке держится моральная спайка бойцов?

Такие мысли были вполне естественны в положении комиссара. Решение этого вопроса определяло его поведение.

С недоверчивой усмешкой, получив от Роя секретные слова на сегодня, он вышел из штаба. Во дворе пылали костры, и это комиссар принял за первое нарушение правил расположения квартиро-биваком в непосредственной близости к противнику. После он узнал, что белые отлично знали место резиденции Кочубея, но подход к Суркулям был так сложен, хутора так густо были окружены заставами, караулами, секретами, так была налажена служба дозоров и патрулирования, что прорваться можно было только с боем, а тогда, естественно, на защиту родных Суркулей слетались сабельные сотни.

В Суркулях была только одна бесконечная улица. Удаляясь от штаба, Кандыбин услышал слева шум поезда. Близко проходила железная дорога. Оглянувшись назад. Костры, казавшиеся ему вблизи такими яркими, теперь обозначались почти незаметными столбами редкого дыма. Попался переулочек: он спускался к илистой речке, к камышам, тихо шелестящим. По бокам переулка — канавы, защищенные густым рядом деревьев, очевидно акаций, что можно было определить по стройным гладким стволам. Снизу тянуло прохладой и болотными запахами. Комиссар не дошел еще до камыша, когда на грудь его лег штык.

— Кто идет?

— Свои, — Кандыбин отпрянул.

— Свои коней крадут. Пропуск?

— «Борт».

Дозорные подозрительно начали вглядываться в Кандыбина, и, видимо не веря ему, один из них чиркнул спичкой. Свет обнаружил упрямые глаза и подрезанные щетинистые усы дозорного.

— Комиссар?

— Да.

— Спали б, комиссар, а то невзначай ваколет кто-либо, ей-богу, — посоветовал боец и отошел.

— Дозор? — спросил Кандыбин.

— Да.

— Все в караул-то вышли?

— А ну попробуй не выйди. Враз на передовую, в самый огонь, а то в Козловую балку, — сказал боец с щетинистыми усами.

— В балку еще не водили. Не было такого дела, — перебил его второй молодым, приятным голосом.

— Нет, так будет, — отрезал первый.

— Все наперед знает, как бог Саваоф, — ухмыльнулся второй, молодой.

— Бога не замай, он тебе ничего плохого не сделал, а нюх, верно, на будущие времена имею.

— Нюх?! — удивился второй. — Откуда он у тебя? Усы-то ты подрезал?

— Ну, подрезал, — напыжился первый, — што ж с этого? Я чутьок ножницами подкорнал, штоб лучше сметану есть. Люблю сметану, товарищ комиссар, а усы мешали, я их и того...

— Вот и нет у тебя нюха, Саваоф, — поддразнивая, снова сказал второй. — Помню, я мальчишкой был, отхватил коту усы. Перестал кот мышей ловить, сидит и фыркает. Нарезу ему колбасы, положу — съест, который кусок возле него, а остальные не замечает. Мяучит, мяучит, будто кто его за хвост дергает. Подвину — еще кусочек съест. Выходит — все у кота в усах, как и у тебя, Саваоф, и пропал ты теперь отныне и навек. Ну, мы заговорили вас, товарищ комиссар. Видно, с обходом?

— Нет. Так прошелся, спать что-то не хочется.

— Если с обходом — не сомневайтесь, товарищ комиссар. Проверочку сделать можете. И прямо скажу, хоть усов у меня и нет: никто не спит. Как на пружинах все.

— Так ли? — нарочно усомнился Кандыбин.

— Иначе быть не может, потому сознание заедает, товарищ комиссар. Сами деремся и очень чувствуем, что деремся со своими недругами, всех знаем злых, товарищ комиссар, кто там, — сказал он, указывая в направлении фронта, опустил на землю и словно растаял.

«Вероятно, прилег в канаву», — решил Кандыбин и, попрощавшись куда-то в темноту, вышел на улицу.

Он не успел дойти до штаба, как его задержал конный патруль. Патрульные были из седьмой сотни. Поздоровались и поехали дальше. Комиссар вернулся.

Коня дежурной части были подседланы и звучно жевали зерно, помахивая торбами. Дежурная часть держала лошадей на улице, у временных прикольных коновязей. У ворот, верхом на пулемете, сидел боец, запахнувшись в шинель. Он прислонился спиной к щитку и, казалось, дремал, но когда рядом очутился комиссар, пулеметчик повернулся к нему и спросил время.

Даже по тому, как у коновязей дневальный сновал с метлой и лопатой, убирая навоз, понял комиссар сущность побед Кочубея. В бригаде была установлена дисциплина, что не удавалось сделать в большинстве частей вооруженных войск Северокавказской республики.

На крыльце, заняв его почти целиком, сидели черкесы. Они разостлали бурки и сидели в косматых шапках и черкесках, тихо перебрасываясь словами. Охрана Кочубея состояла в большинстве из адыгейцев. Клокочущий, гортанный язык адыгейцев несколько отличался от языка предгорных черкесов, но комиссар, знавший язык черкесов, свободно разбирал их речь. Разговор заинтересовал комиссара. Часто упоминались Ленин и родовитый князь адыгейцев генерал-майор Султан-Клыч-Гирей-Шахам, известный комиссару как инициатор восстания против Советов и организатор горских полков для белого командования.

Кандыбин опустил на завалинку.

— Султан-Гирей зовет нас, — убеждал приглушенный голос. — Ночами приходил к нему пророк. Он сказал: «Ханоко, алла поручил тебе газават-зао¹, так скажи всем правоверным...»

— Скажи, Мусса, — перебил его второй адыгеец лукавым голосом, — Султан-Гирей обещал посадить тебя за свой стол? Молчишь, Мусса?!

— А красный пши² Кочубей сажает нас за свой стол как равных, — цокнув языком, заключил третий.

Комиссар узнал черкеса по голосу. Это был Айса, друг Ахмета.

¹ Газават-зао — священная война.

² Пши — князь.

— Султан-Гирей каждому обещал по косяку кобылиц, отару баранов, — продолжал Мусса. — Утро и вечер мы будем пить бузу и айран. На клинках мастера вырежут слова пророка, и золото на шашках будет из Теберды и Бадуга. В сакле запоят семь жен, не меньше...

— Так журчит река Джиганас, и очень захочется тебе поспать на ее берегу, потому что она ласковая. Заснешь ты, а в горах прошли дожди, но ты их не видишь и спишь. И не знаешь ты, что идет с гор вода, как габун кобылиц, и тащит камни больше тебя, Мусса, в два раза. Налетит вода, разобьет тебя и выбросит в ущелье Кубани. Так поступает ласковый Джиганас со спящим, — заметил черкес, очевидно житель предгорья, так как знал о проделках реки Джиганас.

— Ханоко добрый, он хочет все отдать нам. Пусть уйдет ханоко, Султан-Гирей, мы возьмем его добро сами, — сказал Айса, и все засмеялись.

— Мусса передал то, что слышал, — уклончиво произнес Мусса и, помолчав, добавил: — Может, он злой, ханоко, может, добрый... откуда знает Мусса?..

— Черкесский народ еще не имел добра и правды от Гирея. Черкесский народ может просить его: «Иди, ханоко, умри, а потом мы тебя полюбим», — сказал черкес, говоривший о Джиганасе.

Собеседники одобрительно зашумели. Скрипнула дверь. Из дома упал свет. Комиссар приподнялся. Кочубей? Нет, Ахмет. Комиссар опустился на завалинку и начал свертывать папироску. Он крикнул, зажег спичку, прикурил и держал спичку, пока она не догорела и не прижгла ему пальцы. Черкесы, не обратив на комиссара внимания, все разом заговорили с Ахметом.

Ахмет остановил галдеж:

— Одна половина сердца там, другая половина сердца здесь, одно ухо кричит, другое пищит, как можно понять? Говори ты, Айса.

Айса говорил быстро и отрывисто, иногда прерываемый возгласами Муссы.

— Кто мог знать, что ты, Мусса из аула Улляп, глупый, как барапка, — выслушав Айсу, сказал Ахмет и решительно заявил: — Газават-зао ведет великий пши Кочубей, а пши Кочубей идет по законам Ленина. Понял, глупый Мусса из аула Улляп?

— Кто такое Ленин? — процедил Мусса.

Ахмет вспыхнул:

— Ленин родился от солнца и луны. Ленин рода курейшипов, и все знают это, а откуда Султан-Гирей — никто не знает.

— Ханоко из рода курейшипов, а курейшипы — род пророка, — раздраженно сказал Мусса.

— Откуда ты знаешь, Мусса? — ехидно задал вопрос Айса. — Ханоко сам тебе сказал? Почему ты его любишь?

— Похожий похожего любит, — изрек горец из Джиганаса. — Растет дуб один, а корней много.

Резкий голос Ахмета выделился из общего шума:

— Ханоко умрет, а Ленин будет жить. Ханоко выроют шакалы, и кто будет знать, где его кости? А Ленин всегда будет ходить в белой-белой, как горный снег, черкеске, и будет стоять Ленин, как Эльбрус, и светить днем, как солнце, а ночью — как луна. Все будут знать Ленина, а кто будет знать ханоко, кто?.. Молчишь, Мусса?

XI

Шла долгая и упорная борьба. Держала бригада Кочубей район по реке Невинке до станицы Георгиевской, хуторов Роцинских, Воровсколесской станицы и Сычевого края. Впереди фронта огромное Баталпащинское плато — десятки тысяч десятин сенокосных угодий. Против бригады стоял генерал Шкуро. Состоялись на фронте казак Кочубей Иван и бывший его начальник полковник Шкуро Андрей Григорьевич. Вправо, до самой Невинномысской, бродили кочубеевские разъезды.

Степные Суркули надолго стали резиденцией Кочубей. Небольшой дом, с глухой стенкой на улицу, — штаб бригады. Начальник штаба, покусывая длинный вороной ус, добросовестно изучал карту.

С тобою я привык мечтать,
С тобою, ясною звездою... —

вполголоса напевал Рой, поворачивая карту, гремевшую, точно лист железа. Много мук пошло на ее склейку. Многоводная, расплываясь фиолетовыми волнами, извивалась Кубань. Реку нарисовал Рой, а подправил химическим карандашом Кочубей, начертив, где полагается, у берегов подобие елочек — леса. Ста-

ницы изображались квадратами, примерно со спичечную коробку. Над квадратом Суркулей краснел флаг. Дом штаба на карте был нарисован; из трубы валил курчавый дым, за трубу дома была привязана лошадь, похожая на собаку (творчество Ахмета), что означало коновязи. Большое дело для черкеса изобразить живое существо. Коран издавна запретил рисовать, чеканить на изделиях из золота, серебра и кости изображения людей и животного мира. Не препятствовал начальник штаба творчеству Ахмета, хотя и закрывала лошадь черкеса половину Курсавки, полностью село Куршавское, спуская хвост в степное мелководное озеро Медянку. Начальник штаба, сочным баском продолжая песню, наносил на карту новые перегруппировки противника. Белогвардейские полки распределялись по фронту еле заметными кружочками, а кочубеевские сотни алели огромными эллипсами, обращенными стрелами на врага. Это для психологического воздействия на вызываемых в штаб командиров.

— Гляди сюда, — обычно говорил Кочубей, раскладывая карту. — Видишь, яка у тебя сила и яка у них?

Командиры чесали затылки, кряхтели, убеждались в явном графическом превосходстве своей сотни над неприятельским полком, смущенно бормотали:

— Верно. Яка козявка меня кусает! Тю, грец... Ну, батко, таку расчихвостим...

Ахмет, стоя у окна, внимательно следил за Кочубеем. Во взгляде темных блестящих глаз телохранителя было что-то тревожно-преданное. Он был поставлен охранять жизнь величайшего, по его мнению, воина. Поэтому он никогда не отходил от Кочубея. Когда Кочубей спал, Ахмет дремал, привалив двери своим сухим, мускулистым телом горца. Когда комбриг бредил, Ахмет открывал глаза и настораживался. Когда чувствовал опасность или чуткий слух его улавливал звуки, выделяющиеся из привычного ритма прифронтовых шумов, Ахмет напрягался, собирался в клубок, готовый барсом прыгнуть на врага.

Кочубей, прибыв с фронта и сняв сапоги, быстро шагал по комнате в шерстяных, выкрашенных фуксипом носках.

Вокруг — в беспорядке сброшенное им оружие. Не обращая внимания на двух женщин, жену Настю и Наталью, случайно зашедшую в штаб, Кочубей на

ходу распоясался, быстро вытащил из-под очкура рубаху, потряс ею, чтобы дошла до его вспотевшего тела прохлада, остановился, выгнулся, полуобернувшись, приказал:

— Начальник штаба, иди сюда, подери мне когтями спину.

До спины батьки допускались только избранные. Рой, отложив диспозицию, не торопясь подошел, запустил руки под рубаху, начал деловито чесать. Кочубей, казалось, мурлыкал от наслаждения, довольный, приговаривал:

— Ох, ох... Ще, под самой лопаткой! Во-о-о! Ни же... Во-о-о! По хребту, ще, ще... Во... Срезал когти?.. Во-о-о!.. Ну, будет. Оставь шкуры до другого раза.

Разогнавшись, прыгнул в кровать, утонул в пуховиках. Три перины — слабость Кочубея. Потянулся до хруста. Закинул руки за шею, прикрыл глаза, улыбнулся, тихо сказал:

— Адъютант, жарь колбасу!

— Есть, жарить колбасу.

Левшаков скрылся. Дверные щели пропускали вкусные запахи. Шипело сало. Слышалась команда Левшакова и ворчливый голос хозяйки. Сыны у хозяйки ушли к Шкуро, и она вечно недовольна постояльцами и бранчлива. Штаб расположен в горнице — парадной половине казачьей хаты; колбаса жарилась в теплушке — черной половине, где жили хозяева и после отела — телята. В теплушке земляной пол, русская печь, плита, кровать, прикрытая ряднами, на полу топливо — кизяки и солома. В горнице деревянные полы, стол, занавески на окнах, койка для гостей, вычурно резной шкаф, сундук.

Кочубей блаженствовал. Трое суток в седле. Поединки, короткие стычки. Пыль и дождь. Душные костры-пишувны из сырого дубняка.

— Хуг!.. хуг!.. — пыхтел он, поглаживая живот. — Хуг!.. хуг!.. Як дела, Настя? Чего нового, милосердная сестра?

Вопросы праздные. Задавая их, Кочубей не требовал ответа. Он закрыл глаза. Он отдыхал. Наталья первый раз видела комбрига в домашней обстановке. Она недоуменно пожимала плечами, искоса поглядывала на Роя, улыбалась.

Осторожно ступая, чтобы не слышен был скрип ще-

гольских румынок, оставив назад руки, подошла к Кочубею жена.

Женщина нагнулась и быстро поцеловала любимого. Но сейчас же испуганно отпрянула назад, так как Кочубей вскочил разгневанный.

— Геты! Я ще не подсказывал цилувать!

Женщина, застеснявшись, ушла на кухню. Ахмет довольно цокал языком и крутил плетью.

Неожиданно для всех вскочила Наталья, наблюдавшая эту сцену. Ее лицо горело. Белокурые волосы беспорядочно выбивались из-под платка. Она подступила к Кочубею:

— Что ты надсмехаешься?! Герой!

Кочубей привстал, состроил удивленную мину.

— А ты шо мне за указ?

— Жена она тебе или не жена?

— Жена, а як же...

— Ну и обращаться надо как с женой. — Презрительно бросила: — И за такую чуму Деникин миллион обещает!

Наталья вернула подругу из кухни. Отняла ее руки от заплаканного лица.

— Ты б его рогачом, — посоветовала Наталья, — почесала бы ему спину вместо Роя.

Обернувшись к комбригу и укоряюще глядя своими детскими глазами, сказала:

— А еще красный командир! За революцию...

Кочубей был смущен.

— Не могу прекословить, — оправдывался он, — мост взяла. Кабы не девка — в сотенные б произвел.

Появился Левшаков. Откинув чуб рукой, вымазанной в саже, он торжественно отрапортовал:

— Колбаса шкварчит, как живая, пережаривается!

— Давай на стол! — обрадованно скомандовал Кочубей, сядясь рядом с Кандыбиным.

Хозяйка внесла сковороду. На сковороде шипели круги колбасы. Адъютант взял из рук хозяйки сковороду и церемонно поставил ее на стол.

— Ну, моя милка, сидай с нами, — пригласил Кочубей жену, полуоборачиваясь. — Да и ты, королева, садись, гостем будешь.

— Некогда мне колбасами заниматься, — отказалась Наталья.

Настя покорно присела.

Кочубей поведал свои мысли комиссару:

— Был я, Вася, на фронте. Нельзя держать в ямках всадников. Не конное это дело. В окоп сажать надо брюхолазов. Надо, Вася, нам своей пехоты.

Он вопросительно смотрел, поставив локоть на стол, и потирал пальцем шрам, что был у него чуть повыше лба. Серые его глаза были колючи. Узкие губы и властный подбородок придавали лицу сердитое выражение. Крепкая медная шея вспотела.

— Не забыл я еще того случая, як ты меня чуть штыком не заporол в Рождественском хуторе. Пехота у тебя была тогда. Добра пехота — дербентцы, да мало. Давай, комиссар, старбузуем свой полк, — неожиданно решил он, — бо нема надежды на их части.

— А откуда людей вербовать? — осторожно спросил комиссар. — Люди-то, пожалуй, все по частям расписаны.

— Это полдела! — воскликнул Кочубей. — Дезертиров сберем, займем буржуев, что ЦИК мобилизовал. С утра пораньше пробежим до фронта, Вася, поглядим, шо и как, а потом подадимся до Пятигорска.

Определив молчаливое согласие комиссара, встал из-за стола, потянулся, зевнул и ушел спать.

XII

Коротки кубанские ночки. Настя вскочила, когда сквозь щели пробивались светлые струи и обычно незаметные пылинки вращались в них быстро и игриво. Кочубей уже не было. За дощатыми стенками сарая жил шумной жизнью штабной двор. Цукáли на коней, ругались. Кто-то, вероятно часовой, кричал:

— Комбриг на фронте! Нет в штабе комбрига. Куда прешь?!

— Аллюр два креста. От наддива Кондрашева, — обрывал часового резкий голос гонца.

В сарай не заходили. Сено в сарае было бурьянистое, засоренное. Дежурная часть держала лошадей на зеленой люцерне-отаве и ячмене.

Настя завернула постель и вышла из сарая. Во дворе, залитом ослепительным светом, на Настю никто не обратил внимания.

На фронт отправляли сало в мешках и печеный хлеб, наваленный в рундуки-пароконки. Плечистый рыжий детина, взобравшись на повозку, устанавливал

в ящики с соломой кувшины с молоком и сметаной. Настя знала рыжего детину. Это был Кузьма Горбачев, старшина третьей сотни.

Кувшины Горбачеву подносила босая баба с подоткнутыми юбками. Горла кувшинов были увязаны тряпками с прослойкой отрубей, чтобы не расплескать содержимого в дороге.

Горбачев, поминутно откидывая спадавшую на глаза чуприну, очень внимательно просматривал кувшины, прежде чем уместить их в ящик. Старшина журил бабу:

— Приказываю, приказываю — на фронт только поливанные кувшины, а ты все самые кволые, леченые да выщербленные.

— Какие есть. Нема посуды в хуторе, всю порастаскали, — вяло оправдывалась женщина. — Все туда, все туда, а обратно нету возврата. Бьете же, чужого-то не жалко.

Горбачев, отбросив за спину мешавшую ему неуклюжую драгунскую саблю и подтягивая португую, увидел Настю.

— Здорово, Настя! Что-то долго спишь, королева.

— Позоревала раз в год, завидки взяли, — улыбнулась Настя. — Кому каймак¹?

— Хлопцам, под Привольный хутор.

Во двор верхом въехала Наталья. Услышав разговор, крикнула:

— А что, Горбач, воровсколесские девчата ай измепили?

— Тю-тю... вспомнила! В Воровсколеске уже вторые сутки Покровский, что ж, он пустит девчат в красные окопы!

— Вот бедные!

Наталья, по-мужицки спрыгнув с лошади, подошла к Насте, свежая и возбужденная.

— Настя, Роя не видала? — спросила она, глянув вопросительно своими синими глазами.

— Да вот он, — указала Настя.

На крыльцо вышел Рой. За ним из двери протиснулся начальник санитарной части бригады:

— Нельзя тяжело раненных держать при нашем лазарете. Сложную хирургию, операции, требующие

¹ Каймак — густые топленые сливки.

ампутации, я не могу производить в таких условиях. Вы представляете, трепанацию черепа делать...

— Что вы рекомендуете, доктор? — перебил Рой, взявшись за луку седла.

— Тяжелых эвакуировать в Минводы.

Рой вскочил в седло.

— Минводы превращены в госпиталь всей армии. Там люди по двое суток ожидают простой перевязки. Комбриг не пойдет на это.

— Но у меня передовой перевязочный пункт. По положению я...

Рою начинал надоедать этот маленький человек, беспомощный и суетливый. Сдерживая нетерпеливого низкорослого «киргиза», прославленного как иноходец, снова перебил врача:

— Повторяю: стационарные госпитали глубокого тыла забиты ранеными. Противник развивает наступление. Комиссар взялся оборудовать лазарет бригады в Курсавке, на днях госпиталь будет готов. Пока расширьте пункт, привлечите медперсонал. Мобилизуйте фельдшеров станичных околотов — ведь это прямо-таки чародеи. В Нагутах, Султанском вами до сих пор не реквизированы частные аптеки. Будьте готовы, доктор, скоро с фронта начнут поступать раненые...

Только сейчас Рой заметил жену комбрига и Наталью. Он кивнул им. Наталья безразлично отвернулась и перекинулась пустяковой фразой с Горбачевым. Настя дернула ее за рукав.

— Наташка, ты же про его спрашивала, про Роя-то.

— Да ну его! — отмахнулась Наталья. — Раздумала.

— Что ты, Наташка, ломаешься перед ним, как сдобный сухарь перед чаем, — укоризненно сказала Настя. — Что, он парень плохой? Одной рукой и узла не завяжешь. Поженились бы!

— Ну его, Настя! Давай про другое, — попросила Наталья.

— А как под горку ходить да за камыш — не ну его? — не унималась Настя. — Ребята уже заметили.

— Много шуму, да мало толку, Настенька.

За вачальником штаба двинулись всадники. В запасных тороках и узлах они везли бутылочные бомбы и гранаты. Окончив погрузку, Горбачев сел на

лошадь, оправил саблю, принял в седле достойную позу и во все горло заорал:

— Трогай!

Часовой с перевязанной головой бросил вдогонку:

— Жителей постеснялся бы. Орет, точно катрюк.

К часовому подошел развязной походкой фуражир, известный в бригаде под кличкой Прокламация. Фуражир никогда не бывал на фронте, но все боевые и прочие новости знал первым и всячески их перевирал. Малейшие неудачи он раздувал в панические слухи, и тогда слова: «окружили», «продали нас», «измена» — не сходили с его уст. Его поэтому и не брали на позиции, определив навсегда в должности фуражира. Сегодня на фуражире был кожаный картуз и, несмотря на жару, на голое тело был натянут тесный солдатский ватник.

В одиночестве он решил поделиться кое-чем с часовым, оставленным при штабе из-за легкого ранения в голову.

— Всухомятку ребята, пожалуй, сто суток, — сказал фуражир. — Кухни-то все пехоте передали. Последнюю кухню — и то Горбач на кобылу сменял. Да хоть бы кобыла, а то тьфу!

— Несчастливая наша бригада, — заметил часовой, почесываясь. — У всех смена есть, а мы в котел головой.

— Скоро будет смена, — тихо оглядываясь, чтоб придать вес своим словам, сообщил фуражир. — Завтра сам батенько думает податься в Пятигорский город.

— Что он там забыл? — недоверчиво спросил часовой, подозрительно прищурившись.

— Пятьдесят тысяч буржуев нам обещали... подкрепить бригаду.

— Что ты, Прокламация, что мы с ними будем делать? Их за неделю не перерубаешь, пятьдесят тысяч, — и, обратив внимание на выходящую из ворот Настю, улыбнулся: — Вот это подкрепление, да? Что-сь, видать, вкусное понесла супруга? Аж сюда пахнет.

— Галушки варила с курчонком да вареники меси́ла, стало быть, их и понесла, — доложил фуражир и, посвистывая, вышел на пыльную улицу.

По улице бегали мальчишки, играя в поезд, шипели, подражая паровозу, пронзительно кричали, бросали пригоршнями пыль.

Со стороны Султанского тракта показались подводы, запряженные длиннорогими калмыцкими волами. Мальчишки бросились к возам:

— Дядя, а дядя, дай кавуна, дай дыню-комковку, дядя!..

Мажары приближались. Мальчишки возвращались, нагруженные арбузами и дынями.

— Вот штаб, дядя, — указывали они. — Здесь Кочубей живет.

Фуражир, почувяв какую-то очередную сенсацию, завязал тесемки ватника, отряхнул фуражку, надев ее так, чтобы сбоку лихо торчал пегий чуб. Возы, их было три, остановились. Казак-подводчик снял шапку.

— Можно повидать командира товарища Кочубея? — обратился он к фуражиру.

— А зачем он вам, товарищи жители?

— Да привезли мы солдатам красным кавунов да дынь в подарок от нашего хутора, от Виноградного.

— Нет Кочубея, товарищи жители. Отбыл командир бригады вместе со всей бригадой на фронт.

— Что ж теперь делать, раз нема́ Кочубея? Может, вы примете, — попросил нерешительно казак.

— Не могу, — отказал фуражир. — Вот если бы привезли сено или зерно, тогда уполномочен.

— А на фронт можно, товарищ, отвезти?

— Везите, — снисходительно разрешил фуражир. — Вот только сейчас старшина, некто товарищ Горбачев, обоз повел к фронту. Кабы вы были на конях, а не на быках, может, и догнали бы. А то попытайте.

Казак поблагодарил и взялся за налыгач¹.

— Цоб, цоб! — покричал он на быков, и подводы, до отказа груженные арбузами и дынями, тронулись в путь.

Часовой, выйдя за ворота, подсвистнул.

— Поснедают добре ребята, а то там ни одной бахчи не осталось. Все сгорело — бои ж.

Обращаясь к фуражиру, подсадовал:

— Как же это ты не мог зацепить арбуза, а? Эх ты, а еще Прокламация!

— Не мог, — передернул плечами фуражир. — При исполнении служебных обязанностей... не уполномочен.

¹ Налыгач — часть воловьей упряжки, род повода.

Володька вторые сутки блаженствовал в отдельном полевом карауле у озера Медянки. Кругом камыш, сочная стрельчатая осока, желтые болотные цветы. Стреноженные кони паслись за камышом. Впереди, на бугре, в глинище караул. Володька отпросился в охранение посыльным. Полевой караул у Медянки охранял Суркульский тракт, и днем дел особых не было. Только ночью могли прошмыгнуть вражеские разъезды к сердцу бригады — Суркулям. Ночью начальник заставы сгущал полевые караулы, и Володька ходил в секрет или в дозор.

Володька лежал на животе и, заткнув уши, упивался увлекательными событиями, пронесшимися над «пылающим островом». Рядом валялись сапоги, и на осоке просыхали коричневые от юфтовой кожи портянки.

Володька третий раз перечитывал книгу. Эту книгу дал ему Левшаков. Судя по словам Левшакова, книгу он достал у сестры милосердия Натальи, у которой, опять-таки судя по его словам, адъютант пользовался расположением. Чтобы прочитать книгу, Володька попросился на тихую работу, в заставу.

Сердцу Володьки были милы события, описанные в книге. Ему близко было и само название «пылающего острова» — Куба. Там люди дрались за свободу тяжелыми мечами, которыми они раньше рубили сахарный тростник, — здесь, рядом с Володькой, легкий клинок и подобие тростника...

Партизанский сын закрыл книгу, вздохнул и долго смотрел на красный переплет тисненой обложки.

— Луи Буссенар... Буссенар, — задумчиво шептал он. — Есть у нас такой?

Перебирал Володька людей бригады, и ни на кого нельзя было возложить столь почетной обязанности. Писать было о ком, а некому. Володьке даже взгрустнулось немного, а потом снова провихрились перед ним боевые будни, прославленные подвиги, шумной ватагой взметнулись властители дум его — бесстрашные Кочубей, Михайлов, Кандыбин, Батышев, Наливайко...

Нелепой показалась ему мысль, что не будет о них известно, что не узнает никто об этих непостижимых

людях. Ведь каждый день жизнь их — это целый «пылающий остров».

— Напишут... ей-богу, напишут! — громко воскликнул Володька, вскакивая на ноги. — А вырасту большой — сам напишу.

И от этого внезапного решения стало ему настолько радостно, что захотелось прыгать, плясать и кувыряться. Забыв, что он в дозоре, Володька, приложив ладони ко рту, заливисто и протяжно заорал:

— Да здравствует... батяко!

Сверху цыкнули, и кто-то мощным басом крепко выругался. Володька сразу присел, и ему стало бесконечно стыдно. Вспомнил, что ему стукнуло уже тринадцать, посерьезнел.

«Надо себе тоже потяжелей пашку выменять, — решил он, — чтоб была похожа на кубинский палаш — мачете, а то не пашка, а хворостина».

Он вынул из ножен клинок, рассмотрел. Рукоятка была сделана из черной кости горного тура, на клинке были вырезаны непонятные арабские буквы. Вышел клинок из-под ловких рук знаменитого дагестанского оружейника. Не знал этого Володька, и хотелось ему оружия, равного сказочному мачете восставших кубинских рабов.

Непрерывно верещали кузнечики, и казалось, плотный влажный ковер зелени сплошь был выткан из этих стрекочущих звуков.

Вдруг кто-то опустил руку на его стриженую черную голову. Володька вздрогнул, быстро обернулся.

— Настя! — обрадовался он.

— Испугался? — пошутила Настя.

— Чуть-чуть, Настя, вот на столько, — согласился Володька, отделяя на мизинце не больше сантиметра. Настя присела.

— Иду на фронт, до Вани, — сообщила она, — не-су поесть ему, что бог послал. Кто с тобой? Наливайки нету, случаем?

— А зачем тебе Наливайко, Настя?

— Да боюсь я его, Володя, — просто сказала женщина. — Все надо мной насмехается: что я ему, чи поперек дороги стала?

— Удержишь на заставе Наливайку! Тут Гробовой.

— Свирид?

— Ну да.

— Подходящий казак, — сказала Настя, подтягивая концы платка и разглядывая себя в зеркальце. — Вареники будешь, Володя?

— Нет, мы уже поснедали, полудновать рановато, — отказался Володька и стал обуваться, ловко обернув ногу портянкой.

— Натуральный мужчина, — похвалила Настя. — Вот мой с чулков не вылазит. Спарился. К портянке не приучен.

— По тревоге — чулок удобней, Настя, потому, стало быть, батько портянку отверг... А вон и подходящий казак, — подмигнул Володька и покраснел.

От глиница, гремя ведром и пашкой, сполз человек, опутанный пулеметными лентами. Голенища у него были подвернуты почти наполовину, вероятно, чтобы показать красную сафьяновую подклейку.

— А, Настасья батьковна, в гости пожаловали? — издали приветствовал Гробовой. — Садитесь, ложитесь. Володька, ставь самовар, бежи за конфетами.

— Все шуткуешь, Свирид? — улыбнулась Настя.

— А что нам, холостым, неженатым! — ответил Гробовой.

— Гашка-то где твоя?

— На кадетской земле Гашка моя осталась, в Джегуте. Сердце горит, душа болит. Скоро в воду сгнать придется. Послал ей о себе известие, зову, — может, и проскочит до нашего красного лагеря... Ну, пойду коней поить. Дичинкой бы тебя угостили, да, ты сама знаешь, два дня у Медянки бой шел, всех утей разогнали, одни лягуны остались.

Гробовой ушел, лихо выворачивая пятки.

— Хороший мужик, — глядя вслед ему, сказала будто про себя Настя, — языком мелет много, а, передавали бабы с баженского обоза, дуже по жинке да по сынку скучает Свирид. Боятся, кадеты израсходуют. Ну, пока, Володька. Дай поцелую!

— Иди, иди, не маленький! — сердито нахмурился Володька, глядя исподлобья и подтягивая повыше пряжку портупей.

Кочубей вглядывался вначале невооруженным глазом, потом — в бинокль.

— Ой, Вася, — раздумчиво произнес он, — шось не по моему сердцу вон та дубрава.

Комиссар долго шарил биноклем, но ничего не видел.

— Маскировка, Ваня.

— Вот где эта маскировка у меня сидит, — сказал Кочубей, указывая себе на затылок. — Подходит к дубраве балка, и видел я: кто-сь выскочил из той балки верхи. Надо сделать разведку, а то беда хлопцам моим будет.

Кочубей освободился от своего оружия, снял черкеску, остался в бешмете, ладно обтягивающем его упругое тело. Засунул маузер за пояс и, немного подумав, заложил за пояс и полы бешмета.

Они были скрыты от противника небольшим взгорьем. Впереди желтоватое, выбитое конницей поле. По взгорью и влево по полю — примитивные окопы и пулеметные ямки кочубеевцев. Западней еле-еле виднелись кресты георгиевской церкви.

Кочубей, передавая оружие Ахмету, приговаривал, стараясь найти в голосе наиболее ехидные и язвительные оттенки:

— Деникин за мою голову два чувала¹ грошей сулит. Во, зараз я им выкину кренделя. Хай половят Кочубея! Айса, подай второго заводного, Урагана, — Зайчик не такой страшный.

Ураган — табунный жеребец, пугливый и нервный. Глаза жеребца были налиты кровью, он рыл землю копытами, приседал на зад и, изловчившись, мгновенно поднимался «свечкой». Черкесы, сдерживая его, повисли с двух сторон на поводьях. Кочубей подошел, перекинул повод и моментально прыгнул на жеребца.

— Расступись!

Комбриг вынесся из-за взгорья, вскочил на седло и, стоя, помчался к подозрительной дубраве. За Кочубеем поднялась вихревая полоса пыли. Кандыбин схватил бинокль. Везде из окопов поднялись люди, жестикулируя и наперебой выкрикивая слова восторга. Полоса бурой пыли сделала поворот. Теперь ясно был виден комбриг, скачущий у самой дубравы. Выстрелы. Кочубей упал. Ловить одинокую лошадь пустилось не меньше полусотни казаков, вырвавшихся из дубравы. Расчет Кочубея оправдался. В леске накапливалась конница! Но какой дорогой ценой добыты эти сведения! Лишенный всадника, мчался Ураган,

¹ Чувал — мешок.

за ним казаки. Комиссар выхватил клинок и подал команду атаки. На его руке внезапно повис Ахмет.

— Нелзя, комиссар, нелзя, нелзя ломать обедня. Смотри в оба глаза! О!

Ахмет орал и плясал, Айса подкидывал вверх шапку. Комиссар понял причину веселья адыгейцев. Кочубей был жив, он пронесся мимо, соскользнул с седла, свистя, хохоча и ныряя головой в волнистой гриве... Направил Урагана в гущу погони, сто́я врезался в преследователей, гоня их обратно, паля из маузера. По полю заметались осиротевшие кони.

Только беспокойные поколения всадников могли дать такого потомка. Недаром в бригаду Кочубея приходили отважные джигиты из горной Осетии, Черкесии и Кабарды. Шли потомки знаменитых абреков, клали к ногам красного командира Кочубея обнаженные шашки — знак преданности — и клялись быть верными бойцами революции.

* * *

Выбивать белых из леска подался Наливайко.

Кочубей умывался, фыркая в ладони, словно кот. Ему из фляжки сливал теплую воду Ахмет.

— Полей за шиворот, — попросил комбриг.

Адыгеец охотно опорожнил фляжку за шиворот комбрига.

— Вот зараз поснедаем! Как думаешь, комиссар? — сказал комбриг, утирая лицо и шею чистым носовым платочком, который накануне ему подарила Настя.

Умывшись, Кочубей сел за галушки.

— Вот забота! — толкая в бок Кандыбина, похвалился Кочубей, делая это незаметно от Насти, сидевшей поодаль. — Гляди, яких вареников нагарбузовала. Только малы. Для фронта надо вареник с конскую голову, шоб сразу сыт с одного заглота. Настя! — позвал он. — Подойди!

Настя приблизилась, сияющая и веселая.

— Вы чего звали, Антонович? — скромно спросила она. По обычаю всех казачек, она называла мужа при людях на «вы» и по отчеству.

— Сидай, а то убьют, — пригласил Кочубей. — Где была, шо видела?

— Видела Володьку.

— Где? — оживился комбриг. — У Медянки?

— У Медянки, — подтвердила Настя. — Книжечку читает.

— Ишь грамотюка! — с гордостью воскликнул комбриг. — Сызмальства в книжках да в науке корень ищет, не то шо мы, чабаны. Счастье ему. С молодого возрасту в такое доброе время попал. Кончим кадета, сядет Ваня Кочубей за грамоту. Як ты думаешь, Васька?

— Не сядешь, Ваня, — усомнился Кандыбин, — что-то тебя на науку не тянет.

Сомнения комиссара имели под собой некоторую почву. Согласившись учиться грамоте, Кочубей очень уж старательно избегал занятий с комиссаром, стыдясь этой запоздалой страсти, хотя букварь бережно хранил в сумках вместе с запасными подковами, тренчиками и пачками маузерных патронов.

Кочубей, испугавшись, что комиссар разоткровенничается при жене о занятиях, быстро повернул разговор в другую сторону.

— На войне грамота не нужна. Зараз расскажу, як здóрово я грамотного полковника подвалил. Ахмет не даст сбрехать. Ахмет! — позвал он.

Когда Ахмет подошел, комбриг продолжал рассказ:

— То дело было ще до твоего прихода, комиссар. Вот так было, як сегодня с жеребцом, так тогда с полковником. Выкинул я белую портянку из окна заместо флага и сам вылез. Кадеты высунулись. Погукал я, як мог, во всю глотку: «Кто хочет один на один против Вани Кочубея?» Молчат. Спрятались. Я снова гукаю: «Нету, знать, храброго середь исусова войска?» Застеснялись. Вылез самый их главный полковник, красивый, высокий, — может, сам великий князь, — кричит, як резаный, тоже мне не уважит: «Держись за землю, рыжий хвостун, когда будешь падать». А мне — як вареником по губам: «Вот это на дело схоже». Порешили мы стреляться на маузерах. Он меня пулею в самый вершок шапки: в голову, мабуть, целил. А я его в грудь, просек, видать, насквозь. Упал, як чувал с половой. Дернули его в окоц, только подошвы сверкнули. А мабуть, грамотюка был, не хуже моего Володьки! — заключил комбриг и начал одеваться. — И выходит, комиссар, пока суть да дело, як-нибудь без грамоты, — подмигнул комбриг, — а

на всякий дурной случай для письменных делов есть у меня Володька, Левшаков... Так, што ль, Левшаков?

— В натуре так, товарищ комбриг, — бодро согласился адъютант.

— Шо ты там кончил? Якую заведению? — игриво спросил Кочубей, подмаргивая комиссару.

— Церковноприходской пиверситет, товарищ командир бригады.

— Видишь, який у меня штат, — гордо приосанился комбриг. — А Рой все удивляется, почему да отчего я генералов луплю.

* * *

Горбачев, возвращаясь с фронта, завернул в караул поболтать с другом своим, Свиридом Гробовым. Там он увидел Володьку, наводящего песочком и суконкой игру на клинок. Взял в руки Горбачев Володькину шашку, и запело в нем сердце менялы.

— Давай не глядя, навкидок, — предложил он.

— Не глядя не выйдет, а погляжу — может, с додачей покумеемся, — согласился Володька, поставив вопрос, как ему думалось, на довольно солидную почву.

Сабля Горбачева отвечала всем требованиям кубинского инсургента: была длинна, широка, а главное — неимоверной тяжести.

Обмен состоялся, и Горбачев, довольный проведенной сделкой, торопливо убыл, не сообщив даже как следует фронтовые новости.

XIII

В полдень следующего дня конский топот резко оборвался у главного подъезда отеля «Бристоль» в городе Пятигорске. С коней прыгнули всадники. Восхищенный шепот пополз по бульвару. Сгрудилась любопытная толпа. Как же — с Курсавки, с фронта прибыл известный Кочубей.

— Вот это и есть он?! Тю, какой маленький!

— Маленький, да колючий. Не человек, а шило.

В «Бристол» заседал ЦИК Северокавказской республики.

Кочубей, бросив поводья коноводу, вприпрыжку пошел к подъезду. За ним шли Кандыбин и Ахмет.

В дверях столкнулся с председателем ЦИКа Рубиным.

— Это ты главный будешь? — спросил Кочубей.

— Да, я, — ответил Рубин, поглаживая бритую остроконечную голову.

Кочубей небрежно сунул ему руку и, взяв за локоть, отвел в сторону.

— А я — Ваня Кочубей. У меня до тебя есть дело. Мы с комиссаром надумали сгларбузовать пенний полк моего имени, во!..

— Ну и организуйте, а я при чем? — удивился Рубин, пытливым взором изучая Кочубея, известного ему до этого только понаслышке.

Кочубей подбоченился, язвительно скривил губы.

— Во! Правильно! Кабы я смог без твоей помощи это сделать, то на кой черт я бы сюда ехал?

Рубин, недоуменно пожав плечами, улыбнулся.

— Вы, может, ясней выскажетесь? Чем я вам могу быть полезен? — спросил он.

Кочубей, установив неподдельную искренность Рубина, снова взял его за локоть и, нагибаясь, вкрадчиво шепнул:

— Слышал я, шо ты буржуев намобилизовал окопы рыть?

— Да... Но какое это войско?

— Это моя забота, а не твоя, — произнес Кочубей, великодушно похлопывая Рубина по плечу. — Ты мне отпусти пятьсот або шестьсот человек. Только шоб были обуты и одягнуты. Понял?

Получив согласие и почувствовав доверие к этому человеку, Кочубей, подозревая Кандыбина, отвел Рубина в угол вестибюля, к широкому окну, наполовину заколоченному фанерой.

— Слухай, Рубин, да и ты, комиссар, — насупившись, сказал Кочубей. — Я одного не могу никак понять. Якой судьбой Сорокин командует армией всей? Дать ему полк, во!

Рубин насторожился.

— Вы что знаете о главкоме?

Кочубей грубо оборвал его:

— Сволочь он. Я с ним ще под Эйнемом поцарапался... за товарища Ленина.

— Как за Ленина? — живо переспросил Рубин.

— Сорокин говорил, шо Ленин не казак, шо он не умеет рубаться и верхи не может... — нервничая, рас-

сказывал Кочубей. — А я ему на такие речи: «Брешешь ты! Я да ты як рубаемся, аж кости хрустят, а нияк кадетов только на Кубани не перерубаем, а товарищ Ленин по всей Расее им юшку с носу пустил».

Рубин и Кандыбин переглянулись. Рубина поразили искренность и непосредственность Кочубея, и он, ближе подойдя к нему, взял его за руку.

Кочубей вырвал раздраженно руку.

— Сорокин зря кинул Кубань, — выкрикнул он, — зря кинул Катеринодар, зря кинул Майкоп! Прятался от кадета, як червивый кобель в холодок, то в Петропавловку, то в Дундуковку, и зараз прячется. Кто зараз на фронте видел Сорокина? А шо он, сопливый, рубака? Нет. Сорокин, может, и уважит кому, так только не Ване Кочубею...

Махнул рукой и направился к двери, не обращая внимания на Рубина, спешившего за ним; прыгнул на коня, оправил оружие.

— Сидай, комиссар, треба до фронта, — и, взвив жеребца на дыбы, потряс нагайкой. — А ты, кубанский председатель республики, помяни слово Вани Кочубея: принесет вам Сорока на хвосте лиха!

Томимый неукротимыми думками, скакал Кочубей. Отстали от него путники. Уже далеко от города, у Лермонтовского разезда, догнал комбрига Кандыбин, и долго, до самых Минеральных Вод, говорили они по душам. Затягивалось голубое небо облаками, и острый пик Кинжал-горы стачивался на глазах. Покрывался туманом, будто бараньей шапкой, скалистый Бештау. Кони в предчувствии грозы тихо ржали и пугливо шаркались от безобидных кустов шиповника и орешника, шумевших и принимавших к ночи уродливые формы.

XIV

По приказанию Рубина в Суркули в распоряжение Кочубея были отправлены мобилизованные социально чуждые элементы в количестве трехсот человек. Не совсем понимая, чего от них хотят, напуганные и жалкие, выстроились на улице Суркулей пригнанные буржуи. Переглядывались, перешептывались.

Беженцы из центральных губерний, спекулянты, фруктошники, мануфактуристы. В пальто, пиджаках, ватниках, в шляпах, котелках, фуражках. Сближала

их ненависть, пугала неуверенность. Заставлял трепетать слух о том, что они прибыли в ставку наиболее кровожадного и безрассудного большевика — Кочубея.

Вытянувшись безрадостными линиями соломенных крыш, насколько глаз хватал, лежали две улицы села Суркули от станции Курсавки вдоль линии железной дороги. Повис над степными хуторами прохладный день. Постукивали в отдалении пушки, так сходные по звуку с раскатами весеннего бодрого грома. Стояли буржуи, усталые от длинной дороги, переминались с ноги на ногу, ожидая решения своей судьбы.

Когда Рой подал отрывистую команду «Смирно!», собравшиеся замерли, повернув головы вправо.

Размахивая плетью, быстро приближался человек в белой папахе и серой черкеске, сопровождаемый живописной группой партизан. Сподвижники Кочубея — виртуозы бранных подвигов: лобовой атаки мостов, ночных переправ через бурные реки, внезапных налетов, сабельных ударов грудь с грудью. Лучшие из кубанской вольницы с алыми лентами на курпейчатых¹ шапках. Широко гуляла их слава, множилась, пленяла воображение... Дрожали буржуи.

Кочубей остановился. Начал речь тихо, с убеждающим голубиным воркованием:

— Так во, граждане неимущие горожане-пятигорчане... Надумали мы с политичным комиссаром старбузовать пеший партизанский полк имени Кочубея, то есть меня, бо Кочубей — оце я... — Он приосанился и, обведя глазами выстроенных людей, заключил свою короткую речь вопросом: — Так вот, будете ли вы, неимущие горожане, служить у меня?..

Буржуи молчали. Кочубей, насупившись, прошел вдоль фронта. Позади, с горящими глазами, цепкой походкой хищника следовал Ахмет. Проходя, Кочубей остро глядел в испуганные лица. Решив, что достаточное моральное воздействие произведено, он повторил вопрос, но ответа не получил. Положение становилось неудобным. Рушились его планы — набрать добровольцев. Сознание Кочубея не могло допустить мысли, что есть на свете люди, которые могут отказаться от чести драться под его знаменем. Бурел лицом, на щеки выскочили коричневые пятна — признак нара-

¹ Курпей — шкура молодого барашка, идущая на казачьи шапки.

стающего гневного припадка. Заметив, что толстяк в передней шеренге, одетый в драповое пальто, что-то шепнул верзиле в пенсне и судейской фуражке и тот усмехнулся, Кочубей вскипел. Подскочив к толстяку, ударил его в живот кулаком, взвизгнул:

— Будешь, сука, служить у Кочубея, га?

Испуганный толстяк подогнул колени. Кочубей заподозрил в этом подвох.

— Будешь служить Кочубею?

Толстяк заметно серел в лице и быстро мигал. Нервное подергивание производило впечатление, что буржуй хитро подмаргивал собеседнику. Тут уже был предел всякому терпению. Кочубей огляделся, кинулся к плетню, вырвал кол, замахнулся... Толстяк диким голосом заорал:

— Буду служить, ей-богу, буду!.. — и повалился на колени, пытаясь поцеловать полу кочубеевской черкески. Вокруг — будто полая вода прорвала плотину. Все наперебой захотели быть пешими бойцами великого партизана.

Кочубей радостно заулыбался, облизнул губы. Подошел к толстяку. Похлопав его по плечу, весело сказал:

— Во, дурной! Так бы и давно. Я спрашивал, а ты сразу ничего не сказал... ишь який застенчивый...

* * *

Кочубей был поглощен формированием.

— С добрыми чеботами на одну сторону. В жакетах и пальтах — вот сюда. А вы, як больно хилы, раздгайтесь и разбувайтесь, никого не стесняйтесь и передавайте обмундирование дезертирам.

Подведенные во взводных колоннах двести дезертиров голодными глазами глядели на снимаемую одежду. Быстро примеряли сапоги, пиджаки. Курилась пыль, густо висли ругань и смех. Через два часа был окончательно сформирован пехотный полк имени товарища Кочубея.

* * *

— Ахмет, коня!

Черкесы подвели всхрапывающего белоногого дончака. Кочубей в седле.

— Трoих в заводу, Ахмет! — приказал он, выбирая из-под себя черкеску и откидывая по́лы, хвастливо обнажив пунцовые шаровары с есаульским позументом.

— Комиссар, пока суть да дело, я подучу полк чуток. Ты, Володька, со мной, для... — Кочубей зашнулся, — як то комиссар выражается, прокламации? Нет? Да, вспомнил... хитрое слово, натошак трудно... для провокации. Пускай толстопузые поглядят, шо детишки им сопли утирают.

Заметив, что Володька обиделся сравнению его с детишками, комбриг полюбнял его.

— Ну, ну, не серчай. Пошутил. Я ж по тебе за трое суток соскучился.

Комбриг вел новоиспеченный полк к железной дороге. Здесь, у разъезда Суркуль, была удобная площадка для строевых занятий, а тактические он решил провести вдоль линии железной дороги, атаковав в учебных целях северо-западную окраину Курсавки. Пехотинцы подняли жуткую пыль.

— Як на похоронах, — оглядываясь назад, недовольно заметил комбриг, — волочат ноги, пылюку гребут... И як такие неудахи нами управляли? — Скомандовал: — Полк, бегом — марш!

Буржуи побежали рысцой, испуганно взирая на грозного всадника, пропускающего их мимо себя.

— Бегут и то як не люди, — бурчал требовательный военачальник.

Ехали молча. Кочубей оглядывал седло и, заметив, что козловая подушка распоролась, покачал головой. Перевел взгляд на спутника, остановил взор на Володькиной шашке и округлил глаза.

— Шо это за сабляка у тебя, Володька! Ну-ка, вытани.

Володька охотно извлек шашку. Кочубей удивленно разглядывал драгунский клинок, поворачивая его во все стороны. Клинок был покрыт крупными пятнами ржавчины. Кочубей ковырнул ржавое пятно ногтем.

— Кровь! Кровяная ржа. И як таким дышлом рубать? Шо это за фокус, Володька?

— Это мачете, — гордо заявил Володька.

— Шо?

— Мачете.

Комбриг рассмеялся.

— А я думал — шашка. Видишь, який с меня заказ. А где ж твоя шашка?

— Променял Горбачеву.

Комбриг неодобрительно хмыкнул.

— Наделил Горбач дрючок для хлопца. Этот негодяй для тебя.

— Зато тяжелый, как на Кубе, — защищался Володька.

— Шо за Куба? — поразился комбриг.

Когда Володька, захлебываясь, рассказывал о пылающем острове, комбриг молчал, стараясь вникнуть в смысл Володькиного восторженного повествования. Когда Володька кончил, Кочубей твердо сказал:

— То Куба, а тут Кубань. Нам они не указ, Володька. Шашка свист должна иметь. Без свисту шашка — як свадьба без гармониста. Поезжай зараз же и отдай Горбачу, да передай ему мой приказ, щоб с саблюки ржу свел. Нельзя же так, можно кадету сделать заражение... в крови.

Володька возвращался смущенный. На горизонте бегали буржуи, пропадали, вероятно ложась по команде, снова появлялись. Среди обучаемой пехоты бешено носился всадник. То был Кочубей.

* * *

— Что ты, Володька, — говорил Горбачев невинным голосом. — Добрая сабля. Я ей сколько подсолнухов перерубал, когда в работниках был. Беру жменьку штук десять грызового подсолнуха, да как секану под шляпки!.. Ни одного не пропуцу.

— Батько приказ отдал, — стыдясь своего зависимого положения, отговаривался Володька. — Давай уже мой обратно. Твой без свисту, а клинок без свисту — как свадьба без гармониста.

— Как без свисту! — вспылил Горбачев, до глубины души оскорбленный за свою шашку. — Слухай, подсвинок!

Он расставил ноги, немного присел, и сабля с потрясающим свистом стала рассекать воздух. Горбачев рубил ею невидимого врага, пока гимнастерка его не стала мокрой от пота. Тогда Горбачев прекратил рубку, отерся рукавом, почти вырвал у Володьки ножны и, бросив ему в ноги его кубанскую шашку, презрительно сказал:

— Теперь и даром не возьму твою хворостину, — и удалился нарочито гордой и самоуверенной походкой.

— То Куба, а здесь Кубань, — повторил тихо слова Кочубей Володька и почему-то тяжело вздохнул.

Вечером комбриг возвращался в хутор. За ним вели трех взмыленных заводных лошадей.

Пехотинцы бодро двигались за своим командиром. Кочубей небрежно сидел в седле. Позади гремела солдатская песня, исполняемая по его заказу:

Чубарики-чубчики, калина,
Чубарики-чубчики, малина,
Ма-а-ли-на, ма-а-ли-на...

Над колонной поднимался пар, как над табуном после стоверстного гона.

* * *

Новый пехотный полк расположился бивуаком. Во дворах дымили кухни, и опытные скотобойцы разделывали говяжьи туши. Чтобы не смущались новые бойцы заманчивым видом железнодорожной магистрали, вдоль полосы отчуждения разъезжали кавалеристы-конвоиры — убежать было некуда.

Утром, когда спящие люди были покрыты влажной пеленой росы и солнце осторожно продиралось багряными лучами, прозвенели певучие фанфары комбрига.

Каждый четвертый получил берданку или винтовку. Остальных вооружили рогатинами. С фронта скакали ординарцы с тревожными вестями. Кочубей немедленно решил двинуть в бой резервы. Он пропускал мимо части, бодро здороваясь со взводами. Бойцы проходили, положив на правое плечо рогатины и винтовки.

Проходя мимо, стараясь тверже ставить ногу, новые бойцы выкрикивали приветствия живописному всаднику, накрытому пурпурным кубанским башлыком...

Можно уверенно сказать — Кочубею было наплевать, что кричали проходящие люди. Ему было важно, что люди бодрились, несли на плечах «зброю» и отвечали, хотя вразнобой, на его поздравления.

— Добре, хлопцы, добре, — удовлетворенно приговаривал комбриг, горделиво поглядывая на комиссара.

В пути пехотинцы смущенно разглядывали нехитрое снаряжение, робко просили:

— Дайте хотя настоящее оружие.

— С оружием и дурак будет воевать, — подмаргивая, отвечал Кочубей. — Отнять надо. У кадета много винтовок, да и маузеры есть.

* * *

Бой шел между Привольными хуторами и Алексеевским селом. К передовой линии торопились повозки санитарного и патронного парков. На обывательских подводах, рысью, одолевая крутой подъем, спешили казинские крестьяне, вооруженные шанцевым инструментом.

Подводы сопровождал горластый всадник в гражданском платье, украсивший грудь огромным кумачовым бантом. Проносясь мимо пехоты и, очевидно, узнав Кочубея, всадник проорал вдруг несуразное и не подходящее к моменту: «Да здравствует красный комбриг!» Кочубей отвернулся и сплюнул. Он был врагом суматохи и шумихи, тем более в таком простом деле, как сражение.

Вновь сформированный полк должен был идти в бой. Кочубей перед атакой сказал новобранцам короткое напутственное слово:

— Хлопцы, пришло ваше время помочь революции. Вон там, — он указал в сторону фронта, — вы добудете себе оружия и славы.

Заметив, что на его горячий призыв кое-кто метнул неискренний взор, а некоторые воровато потупились, подбодрил их, зло сощурив глаза и играя желваками:

— Может, кто думает мне пулю в спину? Хай не думает. Позади мои любимые гуси-лебеди.

Невольно оглянулись пехотинцы. Небольшим галопом подходила расчлененная в лаву особая партизанская сотня. Впереди сотни гарцевал Николай Батышев, рядом с ним, перегнувшись, играя клинком, нагнетая руку для страшного удара, скакал Наливайко.

Может, чуял Наливайко, что на этой земле сегодня последний раз прозвонят подковы его вороного коня;

может, недобрые вести пришли от покинутого богатого двора родной станицы, но скакал опальный казак Наливайко, заморозив на красивом лице какую-то страдальческую и одновременно зловещую улыбку.

Не было буржуям дела до того, что вносила в историю битв прославленная кочубеевская сотня. Всадники, рука которых не дрогнет, горнисты, готовые протрубить сигналы отваги, сотенный значок на блестящей пике нагнали на них дрожь, и их обуял животный страх, парализующий волю и не имеющий ничего общего с тем героическим, чего от них ожидал их неумолимый, бесшабашный начальник.

Кочубей задорно пропел команду, а подошедший с Латышевым оркестр спешился и заиграл вальс «На сопках Маньчжурии».

Полк довольно четко развернули кочубеевские командиры, и пехота, вначале медленно, потом набирая все большую и большую скорость, побежала с горы, навстречу винтовочному и пулеметному огню.

Толстяк держался соседа в судейской фуражке. Но вдруг он его потерял. Полк столкнулся с противником. Судейца подмяли, и в ямке мелькнули его блестящие подошвы. Толстяк почувствовал себя одиноким. Он хотел повернуть обратно, но сбоку его чуть не пропорол рогатиной верзила-дезертир, кинувшийся на щуплого офицера, размахивавшего саперной лопаткой. Толстяк ринулся снова вперед, хотя изрытое поле было крайне неудобно для бега. Возле него кто-то свалился, широко раскинув руки. Толстяк споткнулся о труп, пригнулся к земле и охватил голову руками. Вверху свистело, жужжало. Над ним захрапел жеребец Кочубея, и по спине прогулялась нагайка. Буржуй вскочил, вскинул наперевес винтовку и ретиво побежал вперед, пытаясь даже подражать звериному крику Кочубея... Его толкали, сшибали, он падал, поднимался и стремился вперед, пока волна атаки не донесла его до широкой белогвардейской траншеи. Толстяк вспрыгнул на насыпь, и тут же перед его глазами мелькнул знакомый и когда-то такой приятный красный погон, обведенный плотным золотым басоном. Юнкер, почуяв опасность, обернулся, схватил толстяка за штанину, дернул и выхватил наган. Буржуй опрокинулся навзничь. Черное пятнышко дула заставило его в ужасе завопить, он схватил

юнкера за ноги, повалил его и вцепился зубами в потное сукно френча.

— Так его, жми его! — проревел вездесущий Кочубей, перемахнув через окоп, показав брюхо своего жеребца, и с налету врезался в упрямую кучку пластунов, работающих штыками, словно вилами...

Кончился бой. Лилась над полями медная грусть осипших оркестров. На носилках, на санитарных двухколках везли раненых. Кто тащился просто самоходом. В полевые лазареты бригады поступали обещанные начальником штаба подкрепления. Лежал толстяк на бруствере неприятельского окопа вниз головой, проткнутый штыком пластуна. На него старались не глядеть пехотинцы. Возбужденные и словно помолодевшие возвращались к исходному месту. Многие сняли котелки и шляпы, натянув бараньи лохматые шапки. Почти у всех были винтовки. Попадались заткнутые за пояса наганы.

Кочубей сиял. Эксперимент удался. Он не пытался даже скрыть своей улыбки.

— Я же казал тебе, комиссар, шо надо нам свою пехоту, — торжествовал он и, переменяя тон, добавил: — Грамотные все, науки все превзошли, а дрались, як кочеты. Нема настоящего удара: и кулаком, и зубом, и в обнимку. Прямо смех, а не война. Як подскочу я, начну выручать, рубать кадета, они и от меня прятаться. Я кричу: «Давай, давай, коршуны!» — снова дерутся. Умора!..

На галопе подскакал к полку.

— Орлята! Во як загинают, кочубеевцы кадетам салазки!

Прокричав хриплым голосом «ура», долго еще наблюдали «орлята» алую спину удаляющегося комбрига.

Рядом с Кочубеем ехал Кандыбин, выпростав из стремян онемевшие ноги. Придорожная трава алмазно блестела. Солнце слепило. Комиссар жмурился и сосредоточенно протирал от загустевшей крови шапку.

XV

Приближалась полночь. Звездный шатер накрыл землю, и небо было искристо и заманчиво. Во дворе штаба у догорающих костров сидели кочубеевцы де-

журной сотни. У коновязей пофыркивали лошади, выискивая на земле остатки сена. В тени, отбрасываемой длинным сараем, храпели люди. С величавой тишиной ночи хорошо сочеталась протяжная мелодия песни.

С тобою я привык мечтать,
С тобою, ясною звездою...

К песне внимательно прислушивались сидящие у костров. Молчали. Пели приговоренные к смерти шкуринцы в ожидании исполнения приговора. Они стояли кружком посередине двора, у водопойных корыт. Озаренные мертвым сиянием звезд и обняв плечи друг друга, ритмично покачивались:

Ведь я живу, ведь я живу,
Ведь я живу одной мечтою...

Шкуринцы — казаки линейных станиц Ирклевской и Новодонецкой, белогвардейский разъезд, захваченный близ Суркулей. Может, они остались бы жить, но случайно взятый шкуринцами в плен командир взвода Наливайко, бирючанский казак, был ими опознан, и они свели с ним старые счеты, так как были жителями смежных станиц. Шкуринцы вырезали на спине Наливайко звезды, а после зарубили. А ведь Наливайко был другом Кочубея, и сейчас изуродованное тело Наливайко лежало в амбаре.

С тобою я привык мечтать,
С тобою, ясною звездою...

Рой, выйдя во двор, прислушался и начал подпевать. Ночная прохлада добралась до его тела, и ему было вдвойне приятно после жаркой комнаты штаба. А тут еще эта песня родных линейных станиц:

Ведь я живу одной мечтою...

— Эх, и жаль таких голосистых, да ничего не попинешь... Сами виноваты.

С тобою я привык мечтать...

...Спохватившись, Рой дернул на лоб шапку, погладил всей пятерней усы, крикнул и сошел со ступенек. Шел по двору, обходя коновязи, группы бодрствующих партизан и переступая через спящих. Сделав



обход, задержался на крыльце. Бросил через плечо сопровождавшему его командиру дежурной части:

— Певунов — в балку!

Вздыхнув, толкнул дверь ногой. Кочубей взволнованно и быстро шагал по горнице.

— Убили. Даже Наливайку убили, га! — бормотал он.

На ходу приказал Ахмету:

— Отрежь от атласной штуки ему на рубаху.

Во дворе на тачанке единственное богатство Кочубея — забрезентованный тюк с материей, погребальный фонд комбрига. Все убитые бойцы его бригады хоронились на курсавском кладбище, переодетые в новые рубахи. Некогда было обмывать трупы, голосить и убиваться по покойникам, да и некому; но новая рубаха являлась символом чистоты смерти за правое дело. Этот обычай прочно укоренился в бригаде. Тюк мануфактуры на боевой тачанке был понятен, как зарядный ящик, полевая кухня или бунчужное знамя. На тюке резали арбузы, ставили на него котелки с борщом и кашей, играли гармонисты, но подходило время, разворачивался брезент, и в воздухе мелькали пестрые ткани. Никто при жизни не претендовал на сатиновую рубаху. Ходили ободранные, грязные, но тюк был неприкосновенен; горе тому, кто посягнул бы на священную собственность бригады.

Ахмет, свалив тюк с тачанки, развернул его. Выбрал на ощупь атлас и, отмерив пять махов, оторвал. Бойцы упаковывали тюк, туго увязывали его.

— Зряшно помер Наливайко, — жалели они флегматично, с присущей казакам медлительностью затягивая узлы веревок.

Один из партизан, окончив работу, перекрестился, а после, витиевато выругавшись, махнул рукой.

— Все там будем... Вот только батька жаль. Сам не свой. Говорят, парубковал вместе с Наливайкой.

Сели снова к огню. Песни уже не было. Шкуринцев повели.

— Да, горюет батько, ой как горюет! — вздохнул один.

— Пришла беда — отворяй ворота, — сказал казак в сивой шапке, разгребая яркие угли; из-под бурки у него засветлели газыри. — Говорили наши незамаевцы, отпустили ему в Курсавке плетюганов.

— Ты шо, сбесился, казак! — воскликнул бородач. — Такое скажешь... Кто посмеет такое сделать?

— Кто? Сам Кондрашев, — важно произнес казак, слюня цигарку и поглядывая исподлобья на товарищей.

Те облегченно вздохнули:

— Ну, это не страшно. Батько сына посек... Семья. Все ж шо он его?

Казак в сивой шапке, помедлив, ответил:

— Хлопцы из третьей сотни мародерничали в Киян-Кизе. Пожалились жители начальнику дивизии.

— Да батько-то при чем? — возмутились собеседники.

— На то он и батько, чтоб за непутящих детей ответ держать.

— Христос, прямо Христос: за людские грехи страдает, — заключил набожный бородатый кочубеевец.

Блекли угли. Млечный Путь вытянулся. Стожары, словно горсть драгоценных камней, сверкали особенно ярко. Кочубеевцы обсуждали новость.

— То-то вчера вся третья сотня на фронт ушла добровольно.

— Уйдешь, — усмехнулся незамаевец. — Комиссар такого стыда им нагнал, что хлопцы рады были подметки батьке целовать... После такого случая мародерство языком слизнуло, никто не жалуется.

— Христос, я говорю, Христос, — крестился бородач.

В отдалении стукнули выстрелы. Партизаны повернули головы, прислушиваясь. Выстрелы не повторялись. В пологой Козловой балке вывели в расход певунов-шкуринцев.

* * *

Кочубей, приняв от Ахмета отрез, не глядя, сунул его жене:

— Шей Наливайке рубаху.

Настя, будто не расслышав, не протянула руки. Кочубей повторил раздраженно:

— На смерть рубаху шей Наливайке.

— Не горюй, Ваня, — сказал комиссар, приближаясь и полюбившая комбрига.

— Слышал? Наливайку убили, — горестно повторил Кочубей, недоуменно разводя руками. — Нали-

вайку! Орла! Пятнадцать мостов взял Наливайко... а тут... Только позавчера, во время буржуйской атаки, як дрался...

Через полчаса Настя принесла рубаху, сшитую из кремового атласа.

Кочубей зло выхватил рубаху из рук жены и передал адъютанту.

— Одягнуть на смерть.

Завтра ляжет Наливайко на курсавском кладбище. Безрадостное, обдутое ветрами-суховеями кладбище. Не чета курсавский погост родному Наливайкину кладбищу станицы Новомалороссийской, или иначе — Бирючьей. Там толпятся акации и тополя, шумит пахучий орешник, и ходят на «гробки» парубки да девчата станичные для любви и нежности.

Начальник штаба, послунив карандаш, вычеркнет из списков бригады взводного Наливайко — еще одного лучшего бойца — и обязательно вздохнет. Больше старшины не выкликнут на поверках Наливайкино имя. Не скоро еще узнает о безвременной смерти семья. Отделены казаки от тех мест фронтом. Да и будет ли слава богатой казачьей семье от смерти сына, ушедшего с большевиками? Плынут слухи, что выставляла родная Наливайкина станица Бирючья генералу Эрдели конный полк в полном составе.

* * *

И в ту же ночь, когда нестройный винтовочный залп, сборвав жизнь шкуринцев, отсальтовал истерзанному телу Наливайко, к начальнику штаба, Рою Андрею, на условное место впервые пришла сестра милосердия Наталья. Подошвы скользили: степь, кан ранним снегом, была закидана травой «медвежье ухо». Они опустились на землю у конны, пахнувшей чабером и шалфеем. Может, косо озираясь и трусливо повизгивая, подкрадывались хуторские собаки к трупам, брошенным в балке, может, не забылся еще в беспокойном сне безутешный комбриг и над землей предутренним холодным ветром пронеслась тоска о загубленных жизнях, но в душе Роя все пело и ликовало, и хотелось ему долго, долго, без усталости высоко на руках нести эту желанную беловолосую девушку.

— Наташа...

Наталья встала, отстранила его и, кусая руку, сказала:

— Иди, выхваляйся...

Он отступил, пораженный. Грубые слова эти и самый тон их никак не соответствовали ее горячей и стыдливой ласке.

— Наташа, за что?

— У вас же так заведено, у офицеров.

Рой опустил голову. Наталья глянула искоса на него, и ей стало жаль человека, любовь к которому вызревала у нее долго, упорно, заглушаемая напускной грубостью и выпестованная никому не известными слезами. Она приблизилась и стала к нему лицом к лицу.

— Андрей, — сказала она, приподняв его голову, — обидела? Прости. Такая уж я отроду.

Он схватил руку ее и прильнул к ней губами. Каким маленьким и по-детски наивным был сейчас Рой, начальник штаба известной боевой бригады. Кошунством считал он даже в мыслях своих осквернение образа Наташи, героини и женщины одновременно. Это и приближало его к ней и отделяло.

Он целовал ее мокрое от слез лицо, и она, прижав ладонями жесткие волосы своего возлюбленного, шептала:

— Андрей... Как хорошо... Андрюша...

— Наташа, награда ты моя за все муки, за ночь моей жизни. Зорька моя... Мы всем расскажем теперь.

Наталья отрицательно качнула головой. Положила локти на плечи ему и, повернув к алеющему востоку его мужественное некрасивое лицо, просто сказала:

— Никому в бригаде.

— Кочубею?

— Даже Кочубею. Рано еще в свадьбы играть, Андрей. Пришла к тебе потому, что увидела мертвого Наливайку и сердце кровью зашло. Как в кипяток сердце мое опустили, думаю: а завтра, может, в амбар на бурках принесут тебя, тебя, Андрей, а ты и не знаешь, что ты мне любимый. Вот пришла, сама назвалась, и не стыдно...

Огненные мечи солнца точно пронзили картонное тело Бештау, зазяли на склонах светлые, будто сквозные раны, и туманом дымилась багровая кровь горы. Потом потемнели раны, словно затянуло их на глазах живительной пленкой лесов и кустарников.

Отодвинулся далеко-далеко, на горизонт, пятиглавый страж, и казалось Рою — небо разлило кругом прозрачную голубую воду, и стало все поверх этой белой степи сине, как ситец Наташиной кофты, как ее глаза. Они сели на мохнатое «медвежье ухо», траву мягкую, лопушистую, податливую. Рой расстегнул ворот френча и зажмурил глаза.

— Продолжай, продолжай, Наташа. Скоро горны протрубят вору, и развеется все, и снова заботы, война, смерти.

— По-чуднóму я люблю, Андрей, — продолжала Наталья. — Чем больше люблю, тем хочется больше сделать любимому. Завидки брали, как смотрела я на Настину любовь к Кочубею. И бьет он ее, и ругает, а она — как богородица. Увидала тебя близко там, в Невинке, в школе. Еще от Кирпилей знала, что офицером ты был. А тут ты следом за Левшаковым прилетел. В подозрение тебя взяла. Думаю, все они, офицеры, подлизы. Знает, девка вроде героя, ну и прискакал, чтобы приверженность свою показать.

— Ну почему это, почему? Откуда у тебя это?

— Разные слухи о тебе ходили в отряде. Передавали мне, что, когда вел ты отряд по картам от Екатеринодара, держал возле тебя Кочубей Ахмета. В случае чего, у Ахмета б не вырвался. Вывел ты отряд — и затихло недоверие к тебе на время. Потом слухи пошли: тот перебежал к кадетам, другой перебежал, и все офицеры, и все были вроде надежные. Начали в бригаде на тебя пальцем показывать, особенно в станицах подзуживали, куда вступали: «Это что у вас за начальник?» — «Рой». — «Офицер?» — «Офицер». Ну, и вертели вокруг тебя, Андрей, небылицы. Вижу я теперь — больше богатеи против тебя глотку рвали. Видать, ты им соли на хвост подсыпал, в большевики подписавшись.

Наталья, заметив, что милый ее сделался пасмурен, взглянула ему в глаза.

— Может, хватит, Андрей? Дела-то прошлые...

— Нет, говори, говори, Наташа, — стискивая ей плечи, попросил Рой.

Заметила Наталья его волнение и быстро и успокоительно закончила:

— Помнишь, ты подпись свою поставил под расстрелом двенадцати офицеров? Ведь нарочно тебя за-

ставили подписать, чтобы не было к ним никакого возврата.

— Они, эти двенадцать офицеров, собственно говоря, были приговорены к смерти ставичным сбором, — тихо сказал Рой. — Их опознали в числе ста десяти захваченных нами дроздовцев. Офицеры — палачи... Как все же тяжелы эти воспоминания, эх!..

Рой скрипнул зубами, поднялся. Наталья тоже встала и испуганно на него глядела. В душе она ругала себя за этот разговор, но одновременно, не высказав всего, она все равно не чувствовала бы полного спокойствия и умиротворения.

— Если бы я не был офицером и тому подобное, ты проще и скорее сошлась бы со мной? — как-то ссутулившись и глядя в сторону, спросил Рой.

Женщина подумала. Потом глянула на него и твердо ответила:

— Да.

— Тогда я еще раз проклиная свое прошлое.

Наталья поняла, что этот плечистый мужчина нуждается в большей поддержке, чем даже она сама, ибо смысл в жизни для нее был яснее и проще. Она обвила его шею руками и зашептала, прикасаясь к лицу его так, чтобы он ощущал на щеке своей трепет ее длинных ресниц:

— Но, Андрей, тогда бы я сошлась скорее и, может, быстро бы тебя разлюбила, а теперь люблю тебя навсегда, навечно... Любовь-то моя теперь пришла с муками...

Темное лицо Роя точно посветлело. Он глядел в ее синие глаза и в них находил и цветá васильков, и безмятежные тона неба и ситца.

— Наташа, сейчас заиграет горнист... Разреши мне еще раз поцеловать тебя, мою любовь, мое счастье, которое я так долго искал и наконец нашел.

Она покорно приникла к нему.

XVI

На столе перед Гриценко желтая коробка полевого телефона и массивный чернильный прибор с хитрыми приспособлениями. Гриценко был один в приемной главкома. Он писал в неудобной позе, не сгибая корпуса и подбоченившись одной рукой. Малиновый ворот бешмета тесно охватывал его шею. Было жарко,

и он вспотел. Прежде чем вписать слово, он произносил его вслух, крутил головой и важно, свысока, обмакнув перо, прикасался к бумаге. Он уже исчеркал два вексельных бланка с императорскими гербами и заканчивал письмо на третьем радужном листке:

«...Сообщить могу, папаша, что выше меня один Иван Лукич Сорокин, вы знаете его, фельдшера Петропавловской станицы. Сейчас он главком. Да, может, еще есть чуток выше меня, так это Черный Иван Егорович, из Ейского отдела Чебласской станицы, вы его не знаете, папаша. Сейчас он навсегда о правую руку главкома как начальник города Пятигорска, а я о левую руку. Есть и еще, но они нам подчиняются, потому они не фронтовики, а когда идет борьба за будущее и трудно сказать, что впереди будет, гражданская власть никакая не нужна. А чтоб вы поверили своему сыну, пуцаю письмо вам на гербовой бумаге...»

Резко зазвонил телефон стационарной сети. Гриненко встал и медленно снял трубку.

Внезапно высокомерная физиономия адъютанта изменилась, он вытянулся и опустил руки по швам.

— Черный? Не было, товарищ главнокомандующий... Кто? Рубин и Рожанский? Тоже не приходили... Скоро будете?.. Есть, товарищ главнокомандующий.

Главком прибыл обовзленный. Сойдя с машины и отмахнувшись от рапорта дежурного по штабу, он на ходу грубо бросил Гриненко:

— Быстро вызвать Рубина и Рожанского.

С Сорокиным были Черный — начальник гарнизона Пятигорска, Щербина и несколько приближенных. Ординарцы, дежурившие в первой комнате, вскочили. Главком, не обратив на них внимания, прошел в штаб. С приходом главкома штаб ожил. На улице перед домом спешил многочисленный конвой. Начали собираться музыканты и всякие приживальщики, непонятно чем занимающиеся в ставке, но щеголеватые и обвешанные ценным оружием.

Явившихся Рубина и Рожанского — председателя ЧК — Сорокин встретил бранью.

— Развели мне ЦИКи, ЧК разные, а порядку нет!

— В чем дело? — еле сдерживая раздражение, спросил Рожанский. — Опять из серии подслушанных разговоров?

— Хотя бы и так! — раздельно произнес Сорокин,

вплотную подойдя к вызванным. — Вы знаете о преступлениях и замазываете их.

— Мы отказываемся понимать вас, — передернув плечами, спокойно сказал Рубин и отошел в глубь комнаты.

Сорокин подошел к Рубину, подозревая Рожанского. Смягчив тон и остро переводя взгляд с одного на другого, развел руками.

— Вармии у меня бандит и авантюрист, а вы, имея на него материалы, молчите.

— Кто? — почти одновременно спросили они.

— Кочубей.

Рубин и Рожанский переглянулись и усмехнулись. Главком, следивший за каждым их движением, снова вспылил:

— Немедленно арестовать Кочубея и представить сюда! Он сжег Воровсколесскую, восстановив против революционной армии население. Головорезы Кочубея реквизируют фураж и лошадей, насилуют женщин. На что это похоже!

Уже в машине, объезжая цветник, чтобы попасть к ЦИКу, Рубин тихо сказал Рожанскому:

— Вот и разбери теперь, кто прав, кто виноват. Откуда Сорокин узнал о докладной Невинномысской ЧК?

— У Сорокина своя ЧК. Не доверяет нам. Ты же знаешь, он эсер чистой воды. Посмотри его штат: Рябов, Кляшторный, Костяной — эсеры. Сейчас он диктатор. Надо обуздать его, создав Реввоенсовет армии.

— А Кочубея надо призвать к порядку, пока Сорокин за него сам не взялся.

XVII

Кондрашев дослушивал сообщения кочубеевского комиссара. Он лично знал и ценил Кандыбина и сейчас, вслушиваясь в его спокойную, уверенную речь, был чрезвычайно доволен тем, что с приходом в бригаду Кандыбина почти прекратились разговоры о самочинствах кочубеевцев.

— Как у тебя, Василий Петрович, с партийным ядром? — спросил Кондрашев.

— Хвалиться нельзя, — просто ответил Кандыбин. — Хуже всего то, что все себя считают большевиками, и вот вздумай разграничить их — дело дохо-

дит до драки. Прямо-таки исподволь партийную организацию создаю, осторожно.

— Понятно. Еще небольшой вопрос. Вы не хороните убитых в братских могилах. В Курсавке половину кладбища забрали, попы жалуются. Я на днях проезжал мимо. Насчитал шестьсот свежих могил. Это ваши?

— Да! С момента прихода бригады в Суркули. Не считая пропавших без вести.

— Есть такие?

— Бывают случаи. К примеру, вчера пропал черкес Айса, друг Ахмета. Вместе с ним исчез Мусса. Мусса, вероятно, перебежал к белым, а вот Айсу Рой засчитал в пропавшие без вести.

— Меня беспокоит вопрос пополнения, — сказал Кондрашев, закуривая. — Признаться, я ставлю вопрос о проведении мобилизации иногородних и казаков. Есть сомнения насчет казачества, впрочем, я думаю, кто не захочет, тот не пойдет, но зато те, которые придут, уже наверняка будут наши. Как идет пополнение у вас?

— Казаки Шкуро, а в особенности Покровского, группами переходят в нашу бригаду, — ответил комиссар.

— Да, я сам был свидетелем вербовки пленных Кочубеем. После оказались лучшие бойцы. Причины перебежки?

— Белые дислоцируют части по экстерриториальному принципу. Передают, что это тактика Романовского. Мобилизованных в предгорье казаков посылают под Царицын, в корпус Врангеля, а также к Эрдели. Эрдели же казаков черноморских и линейных станиц Кавказского, Ейского отделов — сюда. Но здесь, у красных, их земляк Кочубей, который им более понятен, чем генерал Покровский...

— Бригада растет только за счет перебежчиков? — снова спросил начдив.

— Отчасти да. Но идут также горцы и жители Рошкин, Георгиевки и других. Ведь Кочубей-то переселился отсюда в Александро-Невскую. Есть в бригаде и иногородние.

— А они как?

— Тоже любят Кочубея, — улыбнулся комиссар. — И интересно, какими простыми способами он завоевывает любовь. Вот вчера был случай. Прибежал к Ко-

чубею фельдшер второй сотни с обидой. «Ты, — говорит, — казак, и я казак, должен меня понять». — «В чем дело?» — спросил Кочубей. — «Побили меня, кавака, мужики». Насунился Кочубей и стал выяснять. Оказывается, фельдшера поколотили красногвардейцы-кавалеристы за невнимательное отношение к их раненому другу. Кочубей, выслушав фельдшера, залепил ему в одно и в другое ухо и сказал: «Теперь хвастайся, говори всем: меня, мол, казак побил».

Кондрашев засмеялся. Услышав смех, в комнату вошли один за другим командиры частей. Зашумела беседа о боевых действиях, о героизме, трусости, победах и разгромах; о знакомых девчатах, о парубковании, о женах и детях, брошенных за огненной чертой фронта. О многом вели беседу боевые друзья... Чадили махоркой, хвалились добытыми клинками и кинжалами, превозносили своих коней, а после пели любимые песни про ясного сокола, потерявшего голубку, про Кубань:

Ой, Кубань, ты наша родина,
Вековой наш богатырь,
Многоводная, раздольная,
Разлилась ты вдаль и вширь...

Пели о вольных станицах, сейчас захлестнутых волной белогвардейского террора, о родных отцовских домах, пылающих по распоряжению генералов и атаманов. Сжег Шкуро дом Кондрашева, бросил в тюрьму родителей, сжег и у других, и поэтому вдвойне ярче горячие слова песни, принимающей новую окраску:

За твои станицы вольные
Жизнь свою ли не отдать...

Ординарец передал пакет. Кондрашев, вскрыв конверт, быстро пробежал содержание бумаги. На станцию Курсавку прибыл политком Аскурава.

Кочубея вызывали для объяснения в Пятигорск. За ним прибыл в специальном поезде политком фронта.

Кочубей явился на вызов в сопровождении одного Ахмета. Оставив адыгейца на перроне и что-то ему пошептав, быстро вошел в вагон. В тамбуре он столкнулся с Кондрашевым.

— Митя, за яки заслуги меня позвали?

Кондрашев, досадливо отмахнувшись, ничего не ответил.

Кочубей долго не выходил. Стоявший на страже у окна вагона Ахмет заметно нервничал. Вдруг, уловив какой-то условный знак начальника, поданный ему через окно, ринулся с перрона и, прыгнув на лошадь, вихрем помчался по направлению к фронту. Поезд дернулся и медленно пошел, но... по полю, к вокзалу, на ураганном аллюре мчались кочубеевцы. Окружив поезд, бросились к вагонам.

— Где батько? Исуса, креста, богородицу!

— Я тут, хлопцы! — крикнул звонко Кочубей, высываясь из окна вагона.

— Шо за лихо, батько?

— Ой, хлопцы, якісь иностранцы хотят меня утянуть.

Заревели партизаны. Вытащили из окна Кочубея. Постреляли вслед составу из карабинов и на плечах отнесли комбрига до коновязи.

— Да не пошкарябали мы тебя, батько, як тащили с первого классу? Кажись, стекло хрустнуло.

— Нет, хлопцы, не пошкарябали. Только тащили вы меня за плечи, а те за ноги, и хрустнула у меня нога, а не стекло. Надо испытать, может, ошибся я с перелугу. Давай гопака.

Два гармониста прокатили над людьми буйную мелодию гопака:

Гоп, кума, не журися,
Туда, сюда повернися,
Хоть не ела, не пила,
Зато весело жила...

Нарядный кочубеевец в коричневой черкеске, расшитой золотым галуном, выкрикивал:

Чай пила с сухарями,
Домой пришла с фонарями...

Плясал Кочубей, приговаривая:

— Не, ничего. Мабуть, стекло хрустнуло. Не, ничого!

XVIII

Объезжая фронт, военрук Старцев задержался у ковыльного кургана, облюбованного комиссаром конной бригады. С месяц не видались друзья и, крепко расцеловавшись, прилегли на комиссаровой бурке с подветренной стороны.

Старцев был беспокоен и откровенно делился своими сомнениями с Кандыбиным.

— Нет ясности сейчас, Василий, какая была у нас прежде, — говорил Старцев. — Помнишь, когда пришел в станицу гвардейский хорунжий Старцев? Помнишь, как закрутились возле такой приманки атаманцы? Золотые горы сулили, а экономщик Шиянов обещал двух кобылиц и жеребца хороших кровей. Могла бы закружиться голова? Могла, Василий. Ведь коммуны тогда и на пятак не видно было. А не закружилась потому, что была ясность в сердце. Не глядя на их подарки, пошел к Говорову и сказал прямо: «Я большевик, и возьми с меня все, что надо для партии». Он глянул и будто насквозь пронзил меня. Хоть и одноглазый Говоров, а видел на три сажени в землю. Сразу сказал: «Если наш, выступи, расскажи свою программу людям». Высказался я тогда в школе, на митинге. «Ну, теперь видим — свой», — сказал Говоров... И было все гладко, Василий, пока мы сами были в Предгории. Помнишь, как восстания умирjali, как рос наш отряд и как его боялись кадеты? Почему же сейчас Шкуро набирает двадцать полков, а тогда один мотался по аулам?

Широкое смуглое лицо Старцева было напряжено, он кусал концы своих пышных усов и, глядя куда-то далеко пустыми глазами, продолжал:

— ...Сейчас-то куда больше войска стало. Говорят, сто пятьдесят тысяч, а порядку нет. Каждый сам по себе. Кочергин пока без войска, а только с чином. Матвеев никак не прорвется с Тамани, а может, его уже съели кадеты! Да, кто ждет таманцев, а кто боится: «Черная хмара, мол, ползет от моря». Кондрашев, Кочубей неплохо дерутся, но все на месте. Слухи есть, святокрестовские партизаны здорово колотят Бичерахова да Барагунова. К ним Сорокин решил Озерова послать, большую сволочь, скажу тебе по совести, Вася. Кажется, даже эсер. Вообще не мешало бы связаться с Прикумьем. На совещании командного состава решили послать делегатов в Царицын. На броневиках прорываются делегаты к Царицыну. В Царицыне самого Ленина товарищи Красной Армией командуют. За советом подался к ним, к Сталину да Ворошилову. Все дело, Василий, в Сорокине, — решительно заявил в конце разговора Старцев. — Был когда-то Сорокин наш, а сейчас свихнулся. Пьянка, пятьдесят адъютан-

тов, девки, музыка. А республике — все меньше и меньше.

Суматошный Володька, вынырнув как из-под земли, прокричал приказ Кочубея и снова сгинул. Комбриг звал комиссара.

Встали. Кандыбин, отряхнув бурку, набросил ее на плечи.

— Кочубей не верит Сорокину, — идя к лошади, раздумчиво проговорил Кандыбин, — слышать про него не может. Но тут, возможно, старые боевые счеты.

Они заметили приближающегося к ним сильным аллюром всадника.

— Кажется, Батышев. Подождем, — предложил Кандыбин.

Батышев круто осадил коня. Поздоровался со Старцевым. Стегнул коня так, что тот взвился на дыбы.

— Сорвался из части. Бригаду стягивают к Семибратскому кургану. Слышно, Шкуро подходит с Крутогорки.

Старцев разглядывал Батышева. На Батышева не мог нарадоваться обычно скупой на похвалу Кочубей. Может, он видел в нем повторение своей доблести. Батышев, подражая Кочубею, часто хмурился. Случайно улыбнувшись, снова старался стать суровым. Он был тоже белокур, но крупней Кочубея. Храбрость Батышева была прославлена далеко по фронту.

Они тронулись в рысь, ветер доносил певучие звуки сбора. Батышев сдерживал коня. С мундштучного железа срывалась розовая пена.

Он, обернув обожженное солнцем, подвижное лицо к комиссару, зло кричал:

— Партийных групповодов не мог назначить! Выборами прошли, как и командиры.

— Неважно!

— Важно, комиссар: выбрали беспартийных. Я прикрыл такую лавочку, а хлопцы меня было в шапки...

— За что? — удивился комиссар.

— Старое зашло, — кинул Батышев и рванулся вперед.

— Давай шагом! — крикнул комиссар, догоняя. — Толком расскажи и не ори.

— Говорят так: покидали семьи свои, как кутят в прорубь. Деремся, аж спины мокрые, с коней не слезаем. Слушаем командиров. Замечаний не имеем.

Шкоды за собой не числим: барахольства или насчет жителей... Завсегда себя большевиками партийными считали, а сейчас в поле обсевки.

Батышев рассказывал, не глядя на Кандыбина. Конь качался под ним, готовый к карьере, и трепетно поводил ушами, ловя трубный зов.

— Дальше, не тяни, — торопил живо заинтересованный Старцев.

— Досталось мне, — враждебно кинул Батышев, — за чужие приказы. Отвод я дал беспартийным. Они за клинки. «Это мы-то не большевики? Может, дождетесь, пока добела вылиняем да с кадетом с одного казана кулеш начнем хлебать...» Рубахи рвали, ранами выхвальнолись... А я при чем? Я сам им сочувствую...

— Так зачем ты отвод давал? — возмутился Кандыбин. — Что ж тут страшного? Эх ты, коммунист!

Батышев схватился за эфес, лицо его исковеркала злоба. Но потом, чуть не сбив комиссара, рванулся в сторону и пропал за тернами.

— Вот тебе и кочубеевцы! Да у тебя совсем не плохи дела, Василий. А не хвалишься.

— Хвалиться нечем, — отнекивался комиссар. — Батышева жаль. Теперь мучиться будет. Злой будет в рубке. Молодой еще коммунист, пашкой в партию вписался, на лету.

На Семибратском отлогом кургане всадники разглядели группу командиров.

— Послушаешь сорокинские диспозиции, — предупредил Старцев, поднимаясь с комиссаром на холм, — длинные, «умные».

Кандыбин улыбнулся.

— Особенно Кочубею понравится. Он вместо подписи крест рисует: палец в чернила — и на бумагу прикладывает. После любуется: «Это Ваня Кочубей».

— Не скромничай, Васька, ты ж его, говорят, грамоте обучил.

— Где там обучил! — отмахнулся Кандыбин. — Стесняется он. Тогда букварь из сумы вытащит, когда никого нет. А когда возле Кочубея нет людей?!

Бригада ожидала приказа в резервной колонне. На голубой линии горизонта передвигались темные точки — боевая разведка и боевые дозоры.

Выдвинувшись вперед сотни, на карачаевском скакуне скучал Михайлов. Он похлопывал себя по голени

нищу плетью и лениво обирал колючки с полы черкески.

На холме были Кочубей, Рой, Кондрашев, Гайченец, адъютанты и поодаль Ахмет и ординарцы начдива — горцы из аулов Дудураковского и Кубины, бывшие табунщики черкесских князей Аджиева и Лова.

Кочубей, мучительно морща лоб и зевая, слушал длиннейший приказ о наступлении. Старцев, толкнув в бок Кандыбина, подморгнул и подошел к группе. Приказу предшествовала утомительная диспозиция с характеристикой всех фронтов и боевых колонн войск Северокавказской республики.

Кочубей явно был недоволен. Адъютант читал медленно, нараспев, сочно выделяя названия частей и знаменитых командиров.

Долго перечислял адъютант станицы, занятые Деикиным, которые надо было вернуть Кондрашеву, Стальной дивизии, Морозову, Федько... Когда адъютант окончил чтение, с минуту длилось молчание.

Кочубей облегченно вздохнул и подошел к Кондрашеву.

— Все? — спросил Кочубей.

— Все, — ответил адъютант.

— Бумагу зря переводят, а хлопцам на сигарки нема́, — сказал Кочубей, презрительно улыбнувшись.

Вдали голубела линия курганов. За яими, судя по диспозиции, расположились шкуринцы. Взмахнув широким рукавом черкески, Кочубей указал на курган:

— Вот крайний курган, Митя. Куда мне бить? Вправо аль влево?

— Вправо, — вглядываясь, сказал Кондрашев.

— Ну и все.

Махнул повелительно рукой. Бригадные фанфары, полоща крыльями алых полотнищ, зарокотали уставной сигнал гвардейского похода:

Трубит труба, сзывает, торопит всех бойцов на коня,

Дружнее ударим и грудью спасем от врага

Край нам родной, нам дорогой.

Чур, с плеча поразить врага, все вперед да ура.

Сразимся, погибнем, позора не имет, кто пал.

Тихим аллюром, кичась спокойствием и пренебрежением к смерти, двигались сотни. Размахнулось правое крыло бригады рыжими мастями донских скакунов, подчиняясь трубным звукам:

Радуйтесь, други, снова в бой с врагом...



Это Кочубей вытягивал клин атаки по переднему уступу. Любовался Кондрашев яркой картиной, и на его лице играла довольная улыбка. Спокойный, на лучшем коне, галопировал Кочубей.

Над простой лукой седла переливался радугой дедовский булатный клинок, выкованный прославленным Османом.

XIX

Суркули остались позади. «Мерседес» проскочил по утлому мосту речки Суркули, миновал хутора и тяжело пошел на крутой подъем к селу Султанскому. Рядом с Роем примостились Володька и боец-пулеметчик.

Машина, хрипя, пересекала восточную оконечность Ставропольского плоскогорья. В долине реки Томузловки было беспокойно, об этом сообщили Кандыбину дружинники Александровского села. Кочубеевцы переменили маршрут, думая вырваться правобережьем Кумы к Святому Кресту.

Прикумье было насыщено зноем. Чувствовалась близость ногайских степей. Горячий сухой захватывал дыхание. Растительность была обожжена, листья кукурузы жухли, сворачивались в трубки. На горизонте, подгоняемое ветром, быстро увеличивалось какое-то облако. Бурные столбы свивались, падали. Пыльные проселки дымились, и казалось, текли.

Рой плотней уселся и закутался в бурку. Володька лег в кузов и накрылся. Пулеметчик, обвязав пулемет, начал свертывать папироску. Машина мчалась навстречу циклону. Испуганные тушканчики вырывались из-под колес и моментально пропадали. Высоко над головами неподвижно парил коршун. Рой позавидовал спокойствию хищника.

«Мерседес» врезался в облако черной пыли. В ушах сильнее засвистел ветер, сразу же потерялась видимость, точно машина нырнула в водоворот.

В глаза швырнуло мелко истолченным песком.

— Астраханский дождь! — оборачиваясь, крикнул шофер.

— Мотор не заглохнет? — беспокойно спросил Рой.

— Мой мотор как верблюд! — прокричал шофер и согнулся над рулем.

Неизвестные села Правобережья проносились мимо. В одном месте вслед их машине постреляли. Кандыбин обернулся:

— Свои, наверное. Не узнали. Не будем объясняться.

Они влетели в село Архангельское. Село, казалось, горело. Вокруг разрушенных артиллерией домов дымились коричневые вихри циклона, ожесточенного встречей с неожиданным препятствием. Кое-где из песчаного дыма вырывалась черная обгорелая труба или белая саманная стенка.

— Как здесь люди живут! — удивился пулеметчик и плюнул в мутные волны Кумы, гонимые ветром против течения.

Государственный тракт на Святой Крест поражал необычайным оживлением. По тракту двигались груженные хлебом подводы, и, сколько ни мчался «мерседес» обочиной дороги, пытаясь обогнать обоз, подводам не было конца. Лошади, волю, иногда верблюды таскали десятки тысяч пудов хлеба. На мешках, повернувшись по ветру, сидели подводчики, изредка торчали штыки. По бокам двигались одиночки-всадники охраны на толстопузых крестьянских лошаденках. Вместо седел были приспособлены подушки с веревочными путлицами стремян. Вооружение было самое разнообразное. Володька узнавал и японские винтовки с закрытым стальной накладкой затвором, и винтовки Манлихера, и русские однозарядные берданки, да и просто охотничьи ружья, вплоть до шомполок. Шомполки обычно попадались у стариков, и тогда у пояса висели запыленные роговые пороховницы...

Автомобиль остановился в затишной ложине, у степного колодца, где раскинулись на привал сотни полторы повозок. Поили лошадей и быков мутной жидкой грязью. Ведро доставали связанными вдвое вожжами, оно появлялось вымазанное в глине, наполненное только наполовину. Колодец был выпит до дна.

Вот только что подъехала подвода. Лошади, почувя влагу, раздували ноздри, ржали и отфыркивались. Подводчик поднес ведро, поддерживая на колене. К воде жадно потянулись две лошадиные морды. Ткнулись в ведро и тихо заржали.

— Ишь барыни! — выругался подводчик и начал подсвистывать. Заметив подошедшего Кандыбина, как бы извиняясь за поведение своих животных, объяснил: — Горькая вода. Мои кони еще не привыкшие. С Карачая привел. Вот в калмыцком степу худоба к соленым водам привыкшая — рассол будут пить.

Снова посвистел. Кобылица нагнула сухощавую голову, долго обнюхивала ведро и потом, точно решившись, брезгливо стала цедить воду сквозь зубы.

Шофер наполнил радиатор через тряпку. Своеобразный фильтр поддерживали пулеметчик и Володька.

Кандыбин и Рой приблизились к кучке закусывавших подводчиков. Люди сидели на земле и поочередно макали куски хлеба в глиняную миску, наполненную до краев темным горчичным маслом. Обмакнув хлеб, густо солили его, выбирая соль из заскорузлых ладоней. Рядом примостился боец. Напитав этим же маслом тряпку, протирал по верху неуклюжую японскую винтовку. Его флегматично поругивали, уверяя, что пыль пристанет еще больше к маслу и что вообще оружию горчичное масло вредит. Владелец винтовки, паренек лет семнадцати, не обращая внимания на разговоры, продолжал наводить лоск на блестящую, точно коралловую, ложу.

— Откуда хлеб? — спросил Рой, ощупывая мешок.

Крестьяне оглядели черкеску Кандыбина, подозрительно остановились на красной повязке его шапки, недоверчиво кинули взор на серебро казачьих шапек, и один из них нехотя бросил:

— Издалека. Отсюда не видно.

— А все же? — переспросил Кандыбин. — Язык-то у тебя не отсохнет.

— Вы чи нездешние?

— Мы из-под Невинки, — ответил комиссар.

— Сорокинцы? — насмешливо спросил один из подводчиков.

— Кочубеевцы.

— А! — многозначительно протянул крестьянин. — Ну, этого хвалят. Говорят, нашему Степке Чугую не уступит.

— Так откуда хлеб, чей? — снова спросил Кандыбин, заметив поворот в лучшую сторону.

— Был чей, а теперь наш. Покидали скирды экономщики да кулаки, подались к Барагунову. Вот теперь и намолачиваем пшеницу. Считай, уже неделю

день и ночь идут чумаки на Лагань, а оттуда на баржах до самой Москвы.

— Три полка хлеб молотят, — добавил парень, окончивший наводить лоск на оружие. — Барагунова далеко отогнали, вот от нечего делать и занялись пыльным делом.

— Што пыльное, то пыльное, — подтвердил один из подводчиков, покачивая головой.

— И пыльное и не без выгоды, — заметил первый собеседник. — Мы туда хлеб, а оттуда ситец тюками, спички ящичками, подошву, гвозди.

— Гвозди хоть бы и не везли, кой черт будет в такую югу строиться, — хмуро сказал крестьянин в равном зипуне. — Кутерьме конца нет и краю.

— С пылу горячее завсегда вкусней, — пошутил кто-то.

— Ну, давай трогать, — распорядился, очевидно, старший. — Скоро дотянем до Святого Крестика, а там холодком на Арзгир. Пылочка к ночи уляжется.

И снова гонцы Кочубея наблюдали точно великое переселение народов — скрип мажар, одинокие крики верблюдов; то там, то здесь появлялись всадники, то ропливые и деловитые.

Степняки-прикумчане поделили заботу. Одни опоясались патронташами, отбивая край от нового половецкого набега. Другие превратились в бездомных скитальцев-чумаков. Над древними чумацкими шляхами свились пухлые жгуты бурой пыли. У заброшенных колодцев снова запылали костры...

Советская Россия готовилась к осаде.

В Москву, к великому вождю народа, летел план сохранения жизни осажденной страны, план борьбы с голодом и измором.

«Москва, Кремль, Ленин у

На немедленную заготовку и отправку в Москву десяти миллионов пудов хлеба и тысяч десяти голов скота необходимо прислать в распоряжение Чокпрода 75 миллионов деньгами, по возможности мелкими купюрами, и разных товаров миллионов на 36: вилы, топоры, гвозди, болты, гайки, стекла оконные, чайная и столовая посуда, косилки и части к ним, заклепки, железо шинное круглое, лобогрейки, катки, спички, части

конной упряжи, обувь, ситец, трико, коленкор, бязь мадаполам, нансук, грисбон, ластик, сатин, шевиот, марин сукно, дамское и гвардейское, разные кожи, заготовки, чай, ко́сы, сеялки, подошники, плуги, мешки, брезенты, галоши, краски, лаки, кузнечные, столярные инструменты, напильники, карболовая кислота, скипидар, сода. У Чокпрода всего денег миллионов 15 и товаров разных на 10 миллионов. Деньги и указанные товары должно выслать без промедления... Всем начальникам отрядов на фронте и штабу Снесарева не захватывать продовольственных грузов и мануфактуры, беспрепятственно пропускать наши маршрутные поезда, оказывать содействие нашим продовольственным комитетам. Копию Сталину. Пусть ЦИК немедленно телеграфно обяжет Кубанский, Терский, Ставропольский Советы не ломать твердых цен, не способствовать самостоятельным заготовкам и вывозу отдельными губерниями, уездами и волостями, а всемерно содействовать агентам Сталина и Чокпрода. Копию Сталину... Пусть Наркомпрод разошлет циркулярный приказ всем губпродсоюзам и Советам, особенно же Орехово-Зуеву и прочим промышленным городам, не присылать своих агентов на юг за хлебом, так как весь заготовленный хлеб будем посылать в Москву сухим путем, в Нижний — водой. Копию Сталину. Мы настаиваем на обезличении продовольственных грузов с юга, снимаем с себя функцию распределения, отдавая ее всецело волпроду, ограничиваемся заготовкой и транспортированием в два пункта: Москву и Нижний, где предлагаем Компроду создать базисные склады и распределительные конторы в общерусском масштабе. Исключены близкие к югу Баку, Туркестан и Астраханская губерния, которые беремся удовлетворить непосредственно. Постройка Кизлярской линии началась.

Нарком Сталин».

* * *

В темной комнате уполномоченного Чокпрода Кандыбин сказал:

— Мы испытываем патронный голод. Кустарные заводы армии делают ничтожное количество патронов. Сабельные атаки вырывают лучших бойцов.

— Скоро база снабжения будет перенесена в Яшкуль, тогда мы поможем больше. Сейчас я могу уделить

Кочубею сорок тысяч трехлинейных патронов и три тысячи маузерных, — сказал уполномоченный Чокпрод. — Сколько вы можете захватить с собой?

— Маузерные возьмем целиком, винтовочных — ящиков десять — пятнадцать, — подумав, ответил Кандыбин.

— Хорошо. За остальными пришлете. Сейчас вам выпишут наряд. Имейте в виду, на транспорты нападают. Чрезвычайная комиссия раскрыла в ряде сел кулацкие террористические гнезда. По степи бродят шайки.

— Что вы рекомендуете? — спросил Кандыбин.

— Железной дорогой на Георгиевск, а там гужом. Или по железной до Невинномысской, — посоветовал уполномоченный и, достав из стола бутерброд, начал жевать.

За ставнями завывал ветер. Ставни были закрыты. Чокпрод расположился на втором этаже углового кирпичного дома. Заметив, что Рой удивленно оглядывал плотно закупоренную комнату, уполномоченный рассеял его удивление:

— О климатических особенностях Прикумья меня предупредили еще при моем отъезде из Царицына. Святой Крест я называю столицей астраханских ветров. Ставни закрыты от пыли. Немного темновато.

Принесли наряд на патроны. Уполномоченный, внимательно прочитав, размашисто подписал и передал Кандыбину. Наряд был отпечатан на прозрачной конфетной бумаге и производил впечатление весьма легкомысленное.

— Можно получить? — спросил Кандыбин.

— Конечно, — подтвердил уполномоченный. — Только не забывайте наш уговор в партийном комитете. Помогите хлебом. Так, между прочим, в передышке между двумя сражениями, как это делает комдив Степан Чугуев. По заданию Сталина началась постройка Кизлярской линии. Тогда значительно облегчится транспортирование хлеба и скота. Мы получим выход к морю. Ведь сейчас единственная связь с Царицыном, Астраханью — через пустыню. Постарайтесь хоть задержать белых подольше, если не сумеете их разбить.

Уполномоченный улыбнулся, и эта улыбка точно осветила его. Стали удивительно ясными высокий облысевший лоб, широкое, скуластое лицо и небольшая темная бородка, похожая на бородку Ленина.

— По всему Прикумью говорят о строительстве дороги отсюда на Астрахань. Это имеет какое-либо отношение к Кизляру? — спросил, уходя, Рой.

— Строят самостоятельно, — подтвердил уполномоченный, — советую посмотреть. Предприятие по идее блестящее, но невыполнимое. Но разве их убедить? Зато какой энтузиазм! Вот так когда-то с верой в победу мы несли кандалы по Владимирке.

* * *

Кочубеевцы наблюдали картину строительства железнодорожной магистрали. Люди, лошади, подводы, вагонетки, пылящая «кукушка» — все копошилось под неумный свист ветра. На высокой мачте у деревянных барачных напряженно колотилось знамя стройки. Мимо везли рельсы на разведенных ходах, балласт в рундуках и камни. Кони становились, с гиком им помогали крестьяне, подпирая плечами повозки, отворачиваясь от ветра и сплевывая песчаную слюну. Клубились вихревые облака раскаленного песка, визжали и проносились дальше, бессильные сломить эту прямую коллективную волю...

В глазах комиссара горела гордость. Рой, нахмурившись, сосредоточенно покручивал ус. Володька давно облетал все и, захлебываясь, делился узанным:

— Пять тысяч работают. Рельсы, костыли, шпалы сняли из запаса по всей линии. Вы знаете, сколько раньше рельсов зря лежало у железной дороги! Теперь все сюда свезли. Через Буйволу дамбу насыпят, а там прямо клади на песок шпалы, сверху рельсы — и пошла, поехала...

Комиссар опустил руку на плечо Володьки, подставил лицо душиному ветру, и вставали перед глазами в этой коричневой мгле Прикумской полупустыни голубые кварталы многоэтажных домов, светлые корпуса заводов, гранитные берега каналов, бесконечные магистрали блестящих рельсов... Такими казались комиссару будущие пейзажи, и осуществление этой мечты было бы прекрасной наградой за эти годы борьбы и лишений.

Все доступно. Все могут сработать вот эти люди, которые сейчас, под гул орудий Бичерахова и Баранова, осуществляют мечту человечества — творить

для творцов. Был каждый из этих пяти тысяч и мечтатель, и работник, и хозяин. Вот туда, дальше по Куме, вырыт тысячами крестьян канал помещику Колонтарову. Народ окрестил канал Плаксиевкой, ибо много плача было на его берегах. А здесь?

Кандыбин взял Роя за руку.

— Пусть они ее не построят. Но ведь они все решили ее строить. Сюда прямо с митингов пошли они с кирками, заступами, лопатами и с песнями. Рой, может, это уже начало коммунизма! Вот сюда бы Кочубея. Я больше чем уверен, что Ваня сказал бы: «Добре, хлопцы, добре. Работяги! Гляди, як сгарбуэовались. Ладно у их выходит» — и сам бы, скинув черкеску, подсучив рукава бешмета, схватил бы лопату и стал бы ею работать не хуже, чем сейчас своей пашкой Османа...

— Товарищ комиссар, — живо перебил Володька, указывая рукой вдоль новой магистрали, — Москва там? Ленин там?

— Да, в ту сторону Советская Россия, — ответил комиссар.

— Вот теперь я расскажу батьке, что к Ленину дорогу ведут, а то он все на жеребце к нему собирался ехать, — важно, заложив руки за спину, сказал Володька.

XX

Госпиталь — стационар кочубеевской бригады — занимал двухэтажное здание курсавской школы. Стара́ниями комиссара госпиталь был оборудован на славу. Многие станичные богатеи недосчитались в домах своих спокойных кроватей с блестящими набалдашниками.

Наталя после отъезда Роя в Прикумье попросилась в Курсавку. В госпитале она старательно принялась за работу, в первый же день снискав всеобщую любовь. Кадровые кочубеевцы, участники Невинномысского боя, уважали ее еще за боевую заслугу; новые бойцы, позднее пришедшие в бригаду, ценили за обращение, заочно величали белянкой. В глаза ее так не звали. Одного казака за столь нежное прозвище она обругала.

Пришла Настя, сообщила — комиссара ожидают сегодня к вечеру. Утром был бой у Солдатского кургана,

и многих побили из Батышевой сотни. Настя выпросила на стирку бинтов полкуса мыла и ушла в Суркули. Она, оставшись на передовом перевязочном пункте вместо Натальи, деятельно принялась за работу.

Солнце склонялось за церковь. Ярко горели кресты и золотые шары купола. Зазвонили к вечерне. Завтра воскресенье. Мимо лазарета ковыляли старухи к церкви; полузгибая подсолнухи, проходили молодницы в ситцевых платках и с шальями в руках. Молодые бабенки были бойки, игривы. Задорно перебрасывались острым словом с мужиками, раскатисто хохотали. Наталья позавидовала их бездумному веселью, но знала — не променяла бы своей боевой жизни на их бабью долю.

К госпиталю подъехал Батышев. Он сопровождал привезенных на трех линейках тяжело раненных. Позади линейек были привязаны подседланные лошади. Наталья начала помогать сносить раненых. Батышев был серьезен, недовольно покрикивал на неосторожных санитаров. Когда была разгружена первая подвода, он взял под уздцы лошадей и отвел линейку в сторону. Развязал туго набитый мешок, лежавший в задке повозки, вынул листовку. Расправив ее на колене, начал читать. Подошла Наталья.

— Бумажки почитываешь? Аль за комиссара? — спросила она.

— Бумажку с гострой пашкой совмещаю, — ответил Батышев, приподнимая голову.

— Уживаются?

— Вполне. Ни та, ни другая есть не просют. Это две бабы у одной печки не поладят, а тут по-обоюдному...

Наталья задержалась возле Батышева, расспрашивая о жизни бригады, об утреннем бое. Батышев охотно рассказывал.

Вдруг в стороне Суркулей тревожно заработал пулемет. Батышев вздрогнул, прислушался. Пулемет замолк, потом снова затарахтел, поддержанный винтовочными выстрелами.

— Кадеты прорвались! — крикнул Батышев, кидаясь на коня. — Эй, кто легкий, давай по коням! — заорал он раненым, высунувшимся из окна, крутнулся и на карьере исчез.

Наталья торопливо отвязала белого дончака и помчалась за Батышевым. Позади топот: от госпиталя

скакали раненные, способные удержаться в седле. На Суркули напал враг, все ринулись на защиту Суркулей.

Дончак был резв. Наталья догнала Батышева, и они вместе достигли штаба, когда горнисты протрубили боевую тревогу и Пелипенко, командир дежурной части, подавал команду, еле сдерживая горячего коня.

Пулемет замолк.

— Мабуть, сняли заставу! — крикнул Пелипенко, скача бок о бок с Батышевым по Султанскому тракту.

— Вон што-сь пылит, — заметила Наталья.

В балку медленно скатился автомобиль. Кочубеевцы пришпорили коней. Автомобиль, прескочив мост, на минуту скрылся за камышом, потом появился снова, огибая чахлую рощицу.

— Комиссар! — узнал Батышев.

Всадники окружили «мерседес». Обирая с лица острые стекляшки, встал из-за руля Кандыбин. Поваленный шофер показывал только кожаную горбатую спину. Переднее стекло автомобиля было вдребезги разбито. Солдат-пулеметчик стонал, откинув голову, обвязанную голубым платком, на тючок с газетами. От пулемета приподнялись спокойный Рой и возбужденный Володька.

— Всю тысячу кончили! — похвалился Володька, поднимая и встряхивая легкие коробки пулеметных лент.

Наталья протиснулась ближе к машине. Заметив кровь на лице и рукаве Роя, вскрикнула.

— Это его, — благодарно ей улыбнувшись, сказал Рой, указывая на пулеметчика, и спрыгнул на землю. — Что ж, надо догнать. Пелипенко, лошадь мне!

Кандыбин уже был верхом на щуплой кобыленке.

— Ну, Пелипенко, давай поищем кадетов, — распорядился комиссар и, повернув на Султанское, пустил кобылицу рысью.

Солнце село, и на степь легли блеклые тона сумерек.

— Прорвались из засады, — рассказывал комиссар Батышеву и Пелипенко, не забывая внимательно осматривать дорогу. — Шофера и пулеметчика сразу повалили. Хорошо, когда работал у помещика, к машине тишком-мишком привык... дал третью, сгреб двух карачаевцев — и только Васькой звали. Начальник штаба им с пулемета начал воротники пришивать. Мы бы

сразу ушли, боялся — машина рассыплется. Камеры еще у Чернолесья шерстью набили.

Влево, над степью, столбом поднялся дым и вырвались огненные языки.

— Сено подпалили! — крикнул Кандыбин. — За мной!

Кочубеевцы поскакали к горевшим скирдам. Со стороны пожарища застучали виштовки. Батышев оторвался с десятком всадников и на карьере, загнув фланг, прорвался к скирдам. От них, маскируясь за дымом, в степь кучкой уходил конный отряд.

Кандыбину попалась неважная лошадь; горячая вначале кобылица, не дотянув до скирдов, сразу и бесповоротно сдала. Мимо пропесся Пелипенко, что-то проорав комиссару. Пелипенко, сохраняя силы своего коня, рвал губы ему мундштуками, и вот теперь, когда на ураганном аллюре надо было сшибить головы, он сделал шелковый повод. Пелипенко, немного подав корпус вперед, привстал на стремянах. Белая грива взлетала ему почти в глаза, и в ней просвистывал ветер. Он торжествующе загорланил. На провололочные заросли терновника устремился противник. Как зверя в яму, загоняли белогвардейский отряд на терны фланговые группы Батышева и Роя.

Белые шарахнулись в сторону, их обстреляли из маузеров; тогда они ринулись на предательскую темную гряду.

Пелипенко, вспомнив дружка Наливайко и его боевые приемы, завязал повод, вырвал пашку, натянул в левый кулак рукав черкески и порывисто-короткими взмахами, как лезвие бритвы, навел на сукне рукава жало клинка.

— Эх, гады... — выдохнул он и со свистом секанул воздух, потом перегнулся, напряг руку, паливая ее кровью для удара, достойного и Наливайко, когда пашка рассекала всадника почти до седла, как кочан капусты.

* * *

Возвращались, ведя сорок шесть трофейных лошадей. Новенькие английские карабины и чеканные пашки были подвешены на луки седел. Пелипенко вез на пике отнятое зеленое знамя мусульманских формирований Султан-Гирея. На острье пики взводный по-

вязал свою алую ленту, снятую с пашки. На белой гриве Пелипенкова коня даже во мраке рябили темные пятна.

* * *

Объезжая кругом скирд, Рой наткнулся на труп. Человек был, вероятно, сначала связан и после, уже связанный, зарезан, глаза были вырваны. Труп обгорел с одной стороны, и горло, перехваченное до затылочных позвонков, чернело запекшейся кровью. Пухлый жар догоравшего сена бросал на труп багровые отблески.

Кочубеевцы спешили, сняли шапки.

— Кого ж это они освежевали, — почесывая затылок, недоумевал Пелипенко, — как кабана перед рождением?

Убитый был бос, в одном бешмете, без пояса. Штаны из черного ластика были изорваны в клочья. Володька потянул веревки. Обгорелые, они распались. Володьке показалось, что убитый шевельнул рукой. Ему стало не по себе, и он незаметно отступил за потные спины сумрачно стоявших бойцов. Впервые смерть показалась мальчику в таком непривлекательном виде. Володьку стало тошнить. Будь сейчас рядом с ним нежная Кочубеева Настя, он бы безудержно зарыдал. Но тут сгрудились суровые солдаты кочубеевской гвардии, занятые своими мыслями. Володька побоялся насмешек, острых шуток. Сжав кулаки и весь напрыгаясь, пыжась, словно индюк, так, чтобы все мышцы делались железными, Володька приобрел равновесие. Вот так набираться спокойствия учил его покойный выдумщик Наливайко.

Это помогло, быть может, потому, что был применен рецепт бесстрашного командира. Володька оправился, пролез вперед и помог подвизывать пики к буркам.

Труп положили на своеобразные носилки. Их ловко понесли два черкеса.

* * *

В пути комиссар, чиркая спичкой, прочитал первое попавшееся ему армейское удостоверение из бумаг, найденных в карманах всадников, настигнутых у

терновой заросли. Комиссара интересовало, откуда мог появиться отряд в суркульской степи. Удостоверение было выдано на имя рядового Муссы Быгоко и подписано полковником Толмачевым.

Комиссар передал находку начальнику штаба и посветил ему. Спички осветили лицо Роя и длинные пыльные ресницы. Спичка догорела, и стало настолько темно, что комиссар, чтоб найти соседа, прикоснулся к Рою рукой.

— Что вы думаете?

— Мусса Быгоко — один из ординарцев Кочубея. Музыкант, пропавший без вести.

— А где же Айса? — спросил тревожно Кандыбин.

«Неужели тогда, на крыльце, Айса говорил неискренно? Можно ли верить другим?» — думал комиссар, ожидая ответа начальника штаба.

Рой молчал.

— Так где же Айса? — громко спросил он.

— Айса с нами, комиссар, — ответил Рой.

— Где?

— Впереди, на бурке. Это Айса, я его узнал.

XXI

Комиссар раздавал сотенным групповодам-политрукам газеты, привезенные из Святого Креста. Тючок с газетами был с угла пропитан кровью пулеметчика. На кровь не обращали внимания. Дело было привычное. Каждый политрук пытался урвать побольше. Кандыбин был справедлив. На сотню досталось по десять экземпляров тифлисского «Кавказского рабочего» и по три «Правды». Газеты, в особенности «Правда», зачитывались в частях, пока не становились пухлыми, как губка, разлезались от дыхания. Статьи «Правды» многие знали на память. Нередко боец, читая наизусть, только в доказательство предъявлял потертые листки.

У колодца стоял изувеченный «мерседес». У автомобиля усердно полоскался Прокламация, промывая и протирая крылья и спицы. Айса лежал в соседнем со штабом доме. Кандыбин видел группы прибывающих с фронта черкесов. По закону погребение умершего должно совершаться в одни сутки. Черкесы собирались на похороны. Подъехал эфенди — мулла в сопровождении кочубеевцев-адыгейцев.

Эфенди присел у дома, заклеенного воззваниями, объявлениями и украшенного красным флагом с траурной лентой. Кругом было много людей, но на него никто не обращал внимания. Утро только начиналось, а в сердце эфенди, как гадюка, вползала темная ночь. Он перебирал янтарные четки, освященные у гроба пророка.

«Когда джалил возьмет душу мою к пророку, четки перешлите семье моей», — сказал эфенди еще там, в ауле.

Его громко и непочтительно позвали, но он не поднялся. Тогда его грубо окликнули вторично. Эфенди вздрогнул, вскочил и суетливо двинулся к дому. В приглашении клокотали такие слова, от которых в ушах шумит, как после аравийского хинина. Ахмет перестарался, добавив в черкесскую фразу несколько русских слов, заимствованных у Пелипенко.

Из комнаты вышли почти все. Эфенди, потребовав корыто и кумган, торопливо обмыл обгорелый труп Айсы. Голый Айса чернел на лавке с вытянутыми по бедрам руками. Глаза Айсы, такие всегда веселые и быстрые, были выколоты. Можно было не закрывать ему глаз. Эфенди улыбнулся уголками губ, но, вспомнив, что усмешка может стоить ему жизни, принялся быстро шептать молитву.

Эфенди приказал подать чохун. Чохун — длинный мешок из белого атласа — ему понравился. Похороны обставлялись богато, и эфенди почуял заработок. При помощи двух черкесов, случайно исполнявших обязанности муэдзинов, эфенди втиснул в атласный мешок труп и завязал оба конца чохуна священными узлами. Больше никто не увидит лица покойника.

Внесли высокие носилки, похожие на кровать. Носилки на скорую руку смастерили плотники бригады. Айсу положили на носилки. Поверх чохуна полагалось набросить шелковые ткани, как требовал закон погребения. Эфенди осторожно напомнил об этом, так как все положенное поверх чохуна по праву должно было принадлежать ему. Вошли Батышев и Пелипенко. Пелипенко приблизился, тихо ступая на носки, и накинул на покойника шелковое знамя, вышитое золотыми буквами. Знамя, последний дар бригады, должно было пойти с Айсой в могилу.

Эфенди толкнул Ахмета.

— Сарб, который придет за душой Айсы, не любит красного цвета.

Хитрый старик настойчиво требовал убрать знамя и укрыть покойника пестрыми шелками и бурками. Ахмет схватился за кинжал.

— Молчи! — прошипел он. — Сарб—черный, значит, он любит красное. Хочешь лежать, как Айса?

Отодвинулся эфенди, начал тихо бормотать главу из корана. «Надо молчать и наблюдать», — решил он.

Две женщины положили поверх красного шелка белые и голубые цветы. Эфенди поправилась женщина со светлыми волосами. Он потушил неугодные богу мысли, и сердце его оцетинилось. Погребение не должно оскверняться женщинами. Только жена может здесь находиться, и то если она стара и не возбуждает желаний. Потом черкесы поспешно раздвинулись, и по просторной дороге прошел к телу Айсы джигит, ростом почти в два раза ниже ханоко. Он был обвешан оружием, как абрек, и висел за спинной его башлык цвета крови. Джигит принес покойнику золотую шапку невиданной чеканки. Понял эфенди: такой богатый дар доступен только великому шиши урусов.

— Хороните побыстрее, даю три часа, — приказал джигит, не обратив никакого внимания на старика в чалме хаджи. — Покровский жмет. Я, может, на кладбище прискачу.

* * *

Близко гремели орудия. Высоко приподняв на вытянутых руках носилки, шли соратники Айсы, джигиты бригады Кочубея. Носилки плыли, не шелохнувшись, над головами партизанской сотни, ведущей коней в поводу. Тихо уходил Айса в свою последнюю саклю, а удивленный эфенди устал подсчитывать бесконечные звенья, провожающие товарища, навшего от руки ханоко.

Далека грунтовая вода в здешних местах, и глубокая получилась яма. У могилы, выстроившись в шеренги, молча стали друзья покойного. Фронт шеренг был повернут к востоку. Эфенди совершил обряд жипазы, и впереди эфенди не было никого, кроме Айсы. Левее желтых бугров выброшенной из могилы земли распахнулась сочная бузина, наклонив агатовые зонты своих гроздьев.

Эфенди читал коран. Ахмет загоревшимся взором следил за тем, как на правый фланг шеренги вышел командир бригады и снял шапку.

Начался даур — последний обряд перед опусканием тела в могилу. Черкесы образовали круг. Плотнo, плечом к плечу, стояли всадники особой партизанской, на спины ниспадали башлыки, и казалось — на зеленую землю лег массивный багряный обруч.

Эфенди опустил ладони на темную книгу корана и склонил голову. На коран старший родственник покойного должен был положить деньги. Ахмет опустил на коран кожаный мешочек и произнес: «Тысяча». Священнослужитель был вознагражден за страхи и скорбления. Он еле держал коран в своих дряхлых руках, так тяжел был дар Ахмета.

«Золото, — мелькнула в голове эфенди алчная мысль. — Тысяча золотом».

Он быстро приступил к обряду. Коран с золотом обходил круг. Эфенди каждому черкесу даура давал в руки коран.

— Вручаю коран и тысячу, — говорил он.

— Возвращаю коран и тысячу, — отвечали ему.

Таких вопросов и ответов было не меньше двухсот. Таков закон даура.

Когда коран дошел до Ахмета, он отдал коран эфенди, взял мешочек и оглядел всех быстрыми угольными глазами. Ахмет должен был распределить деньги среди участников даура, а большую часть пожертвовать эфенди. Ахмет медленно развязал ремень кожаной сумки, уловив алчные взоры эфенди, высоко воздел правую руку с тяжелым мешочком. Левою поднял полу черкески и скосил немного глаза, чтобы не ошибиться. Сверху в полу Ахметовой черкески полились блестящие, точно золотые капли... маузерные патроны. Это был подарок для первой сотни от комиссара, венки на могилу Айсы, — патроны из прикумского города Святой Крест.

К Ахмету подходили, он вручал им боевые патроны в память отважного друга Айсы. Эфенди, пораженный кощунственным нарушением обряда, хотел уйти. Ахмет выразительно взглянул на него, и старик точно присох к месту. Опустили Айсу, повернули сердцем к востоку и забросали сухой курсавской землей. Эфенди громко, раздраженно выкрикивал слова хутбе,

чтобы умиротворить влого сарб, производящего расчеты с покойником.

Ахмет, прослушав хутбе, вышел вперед. На нем была дорогая шапка, положенная на чахун Айсы Кочубеем и перешедшая по праву к живому другу. Мертвые в оружии и ценностях не нуждаются.

Эфенди слушал речь Ахмета, и снова страх вполаз и уцепился за его сердце.

— Эльбрус никогда не будет черным, так и душа Айсы, — сказал Ахмет. — Учку-лан-река и Уллу-кам-река дают белую воду Кубань-реке, а после вода Кубань-реки делается желтой. Почему же мутной стала вода? Принесли Джекан-кол и Аман-кол глину от Бычесуна, великого черкесского и кабардинского пастбища. Разные реки текут в Кубань, чистые и грязные, разных людей имеет черкесский народ: имеет таких хороших, как Айса, и таких дурных, как Мусса и ханоко. Больше хороших, чем плохих. Ушел Айса один, придет сто таких, как Айса. Кто скажет — это не так? Если осел нагнется и утолит свою жажду в Кубани, разве от этого станет в реке меньше воды? Разве испугается Кубань осла и потечет обратно в крутые ущелья Учку-лан-реки и Уллу-кам-реки? Нет. Не повернет назад черкесский народ, пусть уйдут из головы ханоко такие мысли. Черкесский народ знал Магомета Дерев и знал Махмута Кушкова. Магомет Дерев продал черкесов русскому царю за большой табун лошадей, и ему поставили памятник в ауле Блечеп-сын. Махмут Кушков был абрек, он заряжал маузер против всех князей, и русских и черкесских, и ему не поставили памятника. Махмута Кушкова убил в спину князь Шагануков. Кто помнит, чтобы тем, кого убивают князья, ставили памятник? Почему погиб Махмут Кушков? Махмут Кушков погиб потому, что он был один. Почему погиб Айса? Его завлекли одного и убили. Ой, как нехорошо одному, даже пусть он будет орел. Но пусть ханоко убьет нас, а?

Ахмет обвел глазами бесконечную шеренгу черкесов, молчаливо внимавших его словам, хмурого Кочубея, комиссара, понимавшего его черкесскую речь, Пелипенко... Улыбка осветила красивое лицо Ахмета...

Железный мангал был набит горящими углями. Ахмет всунул в мангал тавро, приклепанное на длинной ручке. Тавро побелело. Ахмет быстро вынул его и приложил к столбу на могиле Айсы. Дерево задыми-

лось. Черкесы опустили головы. Шелковистыми нитями их белых папах играл утренний ветер. Сняв шапку, навывтяжку стоял Кочубей.

Тавро оставило глубокую метку. На гладко подструганном бревне железо выжгло букву «К», обвиняющую пятиконечной звездой. Айса был низшего сословия. Дед Айсы был пшитль — крепостной владетельного князя. Айса не мог иметь своего родового тавра, и на могиле красноармейца Айсы оставило дымный след клеймо Кочубея...

Левшаков примчался в Курсавку за командиром бригады. Было, очевидно, важное дело, поскольку Рой решил побеспокоить комбрига.

— Шо там такое? — спрашивал по пути Кочубей.

— Телеграмма, — отвечал Левшаков.

Кочубей получил приказание прибыть в Пятигорск по вызову особо уполномоченного ЦК РКП(б) и Реввоенсовета на Северном Кавказе Орджоникидзе. Комиссар знал: вызову предшествовала докладная парткомиссии и ЧК, опровергшая необходимость карательных мер по отношению к Кочубею.

Выслушав внимательно телеграмму, Кочубей обратился к Кандыбину:

— Вот шо, комиссар. Потому шо кличет Орджоникидзе — поеду. Слышал я, великий он друг Ленину. К нему поеду, — решительно, будто боясь передумать, сказал он.

XXII

По пути в Пятигорск — Минеральные Воды.

Еще подъезжая к Минеральным Водам на медленно идущем вспомогательном составе, Кочубей удивился обилию сваленных под откосы вагонов, цистерн, мусору, всей неприглядности запущенного железнодорожного хозяйства. Он поминутно тормозил комиссара и, указывая по сторонам, говорил зло и раздраженно:

— Не могут хозяйствовать. Як загадили все пути! Як на базу у недетяпы: бугай, коровы, ягнята и же-ребята в одной куче. Комиссар, где ж тут хозяин? Вот доберусь, приведу Владикавказскую линию в добрый порядок.

Возле станции лежали, сидели, бродили красноармейцы. Тут же шел нехитрый торг. Меняли на хлеб

и кусок сала потрепанную шинель, договаривались и обменивались сапогами, причем владелец более приличной обуви получал додачу продуктами или вещами. Бойцы, ожидавшие погрузки на фронт, в сторону Моздока, добывали патроны, бутылочные бомбы, расставаясь иногда с последней парой белья, полотенцем, куском мыла. Перрон вторых путей был занят матросами, к удивлению Кандыбина, ведущими между собой ожесточенную перепалку. Недоумение комиссара рассеял величественный солдат в стальном племе, застывший с пренебрежительной улыбкой среди гоминившей толпы этого берега. От матросов его отделяла казавая первых путей. Солдат, поглядев на Кандыбина, подмигнул ему.

— Уже с полчаса дарапаются, — довольным голосом сообщил он. — Вон те, что посильней горло дерут, перевозят катер в Балтийское море, драный-драный, от утопленника Черноморского флота огрызок, а те, что говорят по одному да покороче, уламывают их на фронт под Моздок подаваться, белую сволочь отчаливать. Это они про Бичерахова. Кто кого у них одоужит — пока еще темно, как в двенадцать часов ночи в самоварной трубе... Наблюдаю...

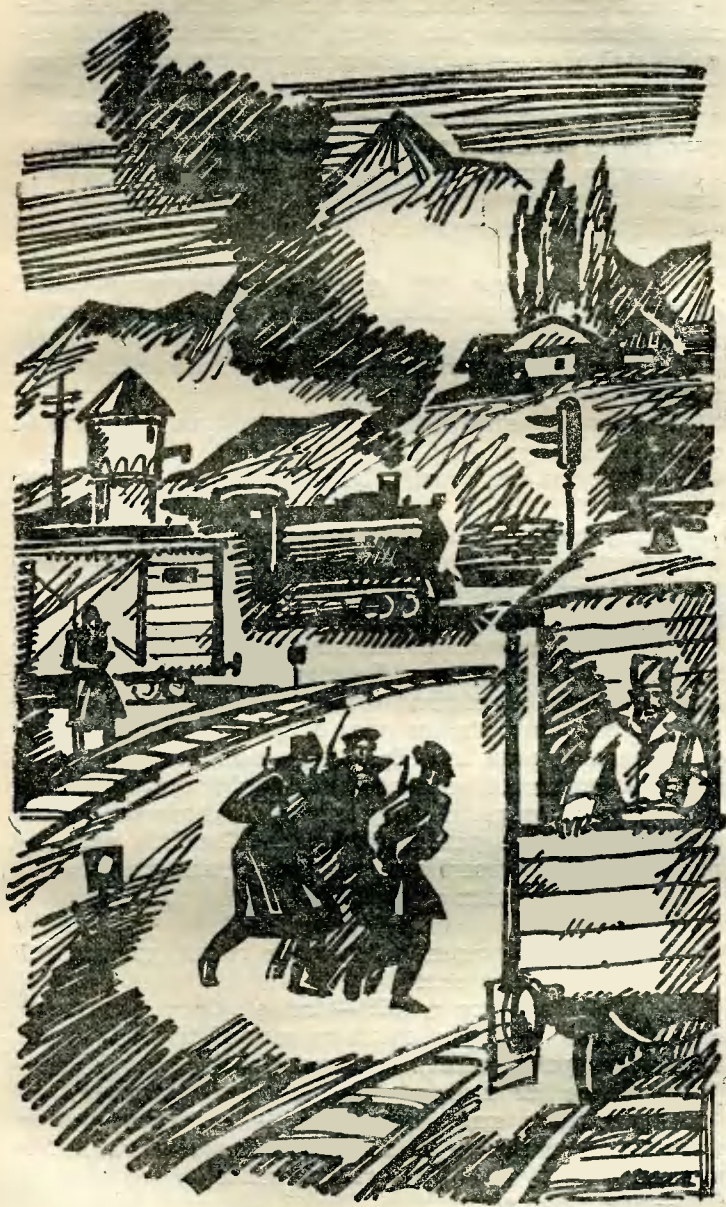
Солдат полез в карман, достал горсть подсолнухов и, не меняя позы, стоял огромный и невозмутимый, сплевывая шелуху на головы и плечи мимо него сновавших людей.

Дверь станции приоткрывалась лишь настолько, чтобы можно было в нее кое-как протиснуться. Кочубей нажал плечом и вошел в вокзал. На него посыпались ругательства:

— Людей давишь, обормот!

На грязном кафельном полу валялись плотно, кое-где один на другом, люди. Воздух был насыщен трупным запахом. У тусклых просветов заколоченных досками окон надоедливо и монотонно жужжали мухи. Чуть поодаль от входа, скорчившись, лежал человек, положив голову на левую, торчком вытянутую руку. Эта единственная поднятая вверх рука как будто требовала чего-то или молила о пощаде. Пальцы были скрючены и, сколько в них ни вглядывался притихший комбриг, оставались окостенело неподвижны.

— Гляди, комиссар, мертвяк, — тихо прошептал Кочубей. — Мабуть, тут и помер...



Уткнувшись головой в живот мертвеца, стонал казак, облизывая черные губы. Он сжимал рукой серебряный эфес шашки и силился приподняться. В глазах его были страх и тоска. Сосед — может, до этого друг — начинал разлагаться. Казак не мог отползти: ноги его выше колен были отняты, культи обернуты в конскую попону, стянутую узким кавказским ремнем.

Кочубей был поражен. Перешагивая через людей, тихо спрашивал:

— Братцы-товарищи, чи вас поят, чи вас кормят?

Его узнавали раненые, поднимали головы, жаловались:

— Нет, дорогой товарищ Кочубей! Не поят и не кормят.

Комбриг скрипел зубами. Оборачиваясь, тихо спрашивал комиссара:

— Шо же это такое? Ведь это наши же бойцы-товарищи.

Недоумевающе разводил руками и, повышая голос, возмущался:

— А завтра пробьют мою грудь четырьмя залпами и швырнут товарища Кочубея догнивать в эту кучу!

Кандыбин роздал ничтожные запасы провизии, захваченные из Курсавки. Беседовал с бойцами. Быстро записывал их адреса и просьбы. Принимал давно уже написанные письма для отправки. Ахмет пренебрежительно поил людей, вычерпывая воду из ведра грязной, сделанной из консервной банки кружкой. Кончив поить и отбросив ведро, Ахмет самодовольно покручивал черные усики, наблюдая Кочубея, разговаривающего с худощавым железнодорожником.

— Ты начальник станции?

— Я.

— Шо у тебя люди валяются в грязи, як свиньи?

— А вам какое дело?

— Шо? Якое мое дело?! — сжав кулаки, переспросил Кочубей. — Зараз прикажи выскоблить пол и побанить отварной водой... кипяченой.

— Какое вы имеете право мне приказывать?

— Ты меня еще не знаешь! — наступая, грозно крикнул Кочубей. — Я тебя заставлю языком вылизывать, и ты будешь. Ты знаешь, кто я?

— Не имею чести...

— Я — Кочубей.

Начальник станции так и дернулся. Знать, далеко за пределами бригады гуляла кочубеевская слава. Начальник станции, кланяясь, просил извинения, обещал все устроить. Но Кочубей был неумолим:

— Бери чистик, подлюка, чисть, а я погляжу.

Начальник станции скоблил забитый грязью пол, бросая тревожные взгляды. Кочубей приговаривал:

— Во! Ишь як у тебя ладно выходит!

Привлеченный шумом, к ним продрался важный человек в белом кителе. Жирное его лицо украшали пышные с проседью усы.

— Я заведующий. В чем дело?

— Ага, заведующий! — ядовито протянул Кочубей и, кивнув в сторону подошедшего, прошел: — Ахмет!

Ахмет вытянул плетью заведующего. Усы у того заколыхались, рот раскрылся, словно у вытащенного из воды сома. Он попятился назад. Ахмет, преследуя, наступил ему на ноги.

— Мерзавец! У меня... мозоли!.. — завопил заведующий, наконец обретший дар слова.

— Дави ему мозоли со всей мочи!.. — выкрикивал весело Кочубей. — Жми с буржуя совус!

Раненые приподнимались:

— Так их, товарищ Кочубей! Дави гнидов.

Одобрительный гул зала не предвещал ничего доброго. Кое-где щелкнули затворы.

Начальник станции и человек в кителе вытянулись во фронт перед Кочубеем. Лица их были мертвенно бледны, и веки дрожали.

— Я еду с политичным комиссаром, — раздельно сказал Кочубей, — меня тукнул сам Орджоникидзе. Обратно буду завтра. Шоб было чисто, бо от меня...

Он, не докончив фразы, повернул голову. Острый его нюх уловил отдаленный запах кухни. Отведя рукой оправдывающихся железнодорожников, он пошел на запах, осторожно выбирая, куда поставить мягкий кавказский сапог.

Кухня. В дверях смущенное лицо повара. На кончике носа дрожали огромные очки.

— Ты кто? — спросил Кочубей, пронизывая его уничтожающим взглядом.

— Повар.

— Шо делаешь?

— Готовлю пищу.

— Пищу? Кому?

— Медперсоналу.

— Персоналу? А шо им готовишь? Яку пищу?

— Котлеты.

— Коклеты? — протянул Кочубей. — Вот оно шо! Мои други-товарищи хлеба не имеют, а персоналу коклеты... Смирно!

У повара палками повисли руки. На животе звякнули длинные, остро отточенные ножи.

— Я — Ваня Кочубей. Бери и раздавай хлопцам по две коклеты. И корми хлопцев, пока они поднимутся. И если услышу от них хоть одну жалобу, скарежу тебя, як бог черепаху.

Вокзал начал оживать. Появился медицинский персонал, пропадавший до этого неизвестно где. Зажглись лампы. С окон стали сдирать доски, чтобы проветрить помещение. Кочубей, Кандыбин и Ахмет ожидали поезда на перроне. В железнодорожном саду ржали лошади. Коптели две походные кухни. К ним вереницами двигались красноармейцы через поваленный решетчатый забор. Кухни усиленно кипятили воду. Приходившие за кипятком звякали котелками. Незаметно подполз серый бронепоезд, обдавший волной теплого воздуха. На бортах бронепоезда было выведено полурешинными буквами название.

— «Коммунист № 1», — прочитал Кандыбин. — Это броневик Чередниченко.

Люки открылись. Стали соскакивать бойцы Чередниченко и разминаться, не отходя от вагонов.

Кочубея разыскал начальник станции, который, по минутно извиняясь, передал заключение врачей, что, пока в вокзале будет такая скученность, достаточный уход раненым обеспечить трудно. Кроме того, нет постельных принадлежностей, бинтов, продуктов.

Комбриг молчал. До слуха его долетали музыка, одновременные взрывы смеха, аплодисменты. Он прислушался, встрепнулся.

— Это шо за свадьба? Где то?

— В железнодорожном закрытом театре оперетта, товарищ Кочубей, — доложил начальник станции.

— Комиссар! Шо это за оперетта?

— Комедия с музыкой, — ответил Кандыбин, здороваясь с подошедшим Чередниченко.

Кочубей подал командиру бронепоезда руку и, нагнувшись к нему, шепнул:

— Мефодий! Построй мне человек тридцать своих голодранцев. При полной форме.

Место спектакля окружил Кочубей людьми, выделенными Чередниченко.

— Кончай комеды! — зычно крикнул Кочубей, появляясь в середине действия на сцене. — Я хочу речь сказать.

Зрители метнулись к выходу.

— Тика́ть? Нет. Брюхо на штык, як онучу! — гремел Кочубей.

Публика притихла. Подняли головы. Человек, украшенный огнестрельным и холодным оружием, подошел к рампе и начал излагать толковые и доходчивые мысли. Среди зрителей было немало рабочих-железнодорожников.

— Граждане! Яки ж вы граждане? — покачивая головой, говорил Кочубей. — Тут вы комедь играете, а там люди, трудящиеся люди, шо в борьбе с лютым врагом здоровье за вас повытрусили, валяются больные, ободранные и бесприютные...

— Правильно говорят, правильно, гниют на станции люди, — пробираясь через толпу, поддержал седой рабочий в кожаном картузе.

— А вы, милосердные сестры-женщины! Яки ж вы милосердные сестры? Где ж ваша людская совесть?

— Где ж наша людская совесть? Бабы, слушайте, ведь у тех солдатов тоже матери есть! — запричитали женщины.

Кочубей горестно ударил себя в грудь:

— Бьемся за то, шоб было светло, а там — як головой в копанку¹. Бьемся, шоб было всем свободно, а там — человек на человека. Вызовет вас товарищ Ленин, як вот меня Орджоникидзе, и спросит вас: а шо ж вы делали, милые люди, когда у ваших хат люди будущее штыком да шашкой доставали? Як вы будете держать ответ дорогому товарищу Ленину? Допустит вас товарищ Ленин в светлую жизнь, а может, срубает вам острой шашкой головы... Эх вы поло́ва, а не люди!

— Собаки мы, товарищ Кочубей! — закричали из толпы. — Спасибо, ума вправил, по хатам выходим красных солдатов.

Заклучил он нарочито грубо, словно боясь, что

¹ Копанка — колодез.

человечность и теплота его слов могут быть ложно истолкованы как слабость:

— Я еду с политичным своим комиссаром, Кандыбою, по вызову самого Орджоникидзе и буду завтра обратно. Все вымыть, вычистить. Обеспечить хлопцев подушками, перинами, одеялами. Не будет в порядке, плохо вам будет. Это вам каже не який там пустомеля, а сам Ваня Кочубей.

XXIII

Пятигорск. Гостиница «Бристоль». Внутри, у лестницы, дежурил брат председателя крайкома РКП(б) Абрам Крайний. В обязанности его как дежурного входило отбирать оружие у входящих. Такой порядок был установлен для всех. Кочубей, по обыкновению, стремительно вбежал по лестнице.

— Товарищ, оружие снимите, — вдогонку потребовал Крайний.

Кочубей мгновенно обернулся. Шагнул назад. Весь напрягся. Озираясь, готовясь ко всяким неожиданностям, искал разумный в его положении выход. Случай на Курсавке остался надолго в памяти комбрига. Тогда близко была бригада, а сейчас «як бирюка в капкан» — пронеслось в голове Кочубея. Пока единственным, посягающим на оружие — ценностью, равную жизни, — был только этот худенький рыжеватый мальчик.

— А ты мне его вешал? — прошипел Кочубей, схватив дежурного за грудь.

Подскочил Ахмет, способный на все. Кандыбин растерялся. Наступил один из гневных припадков комбрига, когда неосторожные расплачивались жизнью. Комиссар, прыгнув, стиснул плечи адыгейца, тот с проклятиями пытался вырваться, и кто его знает, какая драма разыгралась бы на лестнице гостиницы «Бристоль», если бы, привлеченный шумом, не выскочил Одарюк. Сразу сообразив, в чем дело, Одарюк приветливо крикнул:

— А, Кочубей! Пожалуйста, заходи.

Кочубей отступил от Крайнего.

— Пожалуйста, заходи, а сами оружие сдирают, — мрачно сказал он, глядя исподлобья на Одарюка. — Так вы боевых командиров встречаете?..

— Это порядок для всех, — понимая, в чем дело,

разъяснил Одарюк, — а для Кочубея можно, конечно, сделать исключение. Заходите как есть.

Кочубей нахмурился, слушая Одарюка, известного ему как приближенного главкома, и, недоверчиво озираясь, прошел в номер, где помещался штаб. Огляделся. На стене висела большая карта Северного Кавказа, расцвеченная флажками. На столе тоже карты, стаканы недопитого чая, окурки. Настороженный Ахмет не отходил от Кочубея. Он недружелюбно поглядывал на новых людей, и его тонкое нервное лицо подергивалось. Кочубей, подозвав Кандыбина, сел рядом с ним; положив руку на колено комиссара и насупившись, изучал обстановку. Небольшой коренастый Одарюк, щеголяя офицерской выправкой, подошел к карте. С характерной для него неизменной улыбкой обвел рукой красный шнур, обогнувший пестрые пятна.

— Ну-ка, товарищ Кочубей, сейчас посмотрим, каково ваше положение на фронте. Если что не так — поправите.

Кочубей пренебрежительно махнул рукой.

— Шо то за карта! Понамазюкано черти шо. У меня своя карта. Ахмет, вытяни нашу, боевую.

На стол с грохотом легла знаменитая карта Кочубея. Неграмотный полководец уверенно водил пальцем по известным ему линиям, любовно выведенным карандашом.

— Это Кубань, — объяснял Кочубей, медленно ведя пальцем по жирной зигзагообразной линии реки, — вот тут в гору потекла... чи шо? — улыбаясь, попутит он, так как карта на этом месте стала торчком; он расправил ее осторожно ладонью. — Во, зараз опять течет нормально.

Одарюк подавил смех. Пощипывая небольшую бородку, он с интересом наблюдал поведение комбрига. Кочубей вспотел. Снял шапку и быстро несколько раз подряд провел ладонью по коротко остриженным волосам. Удивительно точно он указывал места боев, расположения противника. Вырисовывалась подлинная картина фронта. Кочубей знал, где держат линию самые разнообразные части. Он знал районы, занятые Выселковским, Крестьянским, Дербентским, Черноморским полками. Характеризовал лабинские и донские формирования, ругал матросов ставропольского направления.

Спустя час пришел военрук, будущий комфронта Крузе, выглаженный, упитанно-выхоленный человек.

— Товарищ Крузе, — представил Одарюк. — А это Кочубей.

Буркнув что-то, Кочубей неохотно протянул руку Крузе. Обернувшись к Кандыбину, вполголоса сказал:

— Тоже товарищ... Вся лапа в перстнях, как у девки...

С приходом Крузе Кочубей замкнулся. Неохотно, односложно отвечал на вопросы. Зевая, спросил Кандыбина:

— А шо, комиссар, догадаются они нам колбасы нажарить?

В штаб позвонили. Одарюк, переговорив по телефону, обратился к Кочубею:

— С вами хочет познакомиться Орджоникидзе. Зовет к себе.

У Кочубея проснулись прежние подозрения.

— Пусть он сюда едет, Орджоникидзе-то, — нахмурившись, сказал он.

Орджоникидзе приехал. В комнату быстро вошел сухощавый человек в военной форме. Смуглое длинноносое лицо обрамляла черная шапка волос, подстриженная под горшок. Орджоникидзе был энергичен, быстр в движениях. Войдя, он твердо пожал руку Кандыбину, а руку Кочубея задержал в своей руке.

— Вот это, значит, знаменитый комбриг Кочубей? Рад быть знакомым.

Сел рядом и, хлопнув его по колену, подмигнул:

— Тут про тебя, Кочубей, таких страхов наболтали, что я и ехать к тебе боялся, а в тебе и страшного ничего нет.

— Это наш, — подмигнул Кандыбину Кочубей, — это не Сорокин.

Он охотно разговаривал с Орджоникидзе, был доволен и не скрывал своего удовлетворения.

Простой в обращении, склонный к меткой остроумной шутке, Орджоникидзе быстро завоевал симпатии Кочубея.

— Слышал я про вас и вашу правильность, товарищ Орджоникидзе. Раз при царе в тюрьму шел, значит, ни яка там подлиза, а натуральный человек.

Орджоникидзе дружески похлопал Кочубея по плечу.

— Ну, не хвали. Ты тоже с атаманами да дядьками своими богачами не здорово-то целовался.

— Да откуда ты все знаешь, товарищ Орджоникидзе, як вещун, га? — поразился Кочубей.

— Ты ж известный, потому и знаю, — отшутился Серго. — Вот расскажи, как дела у тебя.

— Это насчет фронта? Все товарищам уже рассказывал. Бьемся, бьемся, а порядку нет. Дальше Суркулей да Невинки не выбьемся. Кровь льем зря як воду. Вот старбузую еще два полка пехоты, будем тогда оперировать, кадюкам головы отрывать да под кручу... Надо до батьки Ленина пробиться, побалакать с ним. Слышал я, шо он тож моей программы придерживается...

Орджоникидзе улыбнулся. Кочубей мучительно подыскивал пужные слова. Высказывал неверие свое в некоторых командиров, удивлялся, откуда приходят поражения и почему так долго держатся кадеты, если львами дерутся его бойцы. Под конец тихо спросил:

— А скажите, товарищ Орджоникидзе, невжель вы с Лениным вот так, як со мной, балакали?

— Да, товарищ Кочубей, — просто ответил Орджоникидзе. — А что?

— Щастливый вы человек, вот шо! Завсегда, кажут, чернявые щастливые, а вот я белавый...

XXIV

Полный скупой, кочубеевской радости возвращался комбриг на фронт. Вступала в права мягкая прикубанская осень, когда пряной горечью пахнут пожелтевшие пыреи и полынь, когда сухо шелестят ковыли и по степи расходятся плавные белесоватые волны. Давно отряхнулись желтые и пунцовые тюльпаны, и вместо лазоревых цветов адониса торчали жесткие стебли.

Они ехали по обширному Баталпашинскому плато, и выстроченная подковами земля свидетельствовала о великих схватках. Ахмет, нагибаясь, обрывал терн и жевал терпкие ягоды, сплевывая черной слюной. Кое-где серели длинные скирды, пощажённые войной, и в лесогих балках бродили поредевшие отары меринов. Всадники, появлявшиеся то там, то здесь, напоминали снова о не выполненном еще до конца долге.

Кочубей всей грудью вдыхал воздух, молчал и был

грустен. Кандыбин не нарушал безмолвия. Он, иногда приподнимаясь в стременах, глядел в ту сторону, где за хребтами и долинами трех горных рек, над ущельем быстрого Урупа, раскинулась станица Отрадная — место рождения и смерти нескольких казачьих поколений Кандыбиных. Хороши земли отраденского юрта — хотя под пшеницу, хотя под выпас и сенокос! Чей плуг поблескивает лемехами, отворачивая жирную, как масло, землю извечного кандыбинского надела? Может, уже нагнал генерал Шкуро заморских толстосумов, и по щетинистой стерне зашелестели, словно игральные карты, рулетки...

Попридержав коня, Кочубей подождал отставшего комиссара. Поехал рядом. Тронул его черенком плети.

— Думки, мабуть, одни у нас, Вася, — вполголоса заметил Кочубей. — Нельзя отдавать такую землю кадету. Продадут они ее, гады. Продадут. Найдутся купцы на кубанскую землю...

Он медленно обвел рукой необъятные горизонты.

— Степу края нет, Вася. Дыпал бы, дышал, пока грудь, як пузырь, вздулася б, а вот не могу. Бродит у меня в крови какая-то зараза. Гляжу на степь и выгадываю, сколько скирдов фуража можно нагатить. Квитки вижу разные: лакричник, молочай, будняк, и зло с меня выпирает, как опара с макитры. Для сена-то квитки — бурьян. Вот глядит Рой на речку и кажет: «Голубая вода, стеклянная». Ему красиво, а я кумекаю, чи будет эту стеклянную воду мой жеребец пить. Может, она соленая, як рапа, да горькая, як полынь. Забегли мы раз в дубраву. В той дубраве тополи, зеленые, белявые, и торчат, як держакки хваток. Левшаков и то начал их красе удивляться. А глядит на тополя Ваня Кочубей да думает: надо выслать старшин да вырубить молодую дубраву на оружие. Держак есть, а на концу наварют ковали железо, вот и пики.

Кочубей искоса поглядел на спутника и, определив, что комиссар слушал внимательно и без насмешки, продолжил свои мысли:

— Вот ты рассказал мне про Чугая и его святокрестовскую дивизию, и взял меня интерес, Вася: кому же они день и ночь фуры гонят? Неужели товарищ Ленин такой... весь хлеб пережует, шо они намолотили? Послать ему надо, раз он дуже отощал, одну

фуру хлеба, колбасы чувал да вина ведра два с Прасковеей, для разбавки чаю.

Комиссар не рассчитывал, что сообщение его о героической борьбе за хлеб прикумских партизан может быть настолько наивно истолковано Кочубеем. Комбриг, ожидая ответа, хитро улыбался, точно думая: «Вот и поймал я тебя, комиссар».

Кандыбин повернулся к Кочубею и, насмешливо поглядев в серые, играющие лукавинкой глаза комбрига, спросил:

— А ты, Ваня, не такой? Помнишь, как Деревянников выкачивал Воровсколесскую для Кочубей?

Кочубей насторожился, посерьезнел:

— Шо ты запаматовал, комиссар, шо Деревянников добывал харч для всей бригады? А Ваня Кочубей, может, и съел с того харча со всем своим штатом муки два чувала да штук пять кабанов. А тебе жалко?

— У тебя бригада, а у Ленина вся Россия, а бригада твоя перед всей Россией, как вот этот донник перед всей степью, — сказал Кандыбин, указывая на одинокий куст донника, попавшийся им на пути.

— До шо там, в Расее, чи хлеб не родит?

— Родит, но недостаточно. Ленин должен накормить армию, рабочих... — убеждал Кандыбин, разъясняя такие простые и обычные понятия.

Кочубей решил так скоро не сдаваться.

— Рабочих на фронт, — категорически заявил он. — Рабочие делали для буржуев, для их мадамов, пудрю, дикалоны...

— А для тебя?

— Ничего для меня они не делали, — запальчиво ответил Кочубей. — Гляди: жеребца кто робыл? Сбрую, седло, черкеску, сапоги, пояс, шапку — сами казаки. Своя кожемяка, шерсть, куршейчатые ягнята. Шапку Осман ковал.

— А маузер? — ехидно спросил Кандыбин.

— А шо маузер? Я его еще в Урмии отнял, а второй под Катеринодаром добыл. Раскидал за его, як кучу навоза, отряд самого Богаевского.

— Жеребца куешь?

— Кую.

— Чем?

— Подковами.

— А подковы?!

— Ну, может, только подковы! — смутился Кочубей.

— Да не только подковы. Небось шаровары-то надел алого сукна, а не из домотканины, а бешмет атласный, не из холстины, а снаряды, бомбы, винтовки... Мало ты стоишь без рабочего, Ваня. Грош тебе цена на хороший базарный день.

— Ну, ты мною не торгуй, комиссар, — стараясь не поддаваться, но явно конфузливym тоном произнес Кочубей, — мной Деникин торгует. Он дает два миллиона за одну только голову, а еще остаются лодыжки на холодец, гусачок на пирожки. Я дорожбй.

Кочубей притих, пытливым своим умом додумывая сообщения комиссара. Кандыбин, пользуясь молчанием своего оппонента, рассказал, что и подкова не сразу отковывается, что надо из руды достать чугуна, потом переплавить чугун на железо, прокалить его, что у плавильных печей иногда жарче бывает, чем в самом горячем бою. Кочубей, видно исправляя допущенную ошибку, значительно подобрел к рабочим.

— Выходит, надо им помочь, товарищ политичный комиссар, — согласился он, — надо и нам начать обмолот хлеба, шо кинули экономщики, да наладить доставку хлеба на Яшкуль. Может, казаки-жители помогут, потрусят закрома, только нужна им плата. Где ж грбшей добыть, товарищ комиссар?

Задумался комбриг, а потом встрепенулся от удачно пришедшей мысли.

— Хай поможет вся бригада. Ты, Вася, проструни завтра на фронт по всем сотням. Хай дадут согласие передать на хлеб свое жалованье. Не нужно им жалованье, такие мои думки, — одягнуты они, обуты и накормлены... На шо им сто пятьдесят рублей в месяц? Хватит с них по десятке на семечки.

— Выходит, теперь только осталось доказать, что кочубеевцы не хуже чугаевцев-прикумчан, — сказал Кандыбин комбригу. — Завтра у нас загорится дело.

— Вот так Васька-комиссар! — похвалил комбриг. — И на шашках, и по подковам, и по уговорам. Ой, мабуть, от тебя девчата сохнут, Васька, га? Прямо и святой Иван Златоуст и Егор Гадюкодав.

Стали чаще попадаться конные группы. Беспрерывные бои истрепали людей и коней. Прежние щегольские башлыки были помяты, почернели и кое-где прожжены. Знать, свалился казак у костра, как убитый,

в прохладную осеннюю ночь. Лица были тоже опалены. Здоровались с баткой. Сверкали радостно зубы.

В Суркули въехали, когда солнце пошло вниз от полуденной заметки, что наметили кочубеевцы, во дворе штаба по крестообразному колодезному журавлю.

Кочубей присел на завалинке, не входя в штаб. Он привез из города гостинцев и, держа на коленях хозяйского и еще чьего-то малышей, разгрызал орехи своими крепкими зубами и ядра отдавал им.

Улыбнулся подошедшему комиссару, подвинулся. Кандыбин присел, тоже вынул из кармана подарки — два пряника в форме розовых, обсыпанных сахаром коней. Передал обрадованным детям:

— Катайтесь, ребята. Не все ж нам, надо и вам.

Кочубей заботливо вытер меньшему нос подолом его же холстинной рубашки, вascоружной от арбузного сока.

— Не будет с этого парасюка толку, ей-бо, не будет, — безнадежно сказал Кочубей.

— Может, и будет, Ваня! Что же ты его конфузишь?

— Не будет, Вася, нет. Як смолоду к сладкому привыкнет, ну и пропало все. Вот я конфет укусил пятнадцати годов, и то было зуб сломал. И толк вышел с меня. Гожусь кое на шо, а це — барчата.

«Барчата» были босы и без штанишек. Пятки у них потрескались, и рубашки были разорваны. У одного обнажился пунок, у другого — обгорелая, до цвета чугуна, костлявая спина.

— Этого барчука я знаю, — улыбаясь, указал комиссар на хозяйского сынишку, — а другого вижу впервые. Чей, хлопец, а?

Кандыбин взял его шутливо за щечку; ребенок отвернулся и принялся к груди Кочубея. Кочубей погладил его по головке.

— Кажуть хлопцы, позавчера его батьку убили.

— Какой сотни? — удивился комиссар, зная наперед всех бойцов бригады, имевших семьи в обозе.

— С какой там сотни! — отмахнулся комбриг. — Жителя сын, да еще, кажуть, сухорукий был его батько. На загоне убили. Чужой клин пахал. Черти его мордовали в такое время пары подымать. Шкуринцы уюкали. Мабуть...

Комбриг, не докончив фразы, поставил на землю ребят, встал и, встряхнувшись, направился в глубь двора.

— Шо там за свадьба? — недоумевал он, приближаясь.

Под размашистой бесплодной грушей собрался кружок. К дереву подводили строевых лошадей и через несколько минут уводили с коротко подстриженными гривами, точно у лошадок-двухлеток, и с обрезанными по самую репицу хвостами.

Кочубей растолкал увлекшихся бойцов и, пораженный, остановился у круга. Помаргивая красными веками и поторапливая, трудился казак, похожий на царку. Это был Чуйко, коновал. У ног Чуйко лежала грудa конского волоса, а через плечо болталась неизменная сумка с набором инструментов, необходимых каждому уважающему себя коновалу.

Кочубей вспылил:

— Ты шо тут мудруешь, га?

Чуйко, несколько не испугавшись, важно расправил хилые плечи.

— Должна быть отличной лошадь революционного солдата, чтоб по коням угадывал своих трудовой класс. Вот и приказал я обрезать хвосты и гривы.

Кочубей, не сводя глаз с Чуйко, крадущейся походкой начал надвигаться на него, выдавливая почти шепотом сквозь стиснутые зубы:

— Да кто тебе дал право приказывать? Кто дал тебе право с моей бригады цирку робить?

Чуйко, почуяв беду, испуганно заморгал и стал боком отступать. Ярче вышли на лицо ржавые пятна. Бесцветные глаза его, перестав мигать, стали округляться и будто остекленели. Сейчас он не напоминал царку, хлопотливую рябенькую птицу. Он походил на робкого кролика, замороженного гипнотическим взглядом удава.

— Как я есть конский лекарь... — пытался он оправдаться.

— Шо? Лекарь?! — рассвирепел Кочубей так, что Чуйко весь собрался от страха. — То-то я гляжу — в сотнях кони куцые. Муха, овод засекли худобу. Жители на смех поднимают куцую кавалерию... Хлопцы, всыпьте ему!

* * *

Вечером, когда на столе штаба шипела аппетитная колбаса, прибыл Кондрашев в сопровождении сильного конного отряда под командой пискливого Птахи.

Кондрашев был голоден, Птаха тоже поглядывал алчно на пустую сковороду.

Они, охотно приняв приглашение, сели к столу и сняли шапки. Догадливый Левшаков исчез и затеял бранчливые переговоры с хозяйкой. В горнице было накурено. Кондрашев распахнул окно.

На завалинке под окном кто-то уныло и монотонно пел:

Гора крутой,
Ишак худой,
Кибитка далеко,
Вода глубоко.

Ахмет презрительно бросил:

— Петь никак не умеет. Калмык поет, очень скверно поет.

Абуше Батырь — боец партизанской сотни — продолжал безрадостную песнь.

Игнат Кочубей, расправляясь с колбасным кругом и поминутно утирался расшитым полотенцем, флегматично ваметил:

— Не иначе — к лиху. Вот перед тем, как Наливайку убили, тоже вот так, як зараз, пел.

Суеверный Кочубей подскочил к окну, крикнул:

— Геть! Шо, тут тебе медом намазано?

Вернувшись к столу и как бы оправдывая подчиненного, сказал:

— В бою тигра. А спивать — як сто шакалов. Чи голосу нема, чи життя у них в степу тошная...

Степняк давно исчез. Ничто не нарушало теперь тишины, но дикая песня нагнала на всех необъяснимую тоску.

Молчали. Прочищали зубы, вертели из газетной бумаги козьи ножки, не торопясь, выбирая с крепких ладоней махорку широким концом закуток. Колбасу продолжал уничтожать один Кочубей.

Кондрашев кончил есть, закурил, подвинулся к Пелипенко.

Взводный привез сообщения с фронта от начальника штаба и Михайлова, поэтому за столом комбрига был случайным гостем. Пелипенко значительно потолстел за последний месяц. Он стеснялся обнажать свое тучное тело, но жара заставила расстегнуться. Сидя под образами, с наслаждением затягивался дымом папирсы и ежеминутно сплевывал в святой угол, под

лавку. На шее его по-прежнему виселся кожаный гайтан, в свое время заинтересовавший Левшакова.

— Религию не забываешь? — лукаво спросил Кондрашев, потянув гайтан. — А мне комиссар, по секрету тебе скажу, хвалился, что ты в коммунисты записался.

Пелипенко покраснел. Неловко застегнул ворот. Последний раз затаившись, поплевал на пальцы, растер в них окурки и вытер пальцы о штаны.

— Трошки не так, товарищ командир дивизии, — я большевик, а не коммунист, — поправил взводный с неким чувством превосходства. — В церкву не хожу, попов не люблю, но в бога верю. А коммунист должен крест снять обязательно, а я привык к кресту, будто к куреву.

— Вот тебе и программа! — воскликнул Кондрашев и, переменяя тему, обратился к Кочубею: — Ваня, у меня к тебе есть дело.

— Говори, раз дело. Со мной сам Орджоникидзе о делах разговаривал, а тебе и сам бог велел, — пошутил комбриг, дожидывая и вытирая пальцы прямо о скакерт, показывая этим, что он приготовился слушать.

— Вот какие дела, Ваня, — начал тихо Кондрашев, — идут слухи по армии — организует генерал Шкуро большую конную группу для прорыва фронта. Хочет окончательно отрезать армию от Царицына, закупорить нас хочет на Северном Кавказе, как в бутылке. По аулам и станицам бродят шкуринские агитаторы, князья да атаманы поднимают народ, баламутят. Как у него дела идут, у Шкуро, очень необходимо знать нам, Ваня. Штаб-то он перенес в Крутогорную станицу. Там у него вроде и центр комплектования. Что у него делается?

Кондрашев выжидательно поглядел на Кочубея, вынул платок и старательно вытер свою вспотевшую, наполовину лысую голову.

— Так чего тебе от меня нужно, Митька? — удивился Кочубей. — Крутую горку, может, взять? Давай приказ.

— Нет, — отмахнулся Кондрашев, — нужна глубокая разведка, ценные сведения... У тебя есть прытливые ребята.

— Эге, понял! — обрадовался Кочубей. — А может, все же взять станицу надо?

— Нет, это не удастся. Можно бросить бригаду в капкан. Людями рисковать нельзя, Ваня. Люди дороги нам сейчас. А вот задание подпольным ребятам пускай захватят твои разведчики.

Кочубей хлопнул в ладоши.

— Володька!

Из теплушки появился растрепанный Володька. Он укладывался спать и был в матросской тельняшке, охватывавшей его небольшое сильное тело.

— Вот шо, Володька. Собирайся к Шкуре в гости. Ты добрый грамотюка — до тыщи считать можешь. Да и очи у тебя як у обезьяны на ярмарке. Да еще почту подполью подкинете. Письма! А шоб тебе одному не было скучно, возьми с собою... — Кочубей внимательно оглядел присутствующих и, задержав взгляд на Пелипенко, добавил: — Пелипенко.

Игнат ущипнул избранного, подмигнул:

— Вот, Охрим, со взводного — в почтари. Колокольцы не забудь прицепить на оглобли.

Кочубей сердито взглянул на брата. Крупным шагом забегал по комнате. Что-то соображая, бормотал про себя:

— Роя зараз нема, он бы придумал фокус.

Потом лицо Кочубея озарила новая мысль, он осклабился, круто повернулся:

— Пелипенко будет слепцом, Володька — поводырь. Струмент достать Игнату. Давай, Митька, пошту. Да побалакай обо всем с хлопцами. А ты, Пелипенко, хоть и слепой, гляди в оба, шо там у Шкуры.

XXV

Ночью по Волчьей балке перешли условную линию фронта шестипудовый «слепец» с органчиком и поводырь. Сделав около двенадцати верст по полевым дорогам, они добрались к рассвету до Крутогорского почтового тракта.

— Як добрые кони, — отдуваясь, сказал «слепец». — Не швидко, Володька?

— Нет, товарищ Пелипенко, я быстрый.

Им встречались и всадники, и подводы, но никто не обращал на них внимания. Много шлялось тогда певучих слепцов по кубанским укатанным шляхам. На ярмарках и базарах слушали их, швыряли в же-

лезную чашку грошовую милостыню, но здесь объезжали нищих рысью, чтоб не подцепились ненароком.

Миновав аул и переходя вброд студеную протоку, взводный поскользнулся на камне, вымок.

— Тю, бес кривоногий! — ругался Пелипенко. — Как с коня сойду, так нападает на меня какая-то трясучка.

Пришлось задержаться, хотя Крутогорская была перед ними. Сделали привал. Выжали вдвоем скудное одеяние нищего. Растянули на кустах для просушки. Голый Пелипенко отмахивался жухлым листом лопуха от осенних назойливых мух.

— Дóбре, что батько письмо подпольное на гайтан приспособил, а то довели б летку, — бурчал взводный.

— Какую летку? — поллюбопытствовал Володька.

— Письмо да летка — все едино, — отвечал Пелипенко. — Ты слышал, как раньше летку возили?

И пока просыхала одежда, поведал казак Пелипенко своему малолетнему спутнику об атаманской спешной почте — летке.

Правлением выделялся специальный резерв, или по-казацки искаженно «лизерт», для переброски важных денеш от станицы к станице. Чаще всего денешки эти исходили от атамана отдела¹ и требовали срочной доставки. В «лизерт» выделялись от кварталов и сотен богатые и бедные. Обычно крепкий казак из «лизерта», получив пакет, седлал коня и мчался с важным пакетом. А бедный, безлошадный, казак запрягал быков в громоздкую мажару. Клал гонец пакет на мажару, на свитку, вверх пятью сургучными печатями, и отправлялся в путь, таща волов за налыгач. Встречные обычно интересовались: «Куда путь держишь, лизерт?» — «Не видишь, летку везу», — важно отвечал гонец, вышагивая в ногу с волами.

— А ты, Володька, куда скорее Кочубеево слово доносишь, — заключил свой рассказ Пелипенко, — потому и пуля тебя никак не угадает.

Лес обширной поймой реки прорезывался протоками. Кое-где зеленели луговины, покрытые сочной высокой травой. На крутое правобережье нависали сараи

¹ Кубанская область делилась в территориальном и военно-административном отношении на отделы.

и заборы приречных дворов. Напротив ворчливой водяной мельницы, на обрыве, отчетливо выделялись бордовыми монументальными стенами какие-то заводские постройки. От завода круто вниз вела деревянная лестница. По лестнице спускался казачий оркестр. Под солнцем золотели трубы, вспыхивая и потухая, точно сигнализация гелиографа. Трубы просигналили последний раз на свайном пешеходном мосту и скрылись в лесу. В лесу, очевидно, предполагалось гулянье.

— В хорошей станице люди живут, — сказал Володька, проводив глазами трубачей.

— Что это за станица! — презрительно скривился Пелипенко. — Речки нечутевые, так и валят с ног. Пока до станицы доберешься, как коршун летаешь с горы на гору. Нет лучше Кирпильской станицы. Весь юрт — как на ладони, а посередине речка течет спокойная, важная, как попадья. В камыше у нас всякой твари по паре: утка, лыска, нырок, чирок. В Кирпилях сазаны — как подвинки, караси — как поросята, линьки — как сосунки. А раки? Раки как черепахи — одной клешней хватит закусить полбутылки. Эх, Володька, хорошая станица Кирпильская! Как повырываем волосья кадету, приезжай ко мне в гости. Женю тебя в Кирпильской, справные девчата у нас в станице, вот такие, как я...

Пелипенко расправил широкие плечи и, выштянув могучую грудь, ударил по ней кулаком.

Володька потянул его за руку.

— Глянь, дядя Охрим!

Пелипенко прищурился.

В воду влезло темное стадо буйволов. Они вобрались в протоку, легли и подняли вверх безразличные квадратные морды. Пастух, не снимая штанов, перешел протоку и, волоча змеевидный конопляный батог, приблизился к путникам. Поздоровался, сел и попросил закурить. Пастух был молодой невеселый парень, худой и длинношей. Он курил сыроватую махорку Пелипенко и поминутно кашлял. Наблюдая торопливые воды, он безучастно бросал в протоку камешки.

— Уважает буйла мокрое, — глядя на нищих, тихо произнес он. — Заберется в воду — и не поднимешь: как каменная. Обрыдло у них в подчинении быть. Вроде и хозяин скотине и не хозяин. Жди, пока она сама встанет.

— Все твои буйволы? — удивился Володька, раз-

глядывая войлочную осетинскую шляпу пастуха и дра-
ный бешмет.

— Какой там мой! — покашливая, отмахнулся па-
стух. — Чужая скотина. У черкесов в работниках, в
ауле. Все воюют, а я один с буйлами, тоже, поди,
воюю...

— Бросил бы их, — посоветовал Володька.

Пастух глянул на него. Володька разглядел серые
печальные глаза парня. Под глазами были темные кру-
ги и, несмотря на очевидную молодость, мелкие стар-
ческие морщины.

— Бросил бы, да не могу. Кому я нужен? Хворый
я. С Суворовской я сам. Шкодливым был. Раз крал го-
рох у хutorянина, Луки Копытова, а он застал... ну,
я с того дня и высыхать начал.

Пелипенко толкнул Володьку в бок, шепнул:

— Про нашего Копыта. — Громко спросил: — Так
с чего сохнуть начал?

— Поймал Лука, прикрутил к дрогам конскими пу-
тами да и начал гонять по кочкам. Пока кровь с глот-
ки не пошла. То смеялся Лука, а то сам испугался, от-
вязал, домой отправил и гороху еще в карманы мне
напхал.

— Может, не Лукой зовут Копыта, а Тарасом? —
нахмурившись, спросил взводный.

— Нет, Лука, — отмахнулся пастух. — Тарас-то
брат его. Тот справедливый. Говорили на улице, у Ко-
чубея он в отряде. Я бы сам к Кочубею пошел в отряд,
да негож. Все одно не возьмут.

Буйволы начали подниматься. Пастух встал. Он по-
качивался на длинных ногах, застегивая бешмет. Из
бешмета лезли клочки хлопка.

— Кто в Крутогорской атаманует? — спросил буд-
то невзначай Володька. — Кто управляет, добрый до
нищих старцев?

— Да, может, до старцев и добрый, а вот молодых
со свету сжил, — меняя тон и возбуждаясь, ответил
пастух. — Главный будет атаман Михаил Басманов —
генерал. Был проездом Покровский, повешал, повешал
и на фронт подался. Сейчас Шкуро здесь. Азиатские
полки смотреть приехал, а может, царскую тетю про-
ведать.

— Какую тетю? — насторожился Пелипенко.

— Да гостит сейчас в станице великая княгиня
Марья Павловна, что ли, с детьми, да еще князя ка-

кие-то. Живут в доме полковника, у него еще яблони родят лучший на всю станицу шафран. На улице караулы. Меня в воскресенье не пустили по той улице. В доме танцы. Говорили на базаре казаки: потому танцуют, что с ними самая главная по танцам, вторая же — на самого царя, Кшесинская.

— Гляди, прямо не Крутогорка, а Петербург, — удивился Пелипенко. — Да что же они тут делают? Танцуют, и все. Люди кровь теряют, а они танцуют. — И тихо шепнул Володьке: — А мы насчет Сорокина своего сумлеваемся. Может, так и надо: как вылез в великое начальство, так без выпивки и танца — вроде без полной формы. Как свадьба без музыки. — И уже громче спросил: — Да где же они гроши берут?

— Деньги есть у них, — собираясь уходить, ответил пастух. — Казаки-конвойцы говорили — Шкуро за двадцать миллионов вывозит гужом их до самого Новороссийска. Не последнее ж отдали.

Пелипенко, забыв, что он немощный слепец, вскочил, плюнул и выругался так, как мог отвести душу только лихой кочубеевский командир.

Пастух, не обращая на него внимания и не попрощавшись, покашливая, перебрел протоку и погнал в горю блестящее стадо.

Влажная одежда досыхала в пути на горячем теле взводного. Они шли, и для практики Пелипенко ворочал белками, пел, покручивая незамысловатый оргачик. Затемно добрались до церковной ограды и заночевали под густой и надежной сенью грушевых деревьев, недалеко от могилы похороненного в ограде священнослужителя с длинной и странной фамилией.

Утром их прогнал церковный сторож, и они направились к базару.

Станица была многолюдна, шумна. Чувствовалась близость фронта. Во дворах стояли армейские повозки, тачанки, кухни. На площади, у веревочных коновязей, расположилась сотня казаков-черноморцев и, накрытые брезентом, серели горные орудия. На базаре бабы торговали молоком, сметаной, маслом. Гоготали гуси, ощупываемые и передаваемые из рук в руки. Бойко распродавали с возов арбузы и дыни.

Молчаливые карачаевцы сидели на корточках возле пирамид брынзы. Тут же рядом, связанные веревками, поводили печальными влажными глазами поджарые бараны высокогорных пастбищ. Привыкшие к альпий-

ским лугам Бычесуна и безмолвию, они не понимали прелести базарной сутолоки, блябли и поворачивали удивленные сухие головы. Карачаевки торговали айраном, выдавливая кислое молоко из коричневых бурдюков, доставленных в долину на низкорослых облезлых ослах.

За «слепцами» двигалась орава мальчишек. Пелипенко устал закатывать очи и притворяться немощным. Он был потен и вол. Уйдя с базара, они снова попали на площадь к собору к концу обедни. Замешкавшись в празднично разодетую толпу, они протиснулись как раз к тому времени, когда из церкви, сопровождаемый пасхальным трезвонном колоколов, вышел генерал Шкуро.

Казаки конвоя генерала сдерживали напор, но все же вскоре Шкуро оказался в плотном кольце любопытных. Пелипенко, будучи на полголовы выше всех, сумел разглядеть генерала.

Шкуро был втянут в серую черкеску. Оружие было выложено слоновой костью. Рукава черкески были широки и подвернуты почти до локтя, обнажая шелковый бешмет.

Генерал был похож на обыкновенного казачьего вахмистра. Держал себя с нарочито подчеркнутым достоинством и грубоватой натянутостью.

Сопровождавший его генерал Басманов блестел крестами и медалями, добытыми еще в Маньчжурии, под водительством генерала Мищенко. Черкеска черного сукна была расшита генеральским басоном. Бешмет настолько затянул воловью шею, что лицо атамана отдела налилось кровью. Был грузен Михаил Басманов; говоря со Шкуро, нагибался всем корпусом и, видимо, стеснялся ломать спину перед этим неказистым, бесцветным выскочкой, взлетевшим, как фейерверк, на вершину чинов и славы.

Шкуро медленно продвигался. Он недовольно морщился и был беспокоен. По пути отвечал на незначительные вопросы станичников об успехах на фронте, о предполагаемом призыве трех годов. Вопросы ему, очевидно, надоели, и он отвечал быстро резким, срывающимся голосом.

Володьке, как он ни тянулся, не был виден Шкуро, но его самоуверенный голос раздражал Володьку, и его так и подмывало сделать генералу неприятность. Когда Шкуро в ответ на чей-то вопрос вло обозвал Кочу-

бея большевистским выродком, Володька не выдержал и звонко выкрикнул:

— Ваше превосходительство, правда, что вы поймали Ваньку Кочубей?

Кругом притихли. Басманов выпрямился, грозно метнул глазами. Какой-то солдат в зеленых обмотках, больно ущипнув Володьку, дернул его и поставил за свою широкую спину. Пелипенко, сверкнув фарфоровыми белками, застыл. Гроза миновала. Басманов нагнулся к Шкуро, и тот, сдвинув выцветшие брови, резко бросил:

— А меня поймал Кочубей?

— Никак нет, ваше превосходительство! — поспешно рывкнули конвойные казаки и впереводку кое-какие старики.

— Ну, так и я его.

Ускорив шаги, Шкуро подошел к фээтону, отстранил истеричных дам, пытавшихся поцеловать полы его черкески, и покати́л к дому по дороге, раздвинутой конным конвоем.

Не успел лакированный задок фээтона скрыться за акациями, площадь окружили казаки-черноморцы.

— Облава! — с неподдельным ужасом воскликнул молодой карачаевец и, работая локтями, кинулся в сторону.

Солдат в обмотках быстро нагнулся, вымазал пылью лицо и, скривившись, подмигнул Володьке:

— Сейчас будут трех годов призывать... Добровольческая армия. Может, за дурачка пройду!

Пелипенко поволок Володьку, забыв про слепоту.

— Забратают, ей-бо, забратают, — тревожился он. — Видишь, как Шкуро войско организует.

— Дядя Охрим, — радовался Володька, — считай, ползадачи вырешили, а? Про это и сомневался начдив.

На них хлынула толпа, почти сбив с ног. На площади появились верховые. Проверяли документы. К церковной ограде сгоняли мужчин под охрану взвода юнкеров. Над толпой пронеслось истощенное причитание:

— Ой, на кого ж вы нас оставляете? Ой, да куда ж вы его забираете?..

В ответ запричитали бабы, выкрикивая плачевные слова.

— Ой, да куда ж вы его забираете? — метался безнадежный голос, осиливая весь поднявшийся над площадью шум.

Так голосили только по покойникам.

Володька вцепился во взводного и потащил его по улице, ведущей к Кубани. Их догнала волна людей, отхлынувшая от кирпичного здания почты, сшибла и понеслась дальше. Кое-где упали женщины. Гикая, скакали черкесы. Взводный выругался, не поднимаясь, крутнулся в пыли, поспешно нащупал в лохмотьях шероховатую ручку нагана... Может, погиб бы пылкий кочубеевец, но неожиданно пронеслась горластая команда, повторенная, точно эхо, во всех концах площади:

— Снять посты, прекратить проверку!

Черкесы, завернув, поскакали к почте. На площадь въезжал на сиво-вороном жеребце казачий офицер в сопровождении седобородых в зеленых чалмах. Это был друг Шкуро, прославленный жестокостью и отвагой есаул Колков, будущий командир волчьей сотни. С ним были представители аулов, князя и зфенди. Позади на двух разведенных мажарах, запряженных быками, лежали бурыми холмами зубробизоны, убитые есаулом в истоках Большого Зеленчука, в урочищах Кяфара.

Мимо кочубеевцев проскрипели подводы с богатой охотничьей добычей шкуринцев, проехали казаки на заморенных конях с двумя выучными пулеметами. Пелипенко, машинально покручивая ручку органчика, напевал «Лазаря». Володька видел, как от ограды под усиленным конвоем повели сотни полторы вновь набербованных «добровольцев», а за ними с плачем бежали женщины.

«Слепцы» расположились у протоки, недалеко от водяной мельницы. Никто им не мешал. Они резали продольными кусками арбуз и пряную дыню-зимовку и обсуждали переживания сегодняшнего дня. Органчик лежал рядом. Невдалеке кунались. Пелипенко чувствовал себя неудобно в узкой одежде, поспешно раздобытой в Суркулях, и пытался снять рубаху. Под рубахой ничего не было, кроме розового мускулистого тела, и Володька не советовал раздеваться.

— Дядя Охрим, очень уж у тебя фигура ладная. Как бы не заподозрили. Хоть грязью ребра нарисовать, а то какой же ты слепец.

— Да, видать, что так, — вздыхал взводный. — Вот как с почтой?

Из разговоров на базаре они узнали: четырех большевиков, указанных по фамилиям Кондрашевым, нева-

долго перед этим повесил Шкуро на базарной площади. Пятый бежал и, судя по намекам, скрывался где-то в прикубанских садах. Чтобы повидаться с ним, надо было иметь знакомых в станице. Пелипенко еще больше потел и доканчивал третий арбуз, когда к ним, незаметно подойдя, подсел вчерашний длинноногий пастух в осетинской шляпе.

— Здравствуйте, товарищи, — тем же безучастным голосом поздоровался он, глядя в сторону.

— Здоров, товарищ, — притягивая пастуха за руку, ответил Пелипенко, внезапно почуввав в обращении «товарищ» неожиданного союзника и помощника.

Пастух огляделся. Поднялся.

— Тут не совсем ладно.

Они перешли мутную и шумную протоку, пересекли лесок и очутились на песчаном берегу основного кубанского русла. Здесь людей не было.

— Мало передать письмо — надо станицу поднять, — тихо и все так же печально заявил пастух, дослушав Пелипенко. Он закашлялся. — А вы сумеете. Жив Кочубей?

— А куда ж он денется! — гордо ответил Володька.

— То и Шкуро сказал, как ты его спросил. Я все слышал. Догадался. Неспроста же пробрались в опасное место. Решил — разведка. Тут ожидают красных. Видели, как до генералов добровольцы идут? Почему Кондрашев не идет? Ведь свободно забрать у кадетов станицу.

Парень оживился. Показался он Володьке теперь молодым и красивым. Пелипенко не поддержал воинственных настроений собеседника.

— Забрать станицу легко, да удержать трудно, — разумно определил взводный. — Вскочишь в нее и будешь как мышь в котле. В ямке стоит ваша станица.

— А я все мечту имел нашим помочь, пушки считал шкуринские, пулеметы, — грустил парень. — Хотелось чем-нибудь помочь своим... — и он, не докончив, отвернулся.

Взводный сочувственно покачал головой. Тронул парня.

— Как тебя кличут?

— Степан, — ответил пастух, не отнимая шляпы от лица.

— Так вот что, Степка. Пушка да пулемет счет лю-

бят. Не зря считал. Ну-ка, выкладывай, сколько этого добра у кадета.

Парень подробно перечислял огневое вооружение шкуринцев. Пелипенко даже вспотел и, толкая Володьку, приговаривал:

— Видишь все, как в своем амбаре. Все, что есть в закромах, что чувалами. Батько три раза перед бригадой целовать будет. А хворобу твою вылечим, не робей, — утешал Пелипенко. — У нас в бригаде есть ловкий фершал: рыжий, плюгавый, а все превзошел. Коня и бойца может на ноги поставить. За неделю до этой путешествии мучился я животом. Не пойму, с чего он закрутил. Аль с баранины. Аль с кисляка-каймака. Так будто и не может того быть, бо съел я всего-навсего кисляка того полведра в Ивановском селе. Одним словом, сторбатила меня хвороба. Не мог прямо ходить, все дугой. Пронос открылся. Беда! Хлопцы — в шашки, а я — в кусты. Пояс на шею и думаю, как индюк. Перед взводом страм. Раз было кадет срубал, да случай спас. Штаны я не успел одеть. Застеснялся кадет, и срубал я его. Может, никогда не дрался барчук с беспортошным. Так обратился я к Чуйке: «Вылечи, говорю. Бери что хочешь за средство: шашку, кiset». Не взял ничего, а вылечил. Дал бутылку с черным-черным жидкостем и сказал: «По две деревянных ложки три раза в сутки». Как рукой сняло!

— Да что ж то было, дядя Охрим, деготь? — плутовато спросил Володька.

Пелипенко хмыкнул и обидчиво бросил:

— Деготь?! Такой фершал — и деготь... Он меня тем лечил, что сам царь раньше принимал, до революции... Креолина какой-сь, во!

Пастух сдержанно улыбался. Володька, схватившись за живот, катался по песку.

— Ты чего? — надулся Пелипенко.

— Дядя Охрим, — визжал Володька, — да креолином коней от чесотки пользуют.

— Брешешь ты! — обиделся взводный и, немного смущенный, переменял разговор. — Как с леткою? — обратился он к пастуху.

— Попытаемся. Отпусти Володьку. Сходим к знакомому парубку, он в караул идет.

Пастух закашлялся. Отхаркнулся кровью.

— Все ж смех смехом, а надо до Чуйки, — убежденно произнес Пелипенко, поглядывая на кровь. —

Враз, как рукой... Он сеченый хоть, да битый завсегда дороже...

— У нас свой черкесский доктор в ауле, доктор на весь мир, — похвалился со вздохом парень, — да разве он пастуха будет лечить! Что взять с голого?

Володька придвинулся ближе.

— Степан, а как все же до того попасть, что в сады ушел?

Долго у суматошной Кубани шептались люди.

Когда темнота спустилась и у берегов появились патрули, Пелипенко, Володька и их новый друг пополнили по-над рекой в кустах податливого ивняка.

XXVI

«Слепцы» были захвачены белогвардейцами у реки, у Каменного брода, и, испытав допрос есаула Колкова, лежали связанные на подводе. Прошло более суток. Пленных куда-то хотели отправить. К правлению подтягивались мажары, порожие и с печеным хлебом, покрытым брезентами. На возах сидели казаки-подводчики, вооруженные винтовками. У правления на повозки начали грузить связки рогатин.

Володька пробовал шутить, выталкивая слова из запекшегося рта:

— Попали бычки на рогатину!

Пелипенко, закинув чубатую голову, хрипел. Крепким боем добывал есаул у Пелипенко признание. Но трудно что-либо получить у козубеевца. Кашлял взводный. У рта надувались розовые пузыри, оседавшие на усах кровавыми сгустками.

— Скорее бы в расход пускали... подлюки...

— Попался, бес краснопузый! — злобно сказал подводчик, старый казак с широкой седой бородой, и ткнул Пелипенко в бок.

— Что ты его мучишь, кум? — пожалел другой, мимоходом стегнув пленников кнутом.

Взводный, зарывав, приподнялся, но, обессиленный, повалился навзничь.

— Не все хмара, будет и солнечко, — утешая, шептал Володька, проглатывая ненужный комок. Он крепился, хотя получил от есаула только чуть меньше друга. Ему было жаль взводного, всегда такого сильного,

кряжистого, а сейчас опрокинутого врагом на спину, побитого и окровавленного.

От домов упали тени. Подводы двинулись. Казак-подводчик, сев удобней на сено и положив на колени винтовку, тронул лошадей последним. Догоняя рысью, держался кочковатой обочины дороги. Дроги прыгали. Пленники ощущали во всем теле «услугу» подводчика. Володька невольно вспомнил бесхитростное повествование пастуха о наказании за кражу гороха. Не было с ними длинного кашляющего парня с печальными глазами. Видел его Володька последний раз возле Пелипенко, когда застукали их невдалеке от Каменного брода. Видел Володька, отстреливаясь из-за коряги, как махнул ему пастух своими несуразно длинными руками и исчез в бурной реке.

Трясло. Володька просил:

— Дядя Охрим, вались на меня, может, складней будет.

— Ой, друже, — хрипел Пелипенко, — попали как дурни. Что батько скажет, как узнает! — Выдохнул вместе с пеной: — Хлончика сгрызут.

— Куда иголка, туда и нитка, дядя Охрим, — пытаюсь улыбнуться, сказал Володька. Он жадно глядел вокруг.

Связанная в котловину, станица кое-где недружно карабкалась в гору. У подножия плоскогорья — курчавые сады и строения. Внизу, замыкая котловину, бежала взлохмаченная бурунами Кубань. Далеко за Кубанью дымились аулы и распахнулась степь, яркая, как афганская шаль.

— В хорошей станице жили люди, — вздохнул Володька.

— Жить и на базу хорошо, а вот помирать...

Обоз, проехав окраину, двигался по долине правобережья Кубани, минуя небольшие левады. Двое конвойных разговаривали, бросив поводья на луки седла и выпростав из стремян ноги. Конвойные — простые молодые парни. Под ними были худые лошади с побитыми хомутами шеями и старые казачьи седла. Один, долгоносый и смешливый, вытащил ситцевый кисет, скрутил сигарку, передал кисет приятелю. Задымили махоркой. Пелипенко сплюнул голодную слюну.

Сутки без пищи, а главное — без курева. Острое желание курить на время заслонило физическую боль. «Одну б затяжку перед смертью».

Вдали, над желто-зелеными лугами, маячили конные фигуры.

— Видать, казаки карачаевцев рубать учат, — вглядываясь, определил долгоносый конвоир и, засмеявшись, добавил: — Гололобых в воскресенье только и погонять. В будни на этом плацу больше сами казаки лозу рубают...

Второй флегматично предложил:

— Балачки да калячки, а дело стоит. Надо в расход пущать, а то Колков ноги повыдирает. — И, очевидно считая себя старшим, громко крикнул: — Сто-о-й!

Подводы остановились. Лошади, звеня цепковыми поводками, потянулись в сочный придорожный шпарыш. К повозке с пленниками подошли два казака, просто ради любопытства. Остальные, отойдя от дороги, прилегли и наблюдали.

Старик подводчик, не вставая с места, обернулся и, скосив выразительно глаза, предложил:

— Решайте их на дрогах. Все едино мертвяков-то возле дороги не кинешь. Надо ж их отволочь подальше от станицы... по-хозяйски.

Конвоиры спешили. Таща лошадей в поводу, обошли дроги и остановились. Лица их были серьезны и вспотели.

Старшой почесал затылок.

— Кровь, может, где брызнет. Ничего?

— Ладно уже. Говядину ж возим на базар, — решил старик и молодого спрыгнул с повозки.

Володька глядел испуганно. Его черные глаза казались каплями блестящей влажной смолы. Он только сейчас понял близость нелепой расправы. Никогда ему смерть не казалась такой близкой и простой. Пелипенко был наружно спокоен и, стараясь улыбнуться, сказал нарочно громко:

— Прощай, партизанский сын.

У Володьки глаза подернулись досадной слезой. Он тервно кусал губы. Пелипенко видел только его стриженный темный затылок и желтые остюки в волосах.

— Что ж это такое? За что? — беззвучно шептал Володька.

Конвойные, сняв винтовки, мялись. Дело было непривычное, и они не знали, как к нему ловчее подойти.

Заметив их неуверенность и робость, старик подвод-

чик крутнул головой, взял с вoзa винтовку и, отступив, презрительно скривился.

— И как это так! Такое сурьезное дело — и доверять таким сосункам.

Отошел, пригляделся из-под ладони, перекрестился, вскинул винтовку, начал целиться:

— У, басурманская сила! Перед кончиной и помолиться некому. Товарищи!

Пелипенко свалился лицом вниз. Подводчик прикрикнул. Но взводный не смог самостоятельно приподняться, несмотря на попытки. Старик подошел, начал поправлять поудобней для цели.

— С Шамилем самим воевал, — бурчал он, — и об такую коросту на старости лет руки приходится мараТЬ. Товарищи!

Увидав на шее Пелипенко гайтан, потянул и обнаружил крест. Крест его озадачил.

— Крест?! — удивился он. — Вот так случай! Может, и бога еще не забыл. — Обернулся, крикнул: — Хлопцы, зтого надо вытянуть! Он с крестом. А сопливца — на мушку.

У Володьки вздрагивали плечи. Он тоже лежал вниз лицом. Пелипенко, облизнув сухие губы, тихо, но твердо попросил:

— Покажи мне крест. Помолюсь.

Казак, довольный, полез за пазуху взводному, и, вытащив крест, положил на ладонь, и поднял до уровня глаз. Пелипенко отхаркнулся, качнулся вперед и плюнул на крест. Свалился. Старик вспыхнул:

— Надо кончать.

Торопливо вытерев оплеванную ладонь о полу бешмета, быстро отойдя, круто повернулся и вскинул винтовку...

От группы занимающихся в долине всадников отделился один и подскочил к обозу. Это был рыжий вахмистр, вооруженный нескладной драгунской пашкой.

— Стой, папаша-станичник, — заорал он, — зараз менка сообразим! Господин войсковой старшина товарищей срубает, а ты по недвижной цели, по мишеням нашим, палить будешь.

Пленники во все глаза глядели на вахмистра. Они узнали Горбачева, старшину третьей сотни.

— Хриstopродавец! — гневно зарычал Пелипенко.

— Дядя Охрим, да как же так можно? — вырвалось горестно у Володьки, и слезы, до этого сдержива-



ваемые огромным усилием детской воли, брызнули на веревки Пелипенко.

— Иуда! — выкрикнул Пелипенко.

Горбачев, не обращая внимания на впечатление, произведенное его появлением, как всегда самодовольный и веселый, выхватил саблю, просигналил.

— Давай справа по одному.

По сочной луговине один за другим мчались всадники.

Старик, опустив винтовку, восхищенно из-под густых бровей наблюдал любезную его сердцу картину. Карьером впереди всех летел бравый войсковой старшина в красной черкеске. Солнце скатывалось за последние осыпи плато. Последние лучи вспыхивали на серебряном погоне офицера. Из-под копыт летели ошметки влажной земли. Блеснуло лезвие пашки, и блеск этот по-разному отсветился в зрачках смертников и старика. Володька зажмурился. Пелипенко вскинулся на повозке, чтобы гордо принять смерть, как полагается красному бойцу-кочубеевцу.

Вот войсковой старшина перегнулся, пашка замкнула свистящий искристый круг... голова старика палача покатилась по траве. Удар такого рода — предмет восхищения и зависти каждого именитого рубака. Ватага торжествующе заревела и на полном скаку окружила обоз. Всадник в красной черкеске круто завернул, над Володькой захрапел жеребец, поводья налитыми кровью глазами.

— Шо тут за шкода? — весело крикнул всадник.

— Батько! — крикнули почти одновременно Пелипенко и Володька, сразу узнав голос своего командира.

— Эге, — протянул Кочубей, — детки мои в пеленках, под хорошим доглядом... Ишь как вас позакручивали. Мабуть, батько подскочил вовремя. Кажите спасибо своему цибулястому дружку.

Кочубей подморгнул пастуху Степану, подъехавшему на разномастной, вислозадой кобыле. Степан сиял, хотя был потен и грязен. Кочубей отер рукавом пашку, всунул в ножны, спрыгнул. Выхватив кинжал, ловко разрезал на пленниках веревки. Помог подняться и сойти с повозки. Когда они стали на землю, он поглядел одному и другому в глаза, поддерживая их за плечи своими вытянутыми сильными руками. Вскинул шапку на затылок и трижды расцеловал в запекшиеся губы.

— Говорить после, — нарочно грубоватым тоном произнес он. — Ахмет! Хлопцам коней. Враз в седлах очухаются. Да не этих кляч, — презрительно бросил он, указав на трофейных теперь лошадей обезоруженных конвоиров, — а дать моих заводных: Ханжу да Урагана. Обоз, «вахмистр» Горбач, заворачивай до нашего табора. Может, еще раз кадета надурим: кони у нас тоже не куцы, а на плечах погонны.

В пути Пелипенко подъехал к Кочубею, потянул рывком крест с шеи и тихо попросил:

— Батько, срежь этого куркульского бога, куркули за своего принимают... страм...

— Давно пора, Пелипенко, — похвалил Кочубей, перехватывая кинжалом плотный ремень, просоленный потом.

Похлопал взводного по широкой спине, засмеялся.

— Як ты там, в Крутогорке, придурился: «Мимо раю прохожю, дуже плачу и тужу...» Ах ты, Лазарь слепой!

— Да откуда ты все знаешь, батько? Вот вещун!

— Ха-ха-ха, — засмеялся Кочубей. — Вещун! Коли вещун, так то ваш новый дружок Степка, а я-то... Так себе. Ни то ни се.

XXVII

Хлеб шел из Курсавки по великому тракту на Султанское — Чернолесье — Арзгир. Михайлов, выполняя решения сотенных митингов кочубеевской бригады, руководил отгрузкой хлеба Чокпроду. Трудно было сказать, что считал Михайлов в то время более важным: фронт или хлеб. Привыкнув к боям, он не находил в них того отрадного чувства удовлетворения, которое дала ему новая работа. Война оторвала казака Михайлова от земли, а тут снова потянуло пшеничными запахами, черноземом, он даже таил в сердце своем думку начать поднимать пары, взметывать землю под озимь.

«Вот уже полгода мешаем хлебобобу работать, — думал Михайлов, подъезжая к селу. — Перезимуемся, пожрем все от тех урожаяев, а потом?»

Поблескивали кое-где на темных полях огоньки, потом гасли так же мгновенно. Знал Михайлов — не таборы это пахарей и не любезные его сердцу огни степных кошей, а отсветы неосторожных застав.

— Видать, пехота курчак варит, — пробормотал Михайлов и подстегнул коня.

Ручные веялки, поставленные в ряд на брезентах у элеватора и сараев, разноголосо стучали, вихрили пылью, и Михайлов, делая обход, отфыркивался и откашливался. Вытянув руку у ветрогона, заметил, как об ладонь били твердые, колючие зерна.

— Крути тише! — прикрикнул он. — Все зерно в полову.

Человек, вручную вертевший веялку, сбавил обороты. Колких, твердых тел не было, от ветрогона относилось остюки, пыль, разную шелуху. На дышле, поднятом вверх, был привязан фонарь. Свет желтил холмы пшеницы. Человек, лежа у веялки, поблескивал потной спиной и умело откидывал зерно широкой деревянной лопатой. Зерна с кучи катились вниз, сползали, и Михайлову казалось, что желтая гора пшеницы живет, движется и даже дышит.

— Чистое зерно, — похвалил он, ни к кому не обращаясь, перетирая зерна в ладонях, — кукольника¹ нету.

— Добрая пшеница, — согласился кто-то рядом. — Оживет Расея от такой гарновки².

Зерно ссыпали в узкие чувалы жестяными продолговатыми коробками. Михайлов слышал, как шуршало зерно, представлял, как плотно должна садиться гарновка, когда мешок сильно встряхивает вон тот плечистый парень, обвешанный пучками разрезанного для завязок шпагата. Мешки складывали поодаль в квадратные высокие клетки, откуда мешки кочевали к повозкам, но квадраты мешков несколько не уменьшались.

От повозок отошла женщина в белом платке, направляясь к элеватору. Потом, очевидно заметив Михайлова, повернулась и подошла к нему. Михайлов узнал Настю.

— Чего делаешь, Настя?

— Чувалы относила хлопцам. Латаем. Дырявые-то чувалы. Наталья прибежала на часок из госпиталя, тоже помогает. Мы там, — Настя указала в сторону элеватора, — машинку зингерскую где-сь Наташка добыла, строчит как с пулемета! Заходи до нашей хаты.

¹ Кукольник (правильно — куколь) — сорная трава.

² Гарновка — сорт пшеницы. Называется также кубанкой.

— Ладно, управляюсь, зайду, — обещал Михайлов. Настя помедлила.

— Михайлов, а Михайлов?

— Чего ты, Настя?

— Чего-сь орудиев не слышать? Как ушли к Зеленчукам Кондрашев с Кочубеем, все орудия гудели, а теперь... Может, уже наших у аулов кончили?

— Несуразное не мели, — сердито отмахнулся Михайлов.

Уходили обозы. Старшины охраны засовывали за пазухи наряды, вдевали ногу в стремя, прыгали в седла и, покричав, двигали повозки. Обозы отправлялись в далекий путь-дорогу, поскрипывая и полязгивая.

Михайлов завязывал мешки, поплеывая на пальцы, приятно ощущая в руках скрипящий шпагат. Крякал, принимая на плечо мешок, и относил к повозкам, легко подкидывая пятипудовую тяжесть. Вот так давно, еще до турецкого фронта, парубок Михайлов, худощавый и мускулистый, играючи подкидывал чучалы на деревянный ковш вальцевой мельницы.

— Вроде тогда мешки тяжелее были, — бормотал Михайлов. — Аль с войной силы набежало?

...Михайлов, поработав, точно встряхнулся. Мускулы ныли от особой, приятной и бодрой усталости. В сапоги попало зерно. Он переобувался, выслушивая начальника экспедиции.

— Двести тысяч пудов отправили, не считая сегодняшнего, товарищ Михайлов.

— А сегодня?

— Ну, добавь еще мешков на тысячу.

— Кадет жмет, пора кончать базар.

— Торопимся, товарищ Михайлов; рубахи — хоть выжми. — Он отвернулся, прислушался. — А что, не кадет обход делает? Что-то уж с полчаса за станцией какое-сь переселение.

Михайлов тоже прислушался. Перестук колес, ржание, отдельные резкие выкрики, повелительные и гневные. Так командуют либо заядлые гуртоправы, либо деловитые сотенные старшины в периоды ответственных маршей.

— Мои были думки, — продолжал начальник экспедиции, — наши обозы-хлебовозы, ан нет, не в той стороне.

Михайлов, окликнув ординарцев-кабардинцев, поскакал на шум...

Скриптели тысячи подвод, громыхали орудия, фыркали лошади, мелькали конные группы и пики. Густая пыль, поднятая движением, не была видна ночью, но першила в горле, душила...

Стальная дивизия снималась с фронта, уходя через Ставропольскую губернию на Царицын. Красный Царицын собирал грозное войско, а по всем дорогам — от Донецкого бассейна, с Дона, из Сальских степей — стремились к нему регулярные полки и партизанские отряды.

Бойцы покидали станицы, родные хаты, чтобы стать подлинными защитниками революции, не только своих сел. Не один из них обернулся назад, чтобы проводить глазами острые пики серебристых осокорей родимой сторонутки, а может, и размазал по пыльному лицу ненужную слезу. Перебросится боец словом с соседом по стремяни, погорюют оба, а потом огреют боевых коней нагайками и зазвенят серебряным набором, стремянами и оружием.

— Поможем Царицыну. Возьмут Курсавку — не большая беда, заберут Царицын — пропали и мы, и хаты наши, и моря Каспийское и Черное, и Кавказ, и Волга.

Шли партизаны на зов Сталина и Ворошилова. Много войска шло на подмогу Царицыну, где решались судьбы первой пролетарской революции.

Бесконечный ленивый перестук колес. Пехота, беженцы, амуниция — на подводах. Изредка, свернутые, проплывали знамена.

На железнодорожное полотно вырвался на коне Михайлов и замер. Начинался рассвет, но огненный круг солнца не мог пробить тяжелую пыль. Высыпали удивленные бойцы:

— Шо ж это такое?

— Хлопцы! Да шо ж это такое?!

На насыпи все прибывало и прибывало; были здесь и кочубеевцы, были и от других частей.

— Хлопцы, як же так? Куда вы? — спрашивали остающиеся.

Отвечал задорный казак в светло-синей черкеске, один из сотенных командиров Стальной дивизии.

— Нема тут дела, хлопцы! — крикнул он, блеснув зубами. — Идем на Царицын. Помогнем Царицыну, отгоним кадета от Волги-реки и ударим на Кубань...

— Эй, зй, сотник! Кто тебя на такие речи надо-

умил? — прогорланил боец из неизвестного отряда, взобравшийся на телеграфный столб. — Кто приказ дал нам, кубанцам, чужие реки воевать, чужие города оборонять?

— Пришел приказ за двумя подписями, Сталина и Ворошилова! — торжествующе прокричал сотенный командир и скрылся с глаз.

— Видать, верно. Без расейцев не справимся, — вагомонили на насыпи, — нема надежды на Сорокина.

— Надо уходить, — выдохнул казак в каракулевой кубанке, украшенной серебряным узким галуном, стоявший почти у стремени Михайлова. — Не могут давать дурного приказу из Царицына.

Снял казак шапку и взмахнул ею. Теперь видел Михайлов его смоляной чуб, упавший на потный лоб.

— Хлопцы, пролезайте, пока есть дырка! — громко выкрикнул казак. — Не уйдем сейчас, закружат нас потом каруселем генералы в степу... Ей-бо, закружат. Я ношел, хлопцы, со Стальной дивизией...

Казак сполз вниз, за ним скатились еще люди.

Им вслед закричали:

— Салом пятки мажете?!

— Что вы лааетесь? Может, и взаправду так делать надо, как Стальная дивизия, — говорили другие и присоединялись к уходившим.

Прискакал от Курсавекого вокзала адъютант главкома Сорокина Гриненко, а с ним два десятка запыленных всадников. Вспрыгнул на насыпь Гриненко, зазвенели копыта по рельсам. Замахал адъютант какой-то бумагой, заорал во все горло, захлебываясь и сквернословя:

— Куда вы? Не было приказа главкома. Главком приказывает остановиться. Измена!

Мимо проходила тихорецкая пехота 1-го Коммунистического полка.

— Не дерй горло, — зло бросил рабочий в кожаной куртке и отвернулся.

— Измена! — буйствовал Гриненко, скача к пехотинцам, не переставая размахивать бумагой, и казалось, белый голубь трепыхался в его руках.

Тихоречане ушли, мимо проходили стрелки полка имени товарища Морозова.

Молчал Михайлов, покусывая губы. Непонятное делалось на Кубани. Не было близко ни комиссара, ни Батышева.

Гриненко вернулся обозленный и измученный. Конь еле взобрался на крутую насыпь, и адъютант всячески поносил его. Заметив сумрачного Михайлова и зная его нелюбовь к нему, да и к Сорокину, Гриненко пробормотал что-то невнятное и вместе с конвойной конной группой поскакал по линии, гулко стуча по шпалам.

Тревожно заржал конь Михайлова, повернув сухую голову к востоку.

Вдали гремели пушки. Кровавое солнце встало высоко в небе и осветило взбудораженную землю. Заголубела гряда кавказских гор, и белым облаком выплыл Эльбрус.

* * *

В эту ночь пылал Верхне-Мансуровский аул. Кондрашев отступал. От высот Малого Зеленчука зашла конница есаула Колкова. Стремительный Кочубей ударил по есаулу, смял его части и сбросил в обрыв. Казаки увечились, падая в пропасть, и где-то внизу, где беспокойно ворчала шумная река, ржали искалеченные кони. Рукопашная кончалась.

Старшина Горбачев догнал у ущелья самого есаула Колкова, взмахнул клинком. Голова есаула отделилась от плеч, упала на землю, подпрыгнула выше кустов куриной слепоты и покатилась к реке. Показалось подлетевшему Сердюку, что старшина — кудесник: уж больно легко отделил он от плеч есаульскую голову, играючи, как когда-то кляпку грызового подсолнуха на есаульских полях.

— Удар, дай боже! — прокричал Сердюк, сшибаясь грудью о грудь с плечистым казаком.

— Меняю есаульскую голову и славу на твоего трофея со всей сбруей! — беспшибашно заорал Горбачев, видя, как подхватил Сердюк за повод серого, в яблоках, жеребца, принадлежавшего только что сраженному казаку.

— Бери, Горбач, поменялись, — согласился Сердюк, — а я подамся выручать Батыря.

Абуше Батырь расшвыривал есаульский конвой, кинувшийся было на выручку своего командира. Плохо пришлось бы Батырю, если бы не подоспел Сердюк; еще хуже было бы Сердюку и Горбачеву, если бы перед этим не помог им Абуше.

Мимо пронесся Горбачев с двумя трофейными конями.

— Сердюк! — крикнул он. — Кидай последнего в кручу, батько сигналил...

Сердюк и Абуше Батырь поскакали вслед за Горбачевым, огибая крутую возвышенность зеленчуковского левобережья. Где-то впереди трубили.

Кондрашев и Кочубей уходили... горцы стреляли партизанам в спины... аул пылал... Эфенди, хоронивший Айсу, простирал с минарета сухие руки, и в густых облаках дыма перебегали спешенные шкуринцы...

* * *

Уйдя на помощь Царицыну, Стальная дивизия надеялась, что взамен ее полков на фронт будут подтянуты резервные части пехоты и конницы из многотысячной одиннадцатой армии. Сорокин буйствовал. Он отвел от этого участка свои резервные части, сознательно открыв дорогу противнику. Лазутчики сообщили о том в штаб белых. В противовес планам главкома Кондрашев заполнил прорыв, растянул по фронту свои поредевшие полки и кавгруппу Кочубея. Деникин, сгруппировав мощный кулак из белоказацких и офицерских полков, протаранил фронт, вломился в прорыв, образованный Сорокиным. Расчлененные на большом участке, части второй партизанской дивизии были сбиты. Невинномысская пала. Михайлов остался отбивать хлеб и фураж, прикрыв тылы дружелюбным Ставрополем. Кое-как на противоположный берег Кубани прошли по мосту артиллерия и обозы. Пехота и кавалерия кинулись вплавь. Кочубей встал в седле и, заложив за пояс полы черкески, направил коня в бурную воду. За ним поплыла бригада. Кто не умел плавать, держался за хвосты коней. Слабые утонули. Кое-кого скосила пулеметная строчка.

Над армией нависла угроза. Деникин развивал наступление. Вечерами на обрывистых берегах Кубани разжигались костры — приманка для врага, и спешенные бойцы Кочубея отползали от этих гигантских факелов. Через несколько минут снаряды разметывали огонь, и в воздух летели вместе с землей осколки и темные головни. Хитрость не помогала. У белых было много снарядов. Кротов яростно грозил тому берегу:

— Мне бы столько запаса, я бы вас — с грязью!

Вновь резали южную темь огни. Гудели орудия.

Бокон подходили к Кротову артиллеристы и просились домой на побывку. Просили, не глядя на своего командира:

— Нечего делать, Крот. Кадету англичанин подвозит припас. Пора по домам. Может, поснимем замки — да в Кубань.

Видел, не плохие бойцы говорят ненужное, трусливое слово. Слушал такие речи Кротов, и у самого сжималось сердце. Прыгал на зарядный ящик, кричал:

— Ребята, давай до кучи! Кого еще отписать к жене на пуховые перины?

— Чего ж ты ореншь, горлохват?! — смущенно бранились бойцы и так же бочком убирались, стыдись показаться трусом при всем товариществе.

Кочубей в этом вынужденном безделье перековал конский состав, пересортировал снова по мастям коней, приказал починить боевые походные выюки и оковать возы новыми шинами. Комбрига стесняла река, недоступная, огороженная густыми цепями денежников. Он мечтал о раздолье Крутогорского плато.

Кочубей с комиссаром шли по скалистому, размытому в подножье берегу. Приходилось продираться в жестких кустах кизила и ажины. Перестрелка была редкая, шумела Кубань, поскрипывая камнями. Кочубей размахивал плетью.

— Як тигра в клетке, — досадовал он. — Погляжу еще, погляжу, да, может, вслед за Стальной дивизией подамся. Наплюю на сорокинские приказы. С Сорокина генерал, як с меня архиерей.

Комиссар, сочувствуя комбригу, все же решил испытать Кочубей:

— Без спросу... Нельзя так, Ваня. Все же не так как-то сделала Стальная дивизия.

— Ишь ты який умница! — усмехнулся Кочубей, — шо ж они, зря ушли? Зря они делегатов под Царицын посылали? Раз ушли они, так спросясь, коли не самого товарища Ленина, так его правую руку. Шо тут делать?! Сорокин нас путает, а кадет умный. Ему надо всю армию передуть в Ставропольском степу. Не выпустить войско в Расею. Стальная дивизия умно вырвалась — и себя спасла и Царицыну поможет, а мы?.. Куда нам подаваться, а?.. Зараз те путя Шкуро все закупорил...

Перестрелка участилась. Они повернули обратно.

Царицын был обложен красновско-мамонтовскими белоказаками. Царицын был в опасности, но подошедшие с Северного Кавказа части ударили по белым, и железное кольцо окружения было прорвано.

Отсюда не была видна Волга, но дымный город с кое-где разваленными бомбардировкой домами поднимался за линией окопов и колючей проволоки. Полки грудились за косогором, скрытые от огня батареями генерала Краснова. Военные комиссары полков зачитывали приказ № 115 Реввоенсовета по войскам десятой армии.

«При сем объявляется телеграмма члена Революционного Военного Совета Республики Народного Комиссара Сталина.

Командующему Царицынским фронтом — Ворошилову... передайте Морозовскому, Тихорецкому, 3-му революционному и другим полкам, окружившим противника и разбившим его наголову, мой горячий коммунистический привет. Скажите им, что Советская Россия никогда не забудет их героических подвигов и вознаграждает их по заслугам.

Да здравствуют отважные войска Царицынского фронта!

Член Революционного Военного Совета Республики
Народный Комиссар *Сталин*».

XXVIII

Михайлов был желт и мрачен. На сапогах налипли комья грязи, шея была туго завязана башлыком. Заметив Кандыбина, он криво улыбнулся и, быстро приблизившись, сказал, как о чем-то незначительном:

— Федорчука и черкеса-пулеметчика цокнул. В Мокрой балке.

— За что? — передернулся комиссар.

— Опять барахлили. Сотни последнее на хлеб отдали, а они... враги... суки... Звание кочубеевцев осрамили...

Михайлов глянул исподлобья и, заметив выражение досады на лице комиссара, позвал его:

— Пойдем, комиссар, в хату, не пристало тут прилюдях о важном договариваться.

Кандыбин не сразу последовал за Михайловым, так как его ждал политрук третьей сотни. На улице у веревочных коновязей фыркали лошади, жадно хватая сено. Коня были заморены трехсуточными боями, и отблески костров резко оттеняли их завалившиеся бока. Кочубеевцы варили кулеш в медных котлах, кучковались, разговаривали о последних боевых делах. Вслед за уходом Стальной дивизии от Туапсе прорвалась Таманская армия. Разгромив под Белореченской офицерские полки генерала Покровского, таманцы, сломив жестокое сопротивление белых, взяли Армавир, выровняли фронт, и Кочубей соединился с группой Михайлова.

Кандыбин заканчивал разговор с политруком третьей сотни. В двенадцать часов ночи сотня должна была выступить из Суркулей и к рассвету достичь полустанка Дворцового, куда стягивалась бригада для удара по Невинномысской. Политрук, длинный казак с угловатыми жестами, переминаясь с ноги на ногу, задавал вопросы, на которые требовали ответа бойцы. Сообщают ли в Москву Ленину об их делах? Пожалуют ли в казачество иногородних из кочубеевской бригады, когда кончат они кадетов, и по сколько десятин земли нарежут им? Спрашивали еще: нельзя ли Кочубея поставить на место Сорокина, будут ли когда-нибудь у них в достатке патроны, почему нет газет, а только одни прокламации, нет фуража, а за самовольство расстреливают?

Усталый вошел комиссар в комнату. Было темно. Кандыбин чиркнул спичку. Михайлов неподвижно сидел, поставив локти на стол и обхватив голову руками. Кандыбин зажег лампу. Михайлов поднял глаза. Первый раз комиссар заметил в них грусть. Это было не похоже на Михайлова. Комиссар подсел к нему и обнял за сухие, костистые плечи.

— Что с тобой, Михайлов?

Михайлов отодвинулся, скривив презрительно губы.

— Чую смерть, комиссар.

Кандыбину приходилось нередко сталкиваться с самыми необычайными настроениями среди многоликой кочубеевской массы. Он был свидетелем истерических припадков у рубак и грубиянов в результате полного истощения физических и моральных сил, кинжальной схватки двух вчерашних друзей из-за пустякового спора. Он привык к суеверию самого Кочубея,

объезжающего бабу с пустым ведром, способного зарубить попа, перешедшего ему дорогу. Комиссар знал, что курица, кукарекующая петухом, по мнению воинов, способна навлечь больше несчастий, чем десять генералов Шкуро, вместе взятых; но состояние Михайлова его встревожило.

Кандыбин пытался успокоить друга. Михайлов думал о чем-то своем, не слушая комиссара.

— Зарубал двух, а вот и до меня смерть подходит. Страшно. Дуже страшно помирать, комиссар, и не повидать того, что завтра будет.

— Ну, хватит, Михайлов. Брось ты свои выдумки. Ты ж заколдованный. Ты и Кочубей в каких схватках ни были — ни одной отметины.

Михайлов промолчал, скрипнул зубами. Они долго сидели, не проронив ни слова. Выдохнув шумно воздух и отодвинув ногой стол, он встал. Лампа закачалась, колебля громадную тень Михайлова.

— Прощай, комиссар, пойду подремлю, — тихо сказал он и пошел к двери.

У порога задержался, поманил Кандыбина пальцем, поглядел в глаза ему.

— Подохну — наплевать. Волка волки сгрызут. А вот одного жалко, комиссар... — Михайлов, помедлив,дохнул в ухо комиссару: — В коммунию твою не зачислился при жизни. Все как-то стыдно было. Вот мешки таскал, пшеницу молотил, хлеб Ленину добывал — ничего, а вот тут... вроде боевому командиру это не к лицу. После одумался... хотя ладно...

Деланно засмеялся, отмахнулся от Кандыбина и вышел.

Ночью от Суркулей длинным темным жгутом выползала третья сотня. Была холодная октябрьская почь, и по балкам поднимались молочные промозглые туманы. Всадники дремали в седлах. И сейчас самым желанным в жизни казался им сон. Сон! О нем мечтают в утомительных буднях сражений, маршей, в сторожевом охранении, мечтают, как о чем-то чудесном и несбыточном.

Вспомнились невольно комиссару высказанные однажды вслух мечты Володьки: «Кончим войну, и спать завалюсь на все первые три дня по мирному положению, и буду спать без просыпу».

Курились в гнилых балках туманы, остро торчала

осока, набрякшие, повисли махры камышей, сонные, крикали гуси.

Нельзя спать долго в седле. Подъемы и спуски. Напрягаются кони под мертвой ношей, и боялся комиссар — придет сотня к Кочубею, набив лошадям холки и спины. Тихо толкнул одного, другого, третьего. Как встрепанные, озирались казаки, по привычке хватаясь за шапки.

— Это ты, комиссар? — бормотали они. — Шо, уже Киян?

— Скоро будет Киян, — отвечал комиссар. — Скучно ехать в потемках, заспеваем?

— Заспеваем чуток, кадет далеко — не услышит.

Кучковались пессельники в первых звеньях; встряхивались озябшие от неподвижности; бряцало оружие. Запевал казак из приазовской Брыньковской станицы, бас, возбудивший когда-то зависть у знаменитого протодьякона войскового собора города Екатеринодара:

Як умру, то поховайте
Мэнэ на могили...

Подхватывали товарищи, покачиваясь в высоких казачьих седлах:

Серед степу широкого,
На Вкраїне ми-и-лой...

Понуро ехавший впереди Михайлов прислушался к песне, попридержал коня, присоединился на повороте припева:

Серед степу широкого
На Вкраїне ми-и-лой...

Будила песня бойцов, новые сильные голоса вpleтались в прекрасную мелодию шевченковского «Запoвита». Трепыхали чуткими ушами боевые кони.

Розовел восток. Частоколили столбы, и тихо гудели провода. Вправо, из-за глубокой выемки, высунулся неподвижный бронированный поезд.

— Новый броневи́к, — сказал Михайлов, — на него командирить пришел Щербина. Прислал Сорокин своего человека для этого боя, — видать, нашему брату уже не доверяет.

* * *

С пяти часов утра шел бой за Невинку. Командование медленно подтягивало к станице пехотные и кон-

ные части. На линии в едином поединке боролись два бронепоезда: белый и красный. Бригада Кочубея пребывала в томительном бездействии, ожидая подхода кавалерийской группы Кочергина.

— У, рыжий черт, осокой очи прорезаны! — ругал его Кочубей, вглядываясь в даль.

Наблюдав поединок бронепоездов, плевал, возмущался:

— Гляди, гляди, комиссар, броневик-то наш, як свинья поросная, ползет, а тут надо уже бой кончать, бо кони голодные.

Броневик ворочался, медлительный и важный. Часто расцветчивался серыми клубами выстрелов. Кочубей обернулся к Кандыбину:

— Посулил я Орджоникидзе пуще прежнего переводить кадетское падло, а тут топчется, як кобель на цепу!

Снова глядел вперед нервничая.

— Зараз сам сяду на броневик, чего он там чухается! — сказал Кочубей, вопросительно метнув глазами на комиссара.

Кандыбин уже подтянул узкий пояс. Подмигнул Кочубею:

— Колбасы им хочешь нажарить?

— Эге! — радостно воскликнул Кочубей.

— Нажарь, Ваня, чтоб шкварчала, как живая, — разрешил комиссар, — да кстати и меня захвати, а то дремлет.

— Ахмет, коней! — приказал Кочубей.

Бронепоезд приближался. Ясно стали видны пульмановские бронированные платформы, неуклюжий, закованный до самых пят паровоз, балластные платформы впереди паровоза и выпрыгивающая рогатым зверьком стереотруба. Установленное на второй платформе морское дальнебойное орудие бездействовало, и серое дуло, похожее на хобот, поворачивалось только для острстки.

Подведенные лошади тянулись мягкими губами и жевали, пытаясь освободиться от мундштучного железа.

— Зараз я им покажу, як надо драться! — пробурчал Кочубей, закладывая за пояс пóлы черкески. — Со мной комиссар, Ахмет...

— И я! — попросил Володька.

— Ты?! — Комбриг был в минутном раздумье; по-

том, поняв тревогу Володьки, улыбнулся. — Ну, давай и ты. — Подал команду: — Садись!

Под Кочубеем и его спутниками горячились кони. — А ты, Михайлов, як я тронусь вперед с бронированной силой, развернешь бригаду лавой, — приказал Кочубей.

Михайлов, внимательно разглядывая порванный сапог, кивнул головой.

Всадники карьером вырвались из-за прикрытия небольшого леса. Кочубей и Кандыбин впереди. Позади Ахмет и Володька. За ними, низко припав к лукам, черкесы. Бронепоезд вздрагивал от редких случайных орудийных выстрелов и густо дымил. Кочубей спрыгнул на землю. Черкесы, поймав коней, пропали в крутом загибе глинистой балки. Насыпь была высока, земля, залитая дождями, затвердела и потрескалась. Кочубей быстро полз вверх, цепляясь за землю, хватаясь за траву. На комиссара и Ахмета летели ломкие стебли полыни и белоголовника.

Добравшись до полотна, Кочубей побежал к паровозу, оглянулся, что-то крикнул и мигом исчез в узкой бронированной двери. За ним вертко протиснулся Володька. Кочубей, отстранив машиниста, хватал какие-то ручки, рычаги, рычал:

— Гонь вперед на полный ход!

— Куда? — спросил машинист, повернув черное мазутное лицо. — На крушение?

— Гонь на кадеты!

Володька, схватив машиниста за липкий рукав куртки, приподнялся к его уху:

— Дядя, дядя, ты его слушай... это Кочубей. Ей-богу, Кочубей...

Машинист отмахнулся, передвинул влево ручку регулятора, поставил реверс на последний зуб и крикнул помощнику, коренастому молчаливому крепышу:

— Давай, подкидывай!

— Дядя, это Кочубей, — не отставая, убеждал Володька.

— Не ори, пацан! — прикрикнул на него раздраженный машинист. — Сам вижу — не Покровский. Марш к помощнику, видишь — запарка...

Володька торопливо засучил рукава и, схватив лопату, начал ворочать уголь.

Из топки несло жаром. У Володьки пылали лоб и уши. Дорогие шаровары почернели, на зубах скрипело.

Топливо кончилось. Володька, отложив шухальную лопату, стал на колени и принялся сгребать мелкую угольную пыль.

Бронепоезд быстро шел вперед. В трубку хрипела брань командира Щербины:

— Задний ход... Куда, сучий глаз? Задний ход!

На тендере Кочубей размахивал двумя маузерами. Кандыбин курил самокрутку. Володька вылез наверх, в ушах его засвистел ветер, и сразу стало прохладно. Под ним, раскачиваясь, неслись открытые броневые платформы. Батарейцы возились у орудийных затворов, выплевывающих дымные гильзы. От бойниц что-то кричали люди, какой-то матрос, высоко подкинув бескозырку, ловко поймал ее за ленточки и что-то весело и озорно загорланил.

— Готовь пушки, пулеметы, зараз биться будем! — в свисте ветра различал Володька крики Кочубея.

Над уходящим бронепоездом белых поплыли орудийные дымы, и Володька услышал протяжный свист снаряда.

— Перелет! — закричал Кочубей и выпалил из маузера.

Володьку накрыли теплые клубы дыма и пара, он закашлялся; потом ветер отмахнул дым, и белый бронепоезд скрылся за косогором.

— Гони, шоб мокро от него стало! — крикнул Кочубей. Замахал маузером. — Гляди, комиссар... Михайлов!.. Добра лава, га?

Над коричневыми осенними полями взвился алый парус и помчался вперед, золотая под солнцем.

И тут же из-за густых карагачей и бузины вырвались сотни ангорских папах.

Володька узнал впереди сотни коричневую черкеску Михайлова. Вот Михайлов выхватил пашку, поднял ее над головой в знак салюта. Над сотенными значками блеснула ломаная молния клинков. Сотни пошли в атаку.

Бронепоезд, обогнав лаву, пронесся мимо вспыхнувшей выстрелами линии окопов.

Володька скатился к машинисту, свист ветра сразу угас. Володька быстро утерся шершавой паклей и сунул капсюль в гранату Мильса.

В окошке кабины мелькали телеграфные столбы, белые хаты, казармы, водокачка.

Машинист обернулся.

— Кажись, догоним кадета. Сейчас авария...

— Крути-верти! — веселился Ахмет, играя маузером. — Резать офицеров будем, руки нет, ноги нет, башки нет... Крути! Твой Невинку берем... ого-го-го!..

— Твой, мой, — передразнил машинист, сверкнув зубами. — Все: мое-твое. Надо свое ладней взять...

Лопнули петарды, как елочные хлопушки.

— Идиот будошник попался, — сообщил машинист, — дескать, поезд за поездом... оп петарды и подложил — правила соблюдать... Ну, — закричал он, закрывая регулятор и поворачивая ручку крана, — готовь кулаки, даю тормоза... Давай! Качай воду!

Кочубей свалился чуть не на плечи машиниста, распахнул дверку, взялся за поручни, изогнув корпус вперед, и, когда поезд замедлил ход, прыгнул, не ожидая остановки. Володька скатился вслед за комбригом и, заметив в дверях станции кучку оторопелых юнкеров, метнул наискось, в двери, осколочную гранату Мильса...

...Кочубей, Кандыбин, Ахмет дрались на путях. Увлеченная их примером, метала бомбы прислуга бронепоезда, и пулеметы злобно вращались на вертлюгах. Юнкера бросали оружие, и оно со звоном падало на асфальт.

Над станцией поднимались дымы — не то кизячные, из труб, не то пороховые...

Из командирской рубки, ворча, вылез обескураженный Щербина, потирая жировик у левого уха.

— Ишь заховался в норку, — издевался Кочубей, подтягивая голенища и смахивая пыль с сапога широким рукавом черкески, — хомяк! Тут бою на десять минут, а они чухаются... а у меня кони голодные! Во, комиссар, добрая бронированная сила, когда ею управляют не такие обалдуи.

Подводили и выстраивали пленных. Впервые красногвардейцы увидели корниловцев. Разглядывали диковинную расшивку их френчей: витые шевроны с эмблемой смерти, трехцветные треугольники ленточек.

Кочубей был весел. Стекались к вокзалу конные сотни. Бригада была всегда неподалеку от своего командира. Кочубей поздравлял бойцов с победой. Сотни спешили. Отряхивали пыль. Коня поводили опавшими боками, ржали, заметив фуражиров, спешивших с охотками сена.

С тачанок снимали запыленные гармоникки, и вокруг гармонистов собирались шумные кучки.

Но была омрачена радость командира бригады: прискакал кабардинец ординарец Михайлова и, разыскав Кочубея, припал к его ногам. У ног Кочубея легла окровавленная пашка. Кочубей быстро схватил ее. Горестно дрогнули губы. Это был известный ему дорогой лезгинский клинок задушевного друга.

— Михайлов?!

...Станция, постройки — позади. Кочубей мчался по полю. В руке знак тяжелой вести — клинок. Ведь только смерть могла вырвать его у Михайлова.

Навстречу тачанка. Четверик коней бросал ее по кочкам, точно щепку. Два бойца придерживали тело, завернутое в бурки. Впереди, расчищая дорогу, скакали верховые. Путь был забит. Пехота и обозы тянулись в Невинку.

— Давай дорогу! Шкода! Великая шкода! — кричали верховые.

Кочубей на скаку спрыгнул с коня и, размахивая руками, подбежал к тачанке. Михайлов лежал на снопах пшеницы. Бойцы, уступая место комбригу, спрыгнули с тачанки и стали у ее крыльев. Снопы раздвинулись, и голова Михайлова провалилась. Михайлов хрипел, и его острый желтоватый кадык судорожно двигался. Кочубей обеими руками приподнял его голову. С уголков губ Михайлова, будто презрительно опущенных вниз, стекали струйки крови. Кочубей потрянул его:

— Друже! Это я... Кочубей... друже!

Михайлов приоткрыл глаза. Они уже были пустые, и смертная тень легла на лицо. Михайлов прошептал:

— Ты... Ваня? Невинка наша?

— Да чья же, Михайлов? Наша... Вставай ты...

Михайлов не отвечал. Его голова, внезапно отяжелев, повисла в руках Кочубея.

Нагнулся комбриг и крепко поцеловал в губы боевого друга. Сняв шапку, скорбно опустил голову. На губах Кочубея была кровь.

* * *

В числе трофеев, захваченных в Невинномысской, оказались две цистерны со спиртом и коньяком. Цистерны были вывезены из темпельгофского имения ве-

ликого князя Николая Николаевича, из-под Железноводска.

— Не дело, — сказал комиссару Кочубей, сам никогда не употреблявший спиртного. — Бойцы поперебиваются. Намалюй, Вася, на тех цистернах мертвых черепов с мослами, а после вытяни к чертям из расположения частей.

Через полчаса бока цистерн были покрыты черепами с перекрещенными костями и белой эмалью выведено: «Яд — для технических целей».

Припихиваясь, собирались бойцы к цистернам. Подходили и, вперив удивленно-алчные взгляды в таинственные смертные знаки, тихо садились. Это были бойцы разных частей. После, расседлав коней, подходили и кочубеевцы и тоже садились на мазутную землю, на рельсы, на шпалы.

Благоговейно сняв шапки, раздувая ноздри, безмолвно сидела трехтысячная толпа лихих рубак. От цистерн струился тонкий убаюкивающий аромат. Содержимое было опасно, но привлекало.

Над головами раскинулось голубое небо, тускнели далекие звуки затихавшего боя, а здесь близко перед глазами пузатые цистерны, расписанные колдовскими знаками гибели. Тяжело дышала толпа, облизывая пересохшие губы. Кое-кто расстегивал душивший ворот гимнастерки, бешмета, и лица влажнели от ожидания и натуги. Тишину разломал скрипучий голос:

— Братцы-товарищи, дозвоьте за мир пострадать!

Все повернули головы. Просил хилый казак, сняв сивую шапку. Худая шея его была склонена набок. Веснушчатое лицо казака было утомлено и покрыто грязью.

— Смотри, да это фершал Чуйков, — угадал Пелипенко. — Ишь как его в строю подвело... а может, он занедужил.

Вообще никого не удивило это странное желание: боевая жизнь такому вояке, как Чуйко, давалась нелегко. Никто ничего не ответил, но все раздвинулись, давая дорогу. Вихляя на тощих ногах, выряженных в опорки, он прошел толпу, как Моисей морскую пучину. Идя, он выкрикивал хриповатым безучастным голосом:

— Братцы-товарищи, дозвоьте за мир смерть принять!

Загудели братцы-товарищи, а потом, когда Чуйко подошел к цистерне, стало снова удивительно тихо. Ты-

сячи глаз напряженно следили за каждым движением бывшего конского лекаря. Подойдя, он положил шапку наизём, перекрестился и, по-жабы дрыгая ногами, ввякая котелком и флягой, полез на цистерну. Влез, шумно отдышался, сел поудобней верхом и начал довольно умело отвинчивать люк. Толпа восхищенно загудела и снова затихла. Вскоре крышка люка поднялась вверх, как губа какого-то древнего чудовища. С крышки каплями стекала влага, и дурманящий запах спирта поплыл в воздухе.

Чуйко уместил между ног флягу с водой и медленно отвязал от пояса котелок. Затем снял и пояс. Привязав пояс к котелку, нагнулся в жерло люка.

— Дозвольте за народ смерть принять, — пропел он и, вытащив осторожно, чтоб не расплескать, котелок, прильнул к его закопченному краю.

Зашелестела толпа. Цыкнули на передних, вставших было на ноги.

Чуйко допил, и с минуту булькала вода во фляге. Водворив на место флягу, он развернул тряпицу, вынутую предварительно из кармана, и медленно стал жевать колбасу с хлебом. Нюхал корку, икал и звучно жевал, щелкая зубами. Оставшиеся на ладони крошки собрал в щепоть, поднес ко рту, а после, подняв голову, стряхнул в рот все, что осталось на ладони.

— Мабуть, сейчас свалится, — проголосил кто-то плаксивым бабьим голосом. — Вот напасть! И за шо только добрый человек жизнь свою репает...

— Цыты! — оборвал его дюжий казак со второй сотни, стоявший рядом с Пелипенко. — Говорит же — за мир честной... — Укоризненно покачав блестящей, будто смазанной маслом, головой, добавил: — Такого не понять, эх!..

Чуйко, хныча, опустил еще раз котелок и снова выпил, изредка прикладываясь к фляге.

Пьяно раскачиваясь, запричитал:

— Просю простить меня, кого я забидел словом, делом али помыслом... Дозвольте, товарищи-други...

— Чи третью манерку, га? — завопили кругом. — Шо ж вин не дохнэ?..

— Гляди, какой крепкий, а с виду — как шмель...

— Мабуть, он двужильный!

— Двужильный! Шо, он киргизский конь?

И тут произошло неожиданное. Свистя, подъехал паровоз, стукнули буфера, свалился Чуйко. Быстро

прицепили цистерны и, развивая скорость, потащили спирт на Курсавку. Так было сделано по распоряжению комиссара.

Озлобленно били конского лекаря. Били, пока не надоело. Пьяный Чуйко добродушно хрипел:

— Так, так, еще, еще... дозвольте смерть принять...

Плюнув, бросили бить. Разошлись.

— Это тебе за отвод глаз, за мороку, — сказал кочубеевец с масляной головой, ткнув неудачника ногой в бок. — Комедь представлял, пока с-под носу выпивку вытянули.

XXIX

В Пятигорске в ставке было зловеще.

Приближенные главкома шушукались, ходили на цыпочках.

Сорокин, низко склонив голову, внимательно разглаживал скомканную исписанную бумажку. В выжидательной позе рядом стоял Черный. Придерживая пашку, он склонился вбок, и на лице его бродила довольная улыбка.

Главком поднял глаза.

— Кто писал?

— Крайний.

— Это когда же?

— На совещании командного состава в Реввоенсовете во время вашей речи.

— Кто еще знает об этой записке?

— Никто, Иван Лукич. Крайний написал ее Швецу, а тут его Рубин вызвал выступать, он, дурак, бросил ее через стол, а я поднял.

Сорокин прошелся по куне. Ставка главкома уже с неделю снова была переброшена на колеса. В окно был виден неподвижно стоящий часовой полка Котова. Газовый фонарь колебался, и мохнатая фигура черкеса то скрывалась наполовину, то появлялась, попадая в светлое пятно.

— Ветер? — глядяваясь, спросил главком.

— Начались северо-восточные ветры, Иван Лукич.

Сорокин потер лоб; снова, но уже вслух перечитал записку:

— «Мишук! Для тебя ясно, что он говорит? «Немало помех приходится встречать в некоторых ответственных учреждениях», — не много ли? Нет, на днях должен решиться вопрос: или эта сволочь, или мы! К.»

Смутное острое лицо Сорокина исковеркала злоба. Сжав кулак, погрозил:

— Или мы, Черный, социалисты-революционеры, или эти... — он задохнулся от бешенства. — Понял? Я поставлю их на колени перед собой. Я командующий! Меня утверждал Троцкий.

— Есть, товарищ комвойск, — обрадованно вытянулся Черный.

Черный, выйдя в коридор, плотно притворил дверь, подмигнул насторожившемуся Гриненко:

— Потерпи малость. Жареным запахло.

Заметив любопытство на лице Гриненко, Черный взял его под руку, и они пошли, позванивая шпорами, в купе адъютантов.

— Помнишь, как мы этого таманского героя Матвеева пустили в расход?

— Что было, то прошло, Черный, — сказал Гриненко, точно уклоняясь от воспоминаний о расстреле командарма таманцев Матвеева; в нем он сам принимал участие.

Черный задернул занавеску, включил бронзовую настольную лампу, подвинулся ближе к собеседнику.

— Тот тоже хвастался, что бойцы за него. Мол, для их большевистской революции лучше будет, если пойти на соединение с Царицыном. Стальная дивизия, мол, верно поступила. Нельзя, мол, через прикаспийскую степь армию вести. Если погонят кадеты на Святой Крест, то всей армии крест будет. Дурак, что ли, Сорокин — на Царицын идти, чтобы его там из главкомов на сотню командирить поставили, а то и к стенке... Ты всего не знаешь, Гриненко, хотя и левая рука Ивана Лукича, — похлопав адъютанта по плечу, свысока сказал Черный.

— Ну, а сейчас-то что? — спросил Гриненко. — Про Матвеева уже вспоминать не будем. Насчет этих, как их... насчет Рубиных?

— Ишь какой торопливый! Поживешь — увидишь. А поторопишься — людей насмешишь.

* * *

Ставка продолжала веселиться. После расправы над Матвеевым главком еще чаще устраивал смотры и парады, выезжал перед фронтом частей с блуждающим и опустошенным взором. Выкрикивал речи.

Одиннадцатая армия, подчиняясь распоряжению Реввоенсовета, перегруппировывалась по плану главнокомандующего. Сорокин считал необходимым взять Ставрополь, закреплять территорию и очищать дорогу к Владикавказу. Выполнение первой задачи он возлагал на таманцев.

Крейсерская рация¹ подала из Армавира радиogramму об отходе таманских войск на Минеральные Воды. Покровский, приняв радиogramму, был введен в заблуждение. Начальник радиостанции Иван Первенцев принял сводку «ку»² об отходе таманцев от Армавира, передал ее новому командиру таманцев. Ложно демонстрируя отход в сторону Минвод, таманцы перебросились 23 октября к Невинномысской.

Быстро разгрузились эшелоны. Впереди истрепанных, полураздетых полков ехали военачальники, стяжавшие незабываемую славу: Смирнов, Поляков, Литуненко, Лисунов, мозг армии, несравненный начальник штаба Батулин...

Ночью спустились с Недреманного плато страшные белые штыки таманцев. Ставрополь пал. Но победа эта была ненужной.

Генерал Романовский доложил Деникину об изменении положения; к восточной части Кубанской области потянулись конные части мобилизованных в равнине казаков. Деникин, используя предательские планы Сорокина, начал замыкать круг, вытесняя армию красных в прикаспийскую пустыню.

Сорокин был сумрачен и беспокоен, но отнюдь не от активности белых. Рассеянные по всему фронту сорокинские шпионы доносили о недовольстве частей. Особенно волновались таманские полки, требуя ответа за убийство Матвеева.

* * *

Спустя три дня Черный был вызван главкомом по телефону. Вокруг ставки господствовало сильное возбуждение. Спешенной дежурила сотня черкесов, разъезжали люди конвоя, проверяя пропуска и придираясь. Музыкантская команда топталась, поблескивая сереб-

¹ Крейсерская рация — радиостанция, снятая с крейсера.

² «Ку» — позывные радиостанции генерала Покровского.

ряными трубами. На вопедшего Черного Сорокин набросился с ругательствами:

— Я вас назначил начальником гарнизона, а вы оказались растрепой!

Черный отступил, недоумевая, но, догадавшись, что гнев Сорокина наигран для остальных, вытянулся.

— Я не понимаю, в чем дело?

— В Центральном Исполнительном Комитете контрреволюционеры отъявленные, которые нас продают: Рубин, Крайний, Рожанский, Дунаевский, Стельмахович, Швец...

Сорокин, бегая, перечислял по пальцам своих врагов.

Одарюк, кусая губы, отодвинулся к окну. Гриненко торжествовал и перекидывался короткими фразами со вторым адъютантом, Костяным. Быстро вошли Гайченец и начальник конвоя Щербина.

— Надо кончать их, товарищ командующий! — зло крикнул Щербина.

Одарюк, круто повернувшись, сощурился. В его ненавидящем взгляде Сорокин почувал врага.

— Так ты тоже с ними? — прошипел он.

— Надо разобраться, надо мирно уладить конфликт, — убеждал Одарюк. — Сейчас не время сводить личные счеты. Армия истощена, на фронте тяжело. Вот последняя сводка...

Главком вырвал из рук начштаба сводку, злобно порвал ее и затопал ногами.

— Армию бьют потому, что у семи нянек дитя без глаза. Начальства развелось — до Ростова не перевешаешь... Гриненко! — завопил он. — Арестовать всю эту сволочь!..

— Есть, арестовать, — козырнул щеголеватый Гриненко.

От ставки на диких аллюрах умчались всадники главкома.

Сорокину принесли завтрак, коньяк и длинноногие хрустальные рюмки. Главком еще выше подвернул рукава черкески и, успокоившись, пригласил к столу Одарюка и Гайченца. Одарюк был молчалив и ничего не пил. Плоское лицо Гайченца расплывалось в подбострастной улыбке, он то и дело чокался с главкомом, потирал после каждого глотка свой приплюснутый нос и заметно хмелел. Сорокин мрачно ковырял в зубах

спичкой, отплевывался и, несмотря на большое количество выпитого, был совершенно трезв.

Арестованных подвезли на двух автомобилях и начали высаживать. Конвоиры держали винтовки наготове, лошади дымились и ржали. Запыленный и возбужденный Гриненко доложил:

— Ваше приказание исполнено, арестованные доставлены. Какие будут распоряжения?

— В собачий ящик, — раздельно произнес главком.

— Они хотят говорить с вами.

— Мне нечего говорить с предателями, — отчеканил Сорокин, внимательно проверяя действие своих слов на Одарюка.

— Вы не сделаете этого, — дернулся Одарюк.

Сорокин схватился за кобуру. Главком всегда стрелял в упор, быстро выхватывая револьвер. Одарюк побледнел, но сдержал себя и не шевельнулся.

— Ваши основания для убийства? — медленно, вполголоса спросил он.

Вошел адъютант, эсер Костяной, пронырливый, с узкими хитроватыми глазами, бросил на стол связку бумаг, перевязанных шпагатом.

— Какие там основания! — сказал он. — Вот бумаги, уличающие их в контрреволюции и предательстве.

— Евреи продавали нас белым, ясное дело! — выкрикнул главком и, не давая Одарюку разглядеть принесенное, передал бумаги адъютанту: — В следственную часть, там разберутся.

В это время на перроне возмущенный Рубин оттолкнул конвойных и направился к вагону. Ему преградил путь Черный. Он широко расставил ноги и, прищурившись, спросил:

— Что изволите, товарищ комиссар?

— Мне нужен Сорокин. Я выясню сам у Ивана Лукича, в чем дело.

— Иван Лукич Сорокин не желает тебя видеть, — ухмыльнулся Черный, отталкивая Рубина.

Веселым голосом Гриненко скомандовал:

— Под Машук!

В первый автомобиль посадили Рубина. Он сопротивлялся; его держали Гриненко и Черный. Видя, что на него наставил дуло нагана еще какой-то мрачный сорокинец, вскочивший на подножку, Рубин просто сказал:

— Предатели.

— Сам предатель! — выкрикнул Гриненко и, издаваясь, добавил: — Гражданская власть! Начальство.

Автомобили быстро выехали за черту города. Позади везли Крайнего, Рожанского и других. Затемнел осенний, почти отряхнувший листья лес. Машук был свободен от туч, и только справа, от Горячей горы, поднимались струйчатые, дрожащие испарения. Автомобили разделились; задний ушел по левой дороге, кочковатой, заросшей мелкой порослью и травой. Послышались выстрелы. Рубин оглянулся. Гриненко незаметно выхватил маузер и выстрелил в Рубина. Пуля попала в шею. Из раны хлынула кровь. Залитый кровью Рубин приподнялся, закричал:

— Да здравствует Советская власть!

Гриненко сделал еще три лихорадочных выстрела. Черный хладнокровно стрелял уже в неподвижного, валявшегося в кузове председателя ЦИКа. Автомобиль мчался по лесу, и мрачный сорокинец, забравшись в кузов, стягивал с убитого сапоги.

XXX

Кочубей, получив известие о расправе над членами ЦИКа и Реввоенсовета, сначала не понял, в чем дело. Глубокие морщины, прорезавшие лоб, выдавали тяжелую, напряженную думу. Он боялся ошибиться, к тому же ему казалось, что он не совсем дослышал сообщение.

— Ну-ка, повтори еще раз, комиссар.

Кандыбин вторично передал горестную новость. На скулах комбрига заиграли желваки; скрипнув зубами, он властно подтянул комиссара к себе и, обжигая ему ухо дыханием, быстро зашептал:

— А шо я казал Рубину? Шо я ему казал? Кто Сороку раскусил, як орех волоцкий? Почему Рубин не гукнул меня для помощи? Почему он не сказал Кочубею: «Ваня, дай мне в охрану сотню», га? Шо ж, я не дал бы ему? Может, я ему свою первую сотню послал бы... партизанскую... Н-а, Рубин, бери, мне не жалко. Кочубей и сам отобьется, своей гострой шашкой...

Комбриг теребил комиссара.

* * *

Известие о расстреле всколыхнуло всю армию. В Невинномысской собирался Второй Чрезвычайный

съезд Советов. Из армии катили на тачанках, скакали верхом и подъезжали с бронепоездами делегаты. Части выслали лучших бойцов на съезд, который должен был положить конец деяниям зарвавшегося авантюриста. К Невинке с фронта форсированным маршем подходила кавалерийская группа Кочергина для охраны съезда. Летел Кочергин впереди преданных революции сотен, бурлили в душе его неукротимые думки. Предупреждал Кочергин, да и другие фронтовые командиры, Крайнего о Сорокине. Не внял их советам секретарь Северокавказского крайкома, а теперь свалилась голова Крайнего под Машуком.

Кандыбин, направляясь на съезд, прибыл в Курсавку. По пути заехал, проверил госпиталь. Заметил, как похудела Наталья.

— Ты ж прямо-таки молодец, Наталья, — сказал комиссар, окончив обход. — Вот много говорил мне доктор, а все о своих заслугах, а тебя, да и других, не похвалил.

— Видать, не за что, — отмахнулась она. — Как там напи?

— Кто? — подмигнул комиссар.

— Ну... — Наталья замаялась, — Кочубей, Батышев, Левшаков?

— Рой?

— Ну и Рой.

— Третий день в бою. Сама видишь, прибывают раненые-то...

— Конец-то когда? — вздохнула Наталья.

— Когда кончим кадетов, тогда, разумеется, и конец, — сказал Кандыбин и пожал ей руку. — Сейчас на станцию, до Невинки думаю поездом, а мои делегаты конным порядком отбыли.

— Поклон передавай.

— Хорошо.

Возле вокзала было по-необычному людно. На перроне шумно перекликались какие-то вооруженные люди. Только что подошел поезд, паровоз обволакивали клубы пара. Кандыбин, приглядевшись, узнал специальный состав главкома.

Главком, узнав о съезде, выехал в Невинномыскую. Но Сорокин опоздал. Его поезд не был пропущен в Невинку и теперь разгружался.

Скатывали тачанки. В тачанки подсаживали дам. Сводила конвойная сотня людей и выстраивалась.

Щербина гарцевал на кобыле Кукле. Он подравнивал сотню и ругался. Музыкантская команда была на белых лошадях. Трубачи стояли беспорядочной кучкой, закинув за спину трубы. Сорокин еще не показывался.

Кандыбин, наблюдая эту картину, отозвал Гайченца, человека, которого он же когда-то рекомендовал в партию, сказал ему:

— Ваня, пока не поздно, оторвись от этой свадьбы.

Гайченец высокомерно смерил с головы до ног кочубеевского комиссара.

— Если не хочешь валяться в овраге, уходи.

Появился Сорокин, франтовато одетый. Ему подвели жеребца. Жеребец был беспокоен, и его держали Гриненко и Костяной.

— Вперед! — крикнул главком, махнув нагайкой.

До места кортеж двигался крупным шагом. Когда через мост прогремели тачанки, Сорокин поднял руку. Свита поскакала в гору на полевой рыси, и, выбравшись на ровное место, отряд перешел в карьер. Главком, обуянный тревогой, стремился к месту своей гибели — Ставрополю.

Республику облетела телеграмма:

«Военная срочная.

Из Невинки. Всем, всем революционным войскам, совдепам и гражданам

П Р И К А З

Второй Чрезвычайный съезд Советов Северо-Кавказской республики представляет революционной Красной Армии приказывает: бывшего главкома Сорокина и его штаб: Богданова, Гайченца, Черного, Гриненко, Рябова, Щербину, Драцевского, Масловича, Михтерова и командира черкесского полка Котова — объявить вне закона и приказывает немедленно арестовать и доставить на съезд на станцию Невинномысскую для гласного народного суда. Почте и телеграфу не исполнять никаких приказов Сорокина и лиц, здесь поименованных.

Второй Чрезвычайный съезд Советов».

С этим призывом обратился к армии Второй Чрезвычайный съезд Советов.

У стола президиума, покрытого полинялым кумачом, боец в куцей солдатской шинели. На ремне винтовка, штык повернут острием книзу. У ног его вещевой мешок-сидор. Это представитель Армавирского фронта. Он точно рубит тяжелые фразы на металлические куски слов и швыряет ими в затихшую делегатскую массу, поверх штыков, шапок, картузов и бескозырок:

— ...Сердце горит... Какой стервы приказы выполняли?! Сорокина?.. Подумать страшно, дорогие бойцы-фронтовики, на кого у него рука поднялась... Нет ему снисхождения. Так велели передать окопники Армавирского фронта... Клянемся умереть за Советы, за революцию!

Делегат отер рукавом шинели пот и жадно глотнул воду из стакана:

— Жаждали мы этого съезда, товарищи! Я кончил, товарищи.

Он поволок мешок за собой, спрыгнул с возвышения, продел в лямки сначала один, потом другой локоть и, пожимая руки, со всех сторон тянувшиеся к нему, продрался ближе к окну.

Анджиевский¹ вышел из-за стола, подкинул на плечо сползающую шинель, приблизился к рампе. В зале смолкло. Он обвел глазами людей и видел только суровые выжидательные лица. Анджиевский огласил внеочередную телеграмму об убийстве Сорокиным председателя Чрезвычайной следственной комиссии Власова. Все вслед за Анджиевским сняли шапки. Шумно поднялись. С минуту длилось молчание. Потом на лавку вспрыгнул делегат Петропавловского полка и, крутнув над головой картузом, закричал:

— Да што мы с ним нянчимся! Таманцы, што вы глядите!

Анджиевский, водворив тишину, зачитал вторую телеграмму из Курсавки, данную Кандыбиным.

И тогда, растолкав толпу, из зала выбежало несколько командиров-таманцев и с ними комполка Высленко, связанный с Матвеевым боевой дружбой.

— Ну, в Ставрополе мы его, гада, достанем! — крикнул он.

¹ Анджиевский — видный руководящий партийный и советский работник Терека. Казнен белыми.

У Ставропольской сторожевой заставы, что была выставлена по шоссейному тракту на село Татарку, держали свой бешеный бег таманцы.

— Сорокин в Ставрополе? — выкрикнул Высенко, круто осаживая коня. — Пропустили небось Сорокина?!

— Крой к тюрьме, товарищ Высенко. Повязали Сорокина, — отвечали спокойно бойцы у заставы, — от нас не уйдет.

Лес, холодные родники, стрельчатая Лермонтовская улица, базар, поворот мимо колоссального здания духовной семинарии, свечной завод, тюрьма.

Высенко бежал по двору, выложенному гулким булыжником.

— Давай сюда, товарищ командир, в караульное помещение, погляди на него, гада.

— Нечего мне любоваться на него. Там уже много ребят пришло на него, гада, полюбоваться, — быстро входя в камеру, произнес Высенко и выхватил наган.

Сорокин отпрянул к окну, поднял руки, словно пытаясь защититься.

— Я стреляю в изменника, в предателя революции, объявленного вне закона! — крикнул Высенко, в упор стреляя в Сорокина.

Сорокин стукнулся головой об угол, опустился на колени и рухнул, подогнув под себя руки.

Щербину, убежавшего из Ставрополя, догоняли по татарскому тракту. Под ним была кобылица Кукла. Не раз она спасала Щербину.

Таманцы отстали. Щербина почувствовал себя вне опасности.

Но таманцы не прекратили погони. На залитую лунной дорогу выскочили верховые. Щербина бросился в сторону. Лошадь покатила в обрыв и, грохнувшись на дно у жестких кустов терновника, подняла морду. По верху двигались всадники. Щербина ясно видел их четкие силуэты. Кукла раздула ноздри, приготовясь заржать. Он схватил ее морду обеими руками, целовал:

— Кукла, Куклочка, молчи, молчи, Кукла...

Таманцы исчезли. По сухой терновой балке продирался Щербина, ведя в поводу качающуюся, обессиленную лошадь.

* * *

Гриненко, так же как и Черный, был приговорен коллегией Чрезвычайной комиссии к расстрелу. Адъютант главкома просил устроить митинг, где он всенародно покается в содеянном. В праздничный день в Пятигорском цветнике открылся митинг. На трибуну, затянутую красным сукном, вышел бледный Гриненко. Он окинул взором народ. Собрались тысячи бойцов одиннадцатой армии. Торчали штыки пехоты, пестрели разноцветные верха кубанских шапок кавалерии. Вперемешку чернели куртки железнодорожных рабочих, белели овчинные шубы женщин... Ни в одном взгляде не нашел Гриненко сожаления или сочувствия. И когда начал он свою исповедь, гробовым молчанием встретила ее толпа.

— ...Наш штаб и ЦИК не ладили. ЦИК не давал денег, а деньги нужны были, сами знаете... — рассказывал Гриненко.

— Знаем, знаем! — выкрикнул кто-то. — На мадамов да пьянку.

— Вот именно, — согласился Гриненко, кивнув головой. — Когда Сорокину ЦИК пожалел два миллиона, он очень рассердился. Говорил: раз идет война, вся власть военным, а гражданская власть только мешает, и деньгами тоже должны распоряжаться военные... А когда мы его спросили, куда же девать ЦИК, он сказал, что надо его убрать. Гражданская война еще не скоро кончится, и ЦИК никому не нужен сейчас...

Гриненко рассказал о подготовке переворота, о расстреле Матвеева, а после и руководителей партии и Реввоенсовета.

— ...Теперь надо было вымазать в деготь побитых, чтобы на нас пальцем не указывали. Костяной да Кляшторный написали прокламацию, будто Рубин, Рожанский, Равикович, Дунаевский продавали нас кадетам, а то, что нас били белые на фронте, тоже им в вину пришили. Вы знаете эти прокламации, их много было на всех углах наклеено.

— Ты о себе говори, каяться же вышел! — закричали из толпы.

— Подписался я тоже тогда в палачи, предавал мучениям малолетка, брата товарища Крайнего, да и Минькова Бориса. Расписались они под показаниями, что мы изготовляли, да под письмами... обещали даже им освобождение, а потом, сами знаете... расстреляли.

Толпа загудела:

— Чего его тут исповедовать! В собачий ящик!

— Сколько людей перебил, а мы нянчимся!

К раковине, откуда говорил Гриненко, продрался казак, увешанный оружием, с запыленным и обожженным лицом:

— Товарищи! Как я его станичник — прошу разрешить мне его самолично кончить. Срам перед станичниками будет, как возвратимся... Дайте, я его кончу.

Казака успокоили. Гриненко опустил голову.

— Ну, давай закругять, а то на фронт надо, — требовали красноармейцы.

— Моя просьба к вам и к ЦИКу, — не подымая головы, попросил Гриненко, — не расстреливать меня, а дать мне револьвер с одним патроном, чтобы я сам себя убил.

Толпа зашумела:

— Дать ему наган!

— Нехай помрет, как казак, а не как подлюка! — выкрикнул одностаничник Гриненко.

— Стой, братва! — вылез дерзкий красивый матрос и поднял руку. — Мы, черноморцы, против, нет ему доверия. Пускай выскажется, на чем базируется просьба.

— Я прошу вот почему, — отвечал вновь притихшим людям Гриненко. — Я бросил семейство, пошел вместе с вами за революцию. Думал побороть врага нашего, буржуазию... свихнулся с пути я... Как? Сам не пойму. Туман кругом, и вроде ничего видно не было... Хуже кадета я... Товарищи, революции бойцы, вижу, расстрелял Советскую власть... нельзя жить мне на белом свете... подлюка я, плюньте в глаза мои...

Все притихли, ближе подвинулись к трибуне. Кое-где под напором тел затрещал забор. Гриненко подошел к краю сцены. Он стоял без шапки, опустив голову. Руки были опущены на алые, дорогого сукна шаровары, вымазанные мазутом и грязью. Пальцы вздрагивали, теребя кубанку серого смушка. Сняли с него товарищи оружие вместе с поясом, ибо пре-

дал он интересы боевых полков и не мог выйти на суд товарищества подпоясанный. Кончилась слава его. Стыдно было бывшим его соратникам, и потупились они, слушая слово о черной корысти их прежнего друга.

— ...Нет прощения мне за великую измену, — тихо произнес Гриненко, но все услышали слова его. — Дайте моей страдающей душе искупить зло... искупить хоть каплю зла... позвольте мне застрелиться... Отец мой старик, жена, сын мой считают — понес жизнь я за революцию. Честным считают меня. Не кидайте от себя сына моего. Возьмите, выучите. Пусть он будет революционером. Простите меня и прощайте. Живите, боритесь за счастье трудового класса, а мы, с темным пятном предателей, должны умереть...

Плача, Гриненко сошел с трибуны.

Ему выдали револьвер.

— Товарищ доктор, куда стрелять, чтоб с одного патрона? — шевеля белыми губами, спросил он врача.

Врач указал. Гриненко повернулся к народу, поцеловал наган.

— Целую святое оружие трудящихся, несущее смерть врагам революции.

Выпрямился и выстрелил себе в сердце.

Теряли остатки умерших листьев дубы, серебристые тополя и карагачи. Над парком кружились вороны, звонкие и крикливые. Строился у выхода матросский батальон, уходящий с бронепоездом на фронт. Группами отъезжали кубанцы, перебрасываясь словами.

XXXI

Дождливую осень и распутицу сменяла зима. На окопы, на заставы, на полевые караулы опускались ранние морозы и гололедка. Когда-то густые заросли облепихи-дерезы, ивы и топольника, скинув листья, поредели, лишив убежища птиц кубанских и зеленчукских заводов. Снимались, крикая, утиные стаи, перестраивались в четкие треугольники, шли на юг, к перевалам, пересекая хребет до начала горных метелей. Не порхали уже стрижи и хохлатые жаворонки. Над осыпями пустынных хребтов Абашеры-Ахубы парили черно-бурые грифы. Хищники выглядывали, не мельк-

нет ли стайка горных курочек или индеек, нацеливали взор, вытягивали когти...

Но беспокоило было на земле. Метались всадники на стремительных конях, повторяло эхо гранитных ущелий отрывистые гортанные команды, скрипели карачаевские арбы, и боязливо сторонились быки, почти влипая в скалу, когда мимо них по мышиным тропам проносились косматые бурки. От Сторожевой, Кардоникской, Зеленчукской, Отрадной, от Джегутинской, Джюрт-Юрта, пропадая в балках, в лесах, пробираясь ущельями и каньонами горных рек, двигались группы и одиночки. Одни застревали у белых, другие просачивались через фронты, сливались во взводы и шли на защиту революции, на оборону республики.

Сухо шелестели суркульские камыши, и иногда по улицам катились занесенные из степи кураи¹. От Невинномысской через Суркули беспрерывно двигались войска и обозы. С фронта самовольно начинали сниматься наименее устойчивые части.

Рой прискакал в Суркули. Он должен был принять придаваемую бригаде пехоту. В теплой конюшне в стойлах, пропахших сеном и навозом, звучно жевали лошади. Сверкнув фиолетовыми зрачками, зарядил серый жеребец и начал буйно топтаться, разбрызгивая грязь. Рой узнал жеребца Кочубея. Поставив иноходца рядом с кандыбинским Абреком, начальник штаба, по пути разматывая башлык, направился было в дом, но, заметив оживление на улице, задержался.

Двигались повозки, сопровождаемые верховыми. Беженцы это или регулярные части? На фурах везли гусей, визгливых поросят. Кое-где рядом с хрюкающей живностью стояли пулеметы. Ленты были заправлены в приемники. Казалось, пулеметы ощерились бледными деснами лент с золотыми клыками патронов, вот-вот начнут лязгать и скрежетать. Верховые были хорошо вооружены и в валенках. Валенки в стремяна не влезали, всадники помахивали ногами, стремяна позванивали.

— Куда? — любопытствовал Игнат Кочубей, вышедший за ворота.

— В теплые края.

— Шо-сь на птицев на перелетных не похожи.

¹ Кураи — сорная трава перекати-поле.

— Может, в Курсавку на ярмарку? Так уже спасовки тю-тю! — просвистел второй кочубеевец.

— Какая часть? — строго спросил Рой у солдата, закутанного поверх башлыка клетчатым полушалком.

Солдат пропускал обозы и переругивался с кочубеевцами. Рой повторил вопрос. Солдат обернулся всем корпусом и, определив лицо командного состава, гордо бросил:

— Непромокаемая дивизия партизана Наглова.

Рой знал эту «дивизию». По предгорью давно ходили слухи о «непромокаемых» отрядах анархистов Наглова и Казанцева. Под нажимом белых эти отряды первыми покидали фронт. Солдат в полушалке, пропустив вихляющие на мерзлых колеях возы сена и зенитное орудие, установленное на спаренных тавричанских бричках, собрался отъезжать.

— Прощайте! Встречайте кадета с хлебом да с солью! — перегнувшись в седле, крикнул он и огрел лошадь плетью.

— Встретим, не сумлевайтесь, партизан непромокаемый, — подморгнул Игнат. — Не хвостом встретим, грудью!

— Знаю, встретите, — обернувшись, заорал тот, — как же, свои, казачество!..

— Встретим и казачество, — зло ответил Игнат и погрозил кулаком.

Рой повернулся, думая уходить, но, обгоняя повозки, скакали человек шесть в гайдамацких шапках, гривы коней были украшены красными лентами. Группа по наряду и поведению была похожа на так называемых «дружек» богатой казачьей свадьбы. Они, заметив командный флаг у дома, где собрались кочубеевцы, внезапно осадил лошадей, и один из «дружек» поднял вверх руку с плетью.

— Ребята! Пора смываться, пока живы! — завопил он. — Измена кругом! Ты ее в двери, она в окно. Сороке кишки выпустили, налетели коршуны-комиссары, мотали бы мы их душу, кишки...

— Стой, стой, горлодер! — перебил его Игнат, прикрывая ладонями уши. — Я шо-сь в твоих кишках запутался. Где измена?

— Поезжай в Невинку. Пусть у меня глаза повылазят, собирают комиссары казаков! Дают им винты, коней, пулеметы. Измена!..

Люди в гайдамацких шапках исчезли. Снова ползли обозы, орудия.

Во дворе штаба у колодца поскрипывал журавль, болталась на журавле деревянная бадейка-цыбарь. Бадейку и водопойные корыта, точно жиром, затащило льдом. Фуражир Прокламация, крикая, колот дрова. Бесплодное грушевое дерево больше не привлечет крикливую воронью стаю. Спилит дерево фуражир под самый корень,

* * *

Когда Рой докладывал Кочубею о положении дел на фронте, в хутор вступала пехота. Впереди шагала сивоусый командир. Четыре гармониста лихо растягивали мехи двухрядок:

Ой, при лужке, при лужке,
При счастливой доле,
При знакомом табуне
Конь гулял по воле...

Командир батальона был в овчинной шубе, в рыжей бараньей шапке. Сбоку висели казацкая шапка и наган. За спиной винтовка. Батальон двигался «пешим по-конному», в звеневых колоннах. За гармонистами шли лучшие песельники. Сам комбат лихо высвистывал, заложив в рот четыре пальца. Лицо его было красно от натуги. Комбат свистел не хуже Соловья-разбойника, и глаза его весело щурились. На поясе его болтались побелевшие от мороза бомбы, похожие на водочные полбутылки.

Чи не выйде моя милка
С черными бровями...

На этом месте командир махнул рукой. Гармонисты мигом смолкли. Песня оборвалась.

— Стой! Вольно! Можно закурить.

Комбат степенно зашагал к штабу. Оправив густые усы, шагнул в горницу.

— Явился в распоряжение комбрига Кочубея командир батальона Петр Кандыбин, — козырнув, отрапортовал он.

— Отец! — подмигнул комиссар Кочубею и, подойдя, подал старику руку. — Здоров, отец, давай поцелуемся.

Отец отстранился, насупился:

— Здравствуйте, комиссар. Выйдем, комиссар, в теплушку...

Кандыбин направился за отцом. Кочубей переглянулся с Роем.

— Семья! — улыбнулся Рой.

В черной хозяйской половине Кандыбин-отец, плотно притворив за собой дверь в горницу, попросил хозяйку пойти проветриться. Хозяйка, забурчав, накинула шаль, вышла. Старик заглянул на печь, под лавки, заметив поросенка, выгнал его, и, накинув у двери крючок, медленно приблизился к сыну, и точно залокотал ругательствами.

— Отец, что с тобой? — удивился комиссар.

— Что со мной?! — наступая, шипел старик. — Еще он спрашивает, что со мной, ах ты... херувим какой!

— Что ты, отец, заикаешься, точно контуженный? Говори делом. Не забывай — я комиссар, а ты ко мне придан в бригаду, — пробовал отшутиться Кандыбин.

Старик взъерепенился:

— Ты мне комиссар там, в горнице, при людях... а тут я тебе так бока накомиссарю... Не позволю над отцом комиссарить.

— Отец, давай, давай толком, времени нет.

— Хочешь толком! Сейчас, сейчас, — ядовито протянул старик, исподлобья оглядывая статную фигуру сына. — Станишников на подмогу революции звали?

— Кто?

— Да вы, комиссары, Ревсоветы...

— Ну, звали.

— Всех звали аль только помазанников?

— Всех, — еще не догадываясь, к чему клонит старик, ответил Кандыбин.

— Казаков и иногородних?

— Конечно.

— А в Невинке ты давно был?

— Признаться, с неделю уже не был. Всё на фронте.

— Так поезжай в Невинку да прихвати Кочубея! — выкрикнул старик. — Кровью сердце обливается...

— Что ж там, в Невинке? Может, расскажешь?

— И расскажу, расскажу, — нервно выдыхал отец. — Пришли казаки в Красную Армию, а их воен-

комат уже третьи сутки манежит, ни да ни нет не говорит. Пошумели на комиссара Наглов да Казашцев, он и завилял... Встречают ребята-отраденцы, жалуются. В заступу, говорят, пойдн. И перед кем в заступу? — обозлился старик. — Перед сыном, сопляком. Видать, мало я на тебе вожжей порвал.

— Да не шуми, батько. Я-то все же при чем?

— Ты-то казак? Казак. К себе доверие имеешь? Впдать, имеешь. Глянь, пашка серебром горит, маувер — как у Магомета Кушкова, черкеска словно на отдельском атамане. Кочубей казак? Казак. Тысяч пять небось у вас в бригаде казаков. Была измена? Молчишь, сукин сын. А почему ж тем недоверие? — Старик опустилс на лавку, отер пот ладонью, укорил: — Позоришь ты меня, Васька. Знай раз и навсегда: казак казаку не ровня!

Кандыбин полуобнял отца:

— Иди, разведи пока хлопцев по квартирам. А это дело мы выправим. Сегодня вместе с Кочубеем подадимся в Невинку. Зря ты меня только ругал, отец. Ведь и по-хорошему договорились бы.

— Вас без этого не проймешь. — Снижая тон и боязливо оглядываясь, добавил: — Да мы ж один на один, Васька. Почитай, никто не слыхал. Я парасюка — и того выгнал, ногой, да в сенцы... Я тоже не без понятий, Василь!

* * *

Последний взвод вновь сформированных батальонов покинул Невинномысскую. Потепенно затухали резкие звуки оркестра. Во дворе военкомата осталось шестьсот человек. Шестьсот казаков не получили оружия. Военный комиссар отдал приказ расходиться. Казаки построились и вызвали комиссара.

— Мы — казаки предгорных станиц. Нас позвал Реввоенсовет. Почему не берете нас в Красную Армию? — тихо спросил комиссара вышедший из рядов казак, подпоясанный рушником поверх белой овчиной шубы.

— Нет надобности, — разводя руками, ответил комиссар. — В армию просили две тысячи. Мы дали. Больше надобности в пополнении частей нет.

Казак опустил голову, и все долго стояли так, понурившись, не говоря ни слова и глядя себе под ноги.

Крутилась снежная поземка, у коновязей жались приведенные казаками верховые лошади. Заняв почти квартал, стояли мажары и линейки. Жены казачьи, сойдя с возов, сгрудились во дворе.

— Ничего не могу сделать, — точно извинялся комиссар, пожимая плечами, и поднял воротник.

Казак, говоривший от имени всех, медленно повернулся к шеренгам. На него подняли глаза выжидающе и как-то тоскливо. Бабы закусили концы платков и подшалков, и кое у кого блеснула слеза.

— Не хотят нас! Боятся... — резко отчеканивая слова, медленно произнес казак. — Что ж, товарищи станичники, докажем Советской власти свою идею. — Тут голос его задрожал и усилился. — Голые дерутся красные солдаты с кадетами, а идут морозы еще лютее. Снимай кожухи, станичники! Для Кочубей! Раз мы не нужны ему... скидай!

Бросил шапку об землю, быстро размотал рушник и первый кинул белую свою шубу на землю, овчиной вверх.

Вмиг комиссар был завален горой поддевок, шуб, меховых черкесок, стеганых, добротных бешметов. Верховод прыгнул наверх и, потонув наполовину в одежде, заорал:

— Кто смерз, поняй домой, там отогреют шкуринцы... Зажарят в своей хате... А я найду самого Кочубея...

Оратору не пришлось искать Кочубея. Кочубей и Кандыбин прискакали вовремя. Лошади дымили и тяжело поводили боками. Кочубей спрыгнул, передал повод черкесу и, растолкав баб, спокойно вышел на середину. Казак-оратор точно застыл и, не закрывая рта, следил за комбригом.

Кочубей внимательно оглядел всех, подозрительно остановил взор на куче сброшенной одежды, на комиссаре, передернул плечами, снял шапку, бросил ее себе под ноги, скинул башлык, пояс, сложил подле себя оружие, потом, быстро расстегнувшись, содрал с плеч поддевку и швырнул ее на самый верх кучи.

— Зараз давайте балакать в одном положении, а то одному будет жарко, другому холодно. Шо це такэ?

Все разом одобрительно зашумели, перебивая и стараясь перекрычать друг друга. Кочубей закрыл уши.

— Ярмарок! Это — не дело. Давай кто-нибудь один.

Из рядов выдвинулся сутулый казак в малиновом бешмете. Шум смолк. Много было здесь фронтовиков, и стремя в стремя проскакал казак этот с ними вместе по Курдистану, Туретчине, Персии. Имел двенадцать ранений и полный Георгиевский бант, но уважали еще больше его не за храбрость и отвагу, а за трезвость ума.

— Мы, казаки, и не рады, товарищ Кочубей, что казаками родились, потому что нет нам доверия от Советской власти, видим мы это, — сказал он, глядя в землю, точно вазорно было ему поднять глаза. — Узнали мы — неустойки на фронте, слышали — вовет и партия казаков на защиту Советской трудовой власти. Подседлали коней мы, кто пеший прибрел, кто на мажаре приехал, шашки на брусках навели. Пришли по зову партии большевистской. Нет у нас иной власти, как власть трудового народа... — поднял голову. — Недоверие мы нашли у Советской власти. Думаете: обманем, продадим? Так ли это, товарищ Кочубей? А? Пойми сам — захотели бы, давно с Шкуро гуляли бы аль с Покровским. Как до вас, так и до их дорог много, и гужевых накатанных, и балками, и тропками. Одернул нас комиссар. Не сказал прямо, а поняли мы его очень даже хорошо. Идите, мол, по домам, бог с вами. — Казак наотмашь ударил себя в грудь и повысил голос почти до крика. — Да как мы пойдем по домам, что скажем станице? Кинулись, мол, к своим, не засватали. Да что же делать теперь? Одно осталось — к белому в дружки идти, покумоваться с огнем да нагайкою. Ведь жизни иначе не дадут нам в станице! К кадету толкаете?

Кочубей стоял упругий и собранный, опустив руки по швам. Был в одной летней гимнастерке и неподпоясанный. Чувствовал себя постыдно осужденным, и торели уши от стыда, а кто, может, думал — от мороза.

Молчание длилось минуты, но долгим показалось оно, так много мыслей прокрутилось в голове, таких мыслей, что и в десятки лет не передумаешь.

Кочубей указал на одежду:

— А це шо? Барахолка?

Ответил первый оратор, почему-то стуча зубами:

— Пожертвовали для войска твоего, Иван Антонович, для верного,

Кочубей не спеша стал одеваться. Надвинулись казаки ближе, и ему стало тесно. Надел шапку, застегнул крючки поддевки, подпоясался, перекинул через плечо маузер, пашку, за спину алый башлык и, облизнув побелевшие губы, поднял руку.

— Разобрать шубы!

Одежда моментально была расхвачана.

— Становись! — повелительно скомандовал Кочубей.

Казаки мигом вытянулись в две шеренги.

— Смирно! По порядку номеров... рассчитайся!

Побежал гул расчета.

— Триста первый! — выкрикнул последний.

Кочубей, поглядев на комиссара, недовольно качнул головой. Остановил галдящих женщин властным движением руки.

— Товарищи земляки-казаки. Бывает и на старуху проруха. Прошу прощения, а вам за науку наше боевое спасибо.

Рявкнуло ответное «ура» и долго гремело, вспыхивая то там, то здесь, затихая и снова нарастая. Улыбался Кочубей, а к горлу подкатывался какой-то горячий комок.

— По коням! — пропел Кочубей, берясь за луку седла.

Те, кто привел верховых лошадей, побежали к коновязям, пешие бросились к подводам, выпрягали лошадей, надеясь в ближайшем бою добыть и оружие, и богатую кавалерийскую сбрую. Женщины целовали коням заснеженные горячие храпы и крестили мужей и сынов частыми, мелкими взмахами рук.

XXXII

Путь на Царицын, указанный в свое время Сталиным и Ворошиловым, путь, по которому ушла Стальская дивизия, удобный старинный почтовый тракт Ставрополь — Царицын, по которому могла быть выведена без потерь армия Северного Кавказа, теперь был отрезан. Предатель Сорокин, отказавшийся тогда от движения на Царицын, обрек боевые колонны армии на гибельный путь отхода. Теперь оставались две дороги: Моздок — Червленая — Кизляр — прикаспийскими степями до Астрахани и дорога на Владикавказ. Большинство частей одиннадцатой армии начало отка-

тиваться по первому пути — он вел в Советскую Россию.

Кочубей остался в арьергарде, прикрывая отступление. Бригада пополнилась приведенными казаками, и, кроме того, со всех сторон прибывали в бригаду казаки, бросившие обреченные станицы. По линии главной железнодорожной магистрали на Минеральные Воды белые встретили кочубеевскую конницу, готовую к бою, развернувшую крылья фронта — в Кубанскую область влево и в Ставропольскую губернию вправо.

Декабрьский мороз, жгучие ветры уже в течение недели истрепали людей и конский состав. Деникин наваливался свежими силами, подтянув кроме полков Покровского и Шкуро части генерала Шатилова, Драценко и Соколовского.

Кочубей стоял на ветреном кургане, силясь что-либо разобрать в снежных вихрях суркульской степи. Орудия били часто, настойчиво. Замолкая на одном участке фронта, ревели на другом. Гул не прекращался. Кочубей был худ, почернел; на бровях, ресницах намерзал иней. Комбриг ворчал, отворачивался, обмахивая лицо рукавом; Зайчик шатался под порывами ветра, грыз мундштуки, ронял пену на грудь, ноги, пена мгновенно замерзала. Казалось, грудь и ноги жеребца были покрыты хлопьями ваты. Вокруг Кочубея, на седых от мороза конях, грудились человек пятьсот его верных соратников — казаков и горцев. Посыльные сообщали о фронтовом прорыве. Рой указывал, что два офицерских батальона идут напролом. Кочубей готовился к личной атаке.

Появился Будков, организатор Выселковского полка, будущий начштаба Северного фронта. Будков выводил последние эшелоны и еле разыскал Кочубея.

— Иван Антонович, прикрывай. Одних больных сто тысяч, — сказал Будков.

— Раз надо, прикрою, — ответил Кочубей, не глядя на него.

На линии продолжительно и тревожно свистели паровозы. Будков исчез.

— Вася, — обратился Кочубей к комиссару, — шо-сь все хуже и хуже начинается заворощка, шо-сь Зайчик и то чует дурное... Поезжай, Вася, по фронту, подымай цепи в атаку...

В лицо кочубеевцам неслась мелкая колючая крупа. Спешенные сотни разворачивались под непрекращающейся ледяной сечкой. Бойцы закрывали лица, сгибались, ветер валил с ног. Кандыбин появился в цепи.

— Товарищ комиссар, невозможно идти!

— Что делать, товарищ комиссар?

Белые быстро приближались, подгоняемые ветром, стреляли. Белых не было видно, но кочубеевцы падали, и вокруг трупов курились злые визжащие завихрения.

— Немало хлопцев запишут бабы в поминанья, — ворчал Пелипенко.

— Товарищ комиссар, невозможно идти! — кричали бойцы, некогда прославившие свои имена на этом самом, пропетом визгливыми пулями, плато.

Кричали конники героической бригады и падали. Людей, не знавших чувства страха, побеждала природа.

Комиссара валило с ног. Лицо до крови было побито ледяным дождем. Белые были близко. Методическая стрельба противника выкашивала кочубеевцев. Белые шли, вооруженные трехлинейными винтовками и пулеметами Виккерса и Гочкиса, одетые в замшевые безрукавки английских офицеров, в теплые белые и добротные заморские шинели. На ногах у них скрипели в мерном шаге великолепные ботинки с альпийскими шипами, не дающие возможности поскользнуться на этом обледевшем кубанском плато.

С ними состязались спешенные кубанские казаки в разбитых сапогах, в истрепанных черкесах, в нагольных овечьих шубах.

Комиссар увидал: еще немного — и дрогнет бригада, еще немного — и будет сломен фронт, и беспорядочной толпой побегут люди. Что тогда остановит их?

Он позвал ординарца. Конь Абрек — подарок бригады — рвался из рук, пытаясь умчаться за ветром. Ему тоже невыносимы злая крупа и сквозняки плоскогорья. Комиссар поскакал вдоль фронта, и визг пуль потерялся в свисте метели и карьера.

— Комиссар, невозможно идти!

— Вставай! — заорал Кандыбин, и вид бесстрашного всадника породил бодрость. — Товарищи, смерть или победа! — зовет комиссар.

Из серой метели вырывается Кочубей. С ним Ахмет, Левшаков, Рой, Володька и еще десяток всадников.

— Давай, комиссар! Давай грудь с грудью! — вопит Кочубей и пропадает.

— Смерть или победа!

— У-р-а-а!

Почему все громче и напористее слышно молодое, грозное «ура»? Комиссар поражен.

Ветер изменил направление. Крупа бьет в спину. Бойцы смахивают с лица ледяную корку, на ходу обирают с ресниц и усов сосульки, заряжают винтовки.

Снова мчится Кочубей. С ним партизанская сотня.

— Ломай кадета справа! Бери, комиссар, седьмую!

Конная седьмая сотня точно кует обледенелую землю. Полустанок. Водораздел позади. Вон там дальше впереди, в метели, угадывается Алексеевская. Будто гудит звонкий склон. Противник ведет быструю стрельбу горными пушками. Часто рвутся снаряды, лопааясь, как елочные хлопушки, в этом урагане звуков.

— Вперед! — кричит Кандыбин.

Близко рванул землю снаряд. В лицо ударили гарь и дым. Острой болью зажгло колено. Абрек рухнул. Осколок выдрал коню горловину. Хлынула кровь. Абрек откинул голову. Комиссар, ругаясь, освободил из стремени ногу. Попробовал подняться, упал. «Проклятый ветер!» — пробормотал он, стиснув зубы. Снова напрягся, поднялся рывком и свалился вниз, широко раскинув руки.

Что радость победы, когда погиб комиссар! Наваливались грозные шквалы, выхватывали лучших, заполнялись ряды такими же смелыми и доблестными. Ничто не могло сломить бригаду, но весть, полыхнувшая в этот выюжный день, ударила болью по сердцам кочубеевцев.

— Товарищи, убит комиссар.

— Седьмая сотня, отрядненцы, убит комиссар на Алексеевской круче!

Кочубей повернул и мчался, припав к жесткой гриве. Ветер бил снова в лицо, и буран прорезался кочубеевским галопом, словно пикой, брошенной сильной рукой. Кочубей подбежал к комиссару, скользая и падая, и, бросившись на колени, приподнял тело своего друга:

— Васька... комиссар... як же так?

В грозное каре строились спешившие со всех сторон бойцы. Противник бежал, а бригада не могла зарываться в тылы.

— Снарядом. Конь убит, — перелетали слова к задним. — Хочет говорить комбриг!..

Кочубей встал и закричал молодого и торжествующе:

— Бригада! Жив комиссар!

То ли буря, то ли крики.

— Тачанку, бурки, докторов! Карьером в Курсавку, — распорядился Кочубей.

Ушла тачанка с комиссаром. Комбриг сунул дуло маузера в ухо еще живого Абрека и пристрелил его. Туго затянул башлык и, повернувшись, увидел плотную стену кочубеевцев.

— Чего нужно сотням? — коротко бросил он. — Что нужно товариству?

Выдвинулся тогда вперед седой, уважаемый всеми Петро Редкодуб, казак с далекой линии из-под Тихорецка, и сказал от имени всего товариства:

— Мы ценим своих командиров, знаем их храбрость и воинские достоинства. Избрали мы командиров давно и ни в ком почти не ошиблись. Никто не продался кадету, никто не струсил в бою, никто не запятнал изменой или черной корыстью имя красного бойца. Но плохо одно, товарищ командир бригады: что ни бой — роняют острые клинки лучшие из лучших. Под Невинкой — Михайлов, сейчас — комиссар, да и десятки других под Суркулями, Папшиной, на Кубани, Урупе. Что ж, не верит бойцам комсостав, кидаясь всегда вперед? Что же, не хватит нам, бойцам, своей доблести и силы? Так зачем командиры обижают нас? Требуется бригада: руководите нами, не кидайтесь впереди всех. Нас много, а вас, командиров любимых, немного осталось к этой зиме...

Хотел мало сказать седой Редкодуб, а сказал много. Кричал уже надрывно последние упреки он, чтобы переорать бурю. Внимали ему бойцы, и передние передавали слова его другим, и перекатывалась рокошущей волною речь Редкодуба как нерушимая присяга.

Кочубей был растроган. Приблизился к Редкодубу, пагнул его голову, расцеловал. Ничего больше не добавил. Прыгнул на коня, и прозвенела крылатая кочубеевская команда:

— Вдогон за кадегом, хлопцы! Напоим коней в родной Кубани, быть может, в последний раз!

— Вдогон! — пролетело по сотням.

— Напоим коней в родной Кубани!

Сотни развернулись в лаву. Попутный порывистый ветер как будто нес их вперед и вперед. С гребня зарокотали пулеметы. Возле Пелипенко рухнул казак и покатился, гремя винтовкой и шашкой. Сотенный завернул крыло лавы в ложину.

— Сбоку ударим, — решил он, — без хитрости не избежать великих потерь.

Кочубеевцы нырнули в мерзлую падину, промяли бугристые сугробы и вырвались по ледяному склону.

У трехногих пулеметов острели башлыки. Пелипенко увидал, как от пулеметов отлетали черные гильзы, моментально заметаемые снегом.

— Ура! — рявкнул он.

Сотня обрушилась на пулеметчиков, встретивших их, огнем из наганов.

С фланга появился приземистый всадник: это был Рой на своем низкорослом иноходце.

— Выбивайте офицерскую роту из того вон леса, — приказал Рой, сблизившись с Пелипенко и скача с ним рядом. — Никак не сломит их пятая сотня. Гнать до самой Кубани. Приказ комбрига...

Рой пропал. Пелипенко ударил по леску...

...К вечеру по холодной реке поплыли фуражки с кокардами,плыли и офицеры, хрипя и окунаясь. Перерезали течение лошади, ошалело прядая ушами. Мало кто ушел на ту сторону в тот памятный день.

Проваливая кромку прибрежного льда, прыгая от укусов ледяной водоворотной струи, жадно глотали кубанскую воду моренные боем кони кочубеевской конницы.

| * * * |

Кочубей позвал Батышева. Хмурясь и словно стесняясь, грубовато приказал:

— Ты, Батыш, кажись, в курсе комиссаровых выдумок, jakie-то там групповоды, политруки. Может, кого убило. Погляди, поставь другого, подобного на то место... Шоб было то же, як и при Ваське. Не ломай его обычая, товарищ Батыш. Тяжкий путь впереди. Мо-

жет, кто нюни распустил, цыцьку запросит. Хай комиссарцы, для примеру... А посля мне доклад сделаешь,

* * *

Кочубей последним оставлял штаб — горницу суркульского дома. По пути приказал Левшакову захватить попавшуюся ему на глаза большую сковороду. На ней застыл белый жир и кусочки недоеденной колбасы. Адъютант пучком соломы смахнул жир, оглядевшись, сорвал с печки пеструю занавеску и завернул в нее сковороду. Хозяйка кинулась к Левшакову, браня его за самовольство. Левшаков отступил, погрозил ей пальцем, вытащил николаевскую десятирублевку и, вздохнув, протянул ее хозяйке. Хозяйка не брала деньги. Похрустывая в руках этой радужной соблазнительной кредиткой, Левшаков сказал:

— Бьют — бежи, дают — бери.

— Все одно ж бросите сковородку, — сетовала хозяйка.

— Вернем, ей-бо, вернем, — уверял Левшаков. — Ожидай днями обратно. Какая ж у меня будет кухня без сковородки!

Адъютант, величественно сунув деньги, направился к выходу. Кочубея не отпускали ребятишки, хозяйский сынок и его сверстник, ребенок убитого шкуринцами сухорукого хуторянина. Дети вцепились в Кочубея, и тот тщетно пытался оторвать их цепкие ручки от своей шеи и колен.

— Не пустим, не пустим! — повторяли ребята.

— Да пустите вы, шпингалеты, — смущался комбриг.

— Не пустим!..

— Я ж вам гостинцы привезу, — уговаривал он, глядя их спины.

— Ты обманешь, ты совсем уедешь, — не сдавались ребятишки, и один из них, тот, что был на руках Кочубея, пытался скинуть с него папаху, очевидно считая, что тогда он не сможет покинуть их.

— Гляди, Левшаков, — подморгнул Кочубей, — мабуть, и в самом деле надо вернуться сюда, хоть из-за этих парасюков?

Хозяйка, всегда недовольная и бранчливая, утирала передником слезы.

* * *

Бригада постепенно выходила из боя.

На тавричанской тачанке, расписанной цветами, везли Горбачева. Старшину ежеминутно поил из пузатого синего чайника фуражир Прокламация, впервые попавший на фронт.

— Миллиен кадетов обходит со всех сторон! — поднимая чайник, выкрикивал фуражир.

Он уже не гордился своим боксовым картузом. Голова фуражира была повязана серым башлыком, обшитым красной тесьмой. На руках его были квадратные брезентовые варежки, из которых торчали клочки шерсти.

Володька протиснулся к тачанке. На ней сидело столько бойцов, что колеса скрежетали по крыльям.

— Горбачев, как же тебя? — спросил Володька, наклоняясь к нему.

Горбачев скривился, отхаркнулся кровью:

— Видать, слепую кишку продырявило. Пуля там сидит, Володька. Чую — катается как в порожней бутылке...

Горбачев откинулся, привлекая к себе Володьку.

— Попрошу у доктора вытянуть пулю, — захрипел он, — на шо-сь сменяю.

Это были последние слова старшины. Не дотянув до Курсавки, отошел старшина третьей кочубеевской сотни.

* * *

Пелипенко, командуя седьмой сотней отрядненцев, сдерживал напор белых там, где пылали соломенные Суркули, подожженные снарядами противника.

Бригада отступала в звеньевых походных колоннах.

Засвистали казаченьки
В поход с полуночи...

Кочубей, чувствовавший последнее время недомогание, поднимался в стременах, оборачивался, вслушивался в шум арьергардного боя, зябко кутался в башлык и, подворачивая распахиваемые ветром полы бекеши, шептал:

— Заболел, чи шо? Шо-сь спина стынет.

Громко приказывал:

— Ахмет, поколоти меня по спине кулаками.

Ахмет колотил по спине командира, и в глазах его была заметна тревога.

Не плачь, не плачь,
Моя Марусенька,
Не плачь, не журился,
А за свою казаченька
Богу помоляся...

— Добре поют, — шептал Кочубей, — добрые казаки. Мутузят, мутузят их, як коноплю об трепальницу, а они все распевают. Добрые казаки!

Усиленно стегая лошадей, к голове колонны добрался хмурый подводчик. Дороги-пароконки подпрыгивали на кочковатой, мерзлой обочине. На повозке лежали тифозные и раненые, укрытые плотным войлоком. Рядом с подводчиком, спустив ноги на дышло и на барки, сидела женщина в белой овчинной шубе, закутанная махровым полушалком. Полушалок был стянут, для удобства, по лбу ситцевым платком. Когда дороги поравнялись с группой комсостава, ехавшего в голове колонны, женщина, привстав, громко окликнула комбрига. Начальник штаба узнал голос Натальи, толкнул комбрига, и они оба оставили строй.

Дороги мешали движению обозов, идущих в три ряда. Кочубей, взяв упряжку под уздцы, отвел прочь дороги. Наталья приподняла войлок. Под войлоком стонала Настя. Кочубей осторожно раздвинул края платка, закрывавшего ее лицо:

— Вот так фокус! Всегда такая здоровая. Як же ты, Настя?

Тиф только начинался. Глаза Насти были красны и слезились. Она, силясь приподняться, горячо выдохнула:

— Больна, Антонович. Не знаю, как и захватила.

— И вы, хлопцы? — обратился он к бойцам, накиданным на тесной подводе.

— Захворали, товарищ Кочубей.

В их словах, в самом тоне чувствовалась какая-то виноватость, точно просили они извинить их за дурной, но от них не зависящий поступок.

Кочубей опустил войлок. Войлок намерз и не гнулся. Кочубей подвернул край под солому, провел ладонью по войлоку. Ладонь повлажнела.

— Трогай! — приказал он.

Подводчик сердито дернул вожжи, бурча, начал круто поворачиваться, чуть не вывалив людей.

— Перекинешь! Черт! — вспыхнул Кочубей. — Видишь, други-товарищи больны да поранены.

Подводчик, привстав, подстегнул лошадей. Наталья оставила Роя и догнала повозку. Девушка казалась толстой и неуклюжей в шубе, валенках и шали. Она торопливо подбежала к дрогам и на ходу, нагнувшись, что-то говорила Насте.

— Милосердная сестра, давай до строя, — позвал Кочубей.

Рядом с Ахметом топтался заводной комбриговский Ураган, подведенный для Натальи. У Урагана обтянуло мослы, шерсть погустела к зиме и взъерошилась.

Наталья махнула рукой, и ветер донес ее звонкий окрик:

— Да поезжайте вы! Догоню!

Кочубей и Володька поехали шагом. Партизанский сын вначале согнулся, уткнув замерзающий нос в башлык, потом оглянулся. Позади угадал в молочных силуэтах Роя и Левшакова, очевидно поджидавших Наталью. По тракту стучала артиллерия. Гарцевал Кротов на кобылице с коротко подстриженной челкой. Кротов весело покрикивал и перешучивался с ездовыми. Лошади в орудийных выносах и зарядных ящиках были сытые. Начальник артиллерии перед отступлением добыл коней в богатых Роцинских хуторах.

— Пушки все вытянул? — спросил Кочубей, поравнявшись с Кротовым.

— Чуть-чуть, да не все, — бойко ответил Кротов, — одна осталась в заслоне. Еще подпустим кадету шлею под хвост, товарищ Кочубей, будьте уверены!

— Добре, Крот, добре, — похвалил комбриг.

Кочубей кутался. Тихо приказал Володьке:

— Володька, смотайся в хвост, узнай, как там дело. Кликни до меня Батыша.

Оборачиваясь к Ахмету, добавил:

— Шо-сь все стыну и стыну. Как льду наглотался. А ну, поколоти ще меня в спину кулаками.

— Шо-сь скучный батько, — говорили в сотнях. — Может, занедужил. Может, тиф.

От хвоста колонны в голову скакал Батышев. Не-

много поостстал Володька. Бурка не по росту надувалась и мешала ему. Володька ухарски гикал, и радовались бойцы, глядя на неугомоного партизанского сына.

От острого взгляда Батышева ничто не ускользнуло. Видел он подмороженных и прихрамывающих коней, раненых, не покинувших строя, слишком легко одетых людей, обмороженные и почерневшие лица. Обо всем надо доложить беспокойному командиру бригады. Знал Батышев: ломает сышняк Кочубей, и вторые сутки сгорает в седле комбриг от страшного жара и озноба. Доложить ли о семнадцати убитых в сотне Пелипенко? Не утаишь такой беды. Везут, перекинув в седлах, ломкие трупы сраженных. Не миновать хоронить их наспех в Куршаве.

— Гляди, у Батышева новая шапка! — удивлялся боец — хумаринский шахтер с невеселым выражением глаз.

— То шапка Михайлова, клинок Шемахинского хана, — поправил соседа по стремени седой Редкодуб.

— Передал батько шашку Михайлова Батышеву, и вырезали в Пятигорском ювелиры на клинке Кочубеево слово, — добавил третий, повернувшись к ним.

Ветер мел от Куршавы снег. Дома еле угадывались. Громоздился молочный силуэт колокольни.

— Какое слово вырезали в Пятигорском городе? — любопытствовал шахтер.

— «Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай», — отвечал гордо Редкодуб.

— Знал батько, кому такое сказать. Не будет ошибки. Остался Батышев и за комиссара, и за Михайлова.

Батышева давно не видно. Бригада втягивалась в Куршаву для короткого привала. Доносились привычные звуки артиллерийской стрельбы.

* * *

В Куршаве Батышев собрал коммунистов. В прохладной горнице обширного дома, на ходу, не раздеваясь и не присаживаясь, приняла партийная часть арьергарда тяжелое решение: оставить беженские обозы, семьи в Куршаве. Тысячи подвод стесняли маневренность и гибкость. Бойцы зачастую отрывались в

обоз. Добывали фураж для скотины. Беспокоились за скарб. Обозы беженцев сковывали бригаду.

— Приказ Реввоенсовета задержать противника должен быть выполнен, — сказал Батышев. — Разойдитесь по взводам и сотням и донесите решение наше до бойцов. Пустить на распыл армию или семьи?.. Знаю, будут шуметь хлопцы. Пример покажите.

Батышев нахмурился:

— Мои, жена и прочие, тоже дальше Куршавы — ни шагу. Кочубей всю семью на кадетов доверил. Чучулиных, слухи были, уже порют в Ивановском селе. Поняли?

Молча расходились коммунисты. Много говорить — время терять. Отвязал коня от забора Свирид Гробовой и пропал в серой улочке. Играли горнисты поход, торопился Свирид к своей сотне. Близко грохотали орудия; казалось, в стальное кольцо заковывалось горло арьергардной бригады.

— Передать по колонне: семьи оставить в Куршаве.

— Семьи оставить в Куршаве.

Перекачивался по выступившей колонне приказ командира части. Кое у кого колотилось сердце, вспоминались давно оставленные семьи, очень далеко от этой метельной Куршавы. Что с ними? Перекидывалось по колонне слово, возвращенное из обозов:

— Передать в голову: в обозе семья комиссара.

— В обозе семья Кандыбина, передать в голову колонны.

У Роя дернулся левый ус и насупились густые седые от инея брови. Он медлил, окинул взглядом непроглядное небо, угадывая обильный лишениями путь, и, сгибаясь, сказал Кочубею:

— Комбриг, речь идет о семье комиссара. В обозе его мать, сестра, брат... Батышев сказал, всех оставить...

— Батько комиссара с ними? — искал выхода комбриг. — Может, старик вытянет семью в мужичьи села и там перебудет, пока мы вернемся?

— Отец комиссара — командир приданного нам батальона, он коммунист, он не останется, — сообщил начальник штаба.

— Ну и семья! — будто недовольным голосом проворчал комбриг, и с минуту длилось тягостное молчание.

Левая рука Кочубея — без перчатки, посиневшие пальцы порывисто теребят повод. Рою была понятна борьба в душе комбрига, он сочувствовал ему, и горячее чувство любви к Кочубею заливало сердце Роя. Комбриг скрипнул зубами, выкрикнул быстро и раздраженно:

— Оставить все семьи в Куршаве!

— Передать по колонне: все семьи оставить в Куршаве.

Двенадцатилетний Кандыбин, шлепая по худой спине лошади вожжами, по-мужски грубо покрикивая на усталую коняку, выехал на обочину. Спрыгнул с узкого рундука, перегруженного домашним скарбом.

— Мама, ты не спишь?

— Нет, сыну, мне так затихней.

Мимо постукивали тавричанские брички со снарядами, провиантом, схватывалась поземка, и согбенную спину матери обведали пушистые струйки снега.

— Все семьи остались в Куршаве, — передавалось исполнение приказа.

Может, и билась где безутешная мать или жена, заливая стремя слезами, но в партизанской сотне не так.

Поднял к седлу Свирид Гробовой пятилетнего Федора, закутанного в овчинную шубу, поцеловал в губы. Федька вырвался, недовольный и драчливый:

— Батя,пусти,задушишь.

Отпустил сына на землю взводный Свирид Гробовой, прикоснулся губами к пухленькой щеке.

— Прощай, Федька. Батяко помнить будешь?

— Буду, — махнул тот непомерно тяжелым рукавом.

Рядом — жена взводного Агафья, серьезная, только кусает губы.

— Будет тебе, Свирид, не расстраивай Федьку, — сказала она.

— Федька, парасюк, дай другую щеку, — нагнулся Свирид.

— Она такая же, батя... — отмахнулся мальчонка. — Прощай, батя, привези гостинца.

— Привезу... Прощай, Гашка!

Последний скромный и стыдливый взгляд жены. Последний поцелуй. Мимо проходили сотни.

Заплакала Марусенька
Свои ясны очи...

Свирид Гробовой догнал головную сотню, пристроился впереди своего взвода. Заметив, что все заняты своими думками, оглянулся... но разве увидишь оставшихся за метелью?

* * *

Командарм выводил армию из пределов Кубани на Терек. Кочубей, выделив часть конницы, охранял идущие на Георгиевск — Моздок поезда, нагруженные ранеными, больными и армейским имуществом. Мелкие отряды Шкуро прорывались к магистрали, но напарывались на клинки кочубеевской конницы. Голова Кочубея повышалась в цене с каждым сутками, пока сумма, обещанная белыми за его голову, не достигла настолько внушительной цифры, что, по всей вероятности, не хватило бы и тех «двух чувалов грошей», о которых любил говорить Кочубей.

XXXIII

Как ни крепился Кочубей, его окончательно сломила болезнь. Бригаду в Георгиевске принял Батышев.

Кочубея, черного от тифа, донесли на руках бойцы до поезда. Это был последний зпелон, уходивший из города. Приняли комбрига на залепленный снегом тендер. Мест больше не было. С комбригом взяли только Ахмета.

Поезд пополз к станции Прохладной.

— Где мои хлопцы? — метался Кочубей. — Где бригада?

— Бригада бьется с кадетом, — отвечали ему.

— Где комиссар?

— Комиссара повезли в Моздок, — успокаивал Кочубея Ахмет, укутывая его.

Ахмет согревал его своим телом, и Кочубей засыпал.

Согласно приказу Кочубея бригада отступала вслед за поездом. В дороге Кочубея перевели в вагон: туда влезали оборванные, исхудалые друзья, сохранившие от прежнего блеска только оружие.

— Подымайся, батя, — хмуро просили они.

— Проклятая хвороба! — рычал Кочубей, слясь вскочить.

У изголовья больного оставался один Ахмет, и

нельзя было установить, когда спал этот преданный телохранитель Кочубей.

Свистела метель. Поезда тоскливо кричали. По сторонам магистрали двигались широкой лентой разутые полки, спутав знамена. Полязли обозы. Путь устилался трупами людей и лошадей.

* * *

В Моздоке в вагоне больного появилась Наталья. Она ввела Настю.

Настя не могла держаться на ногах. Покачнувшись, она свалилась. Наталья прикрикнула на Ахмета, и он помог перенести жену комбрига на кучу тряпья, сваленного в углу.

— Сестра милосердная, — тихо позвал Кочубей, — як там бригада?

— Батышев же в бригаде.

— Знаю, шо не Бабиев. Дерутся як?

— Дерутся, — ответила Наталья, — кремни ребята, высекают искру.

Наталья провела холодной от мороза ладонью по его отросшим за время болезни волосам.

— Поправляйся, комбриг. Сотни ждут.

— Не позабыли? — оживился Кочубей.

— Беспокойный ты, — будто журия, сказала Наталья и поглядела на Кочубея ласково.

Что-то материнское было во взгляде Натальи. Может, почуял это и Кочубей. Закрыв глаза, улыбнулся.

— Ну, не задерживаю, давай до фронта, — сказал он мягко.

— Прощай, комбриг. Прощай, Настя. Поправляйтесь.

Наталья прикоснулась губами ко лбу Кочубея, а Настю крепко поцеловала. Пошла к выходу. Из тамбура в распахнутую ею дверь ворвался холод, заключившийся паром под вагоном.

— Закрывай двери, — ругались бойцы, лежавшие на полу.

— Наталья! — окликнул вдогонку Кочубей. — Як Ураган?

— Хорош Ураган, — обернулась Наталья. — Если все с благополучием, то доскачу на твоём Урагане до самой Астрахани.



Вышла. Двери за ней захлопнулись.

— Я дурным конем не наградо, — вполголоса прошептал комбриг. — Ахмет!

— Я тут, — отозвался Ахмет.

— Надо спытать, Ахмет, у коменданта, як там шукают комиссара. Может, затолкли уже Ваську.

* * *

Кочубей медленно выздоравливал. Он рвался в бой. Бригада отошла от железнодорожной линии, борясь с врагом, и Кочубей тосковал по бригаде.

И тут пришла неожиданная радость. На носилках внесли в вагон Кандыбина в сопровождении этапного коменданта. Комиссар был худ, оброс бородой, ввалились глаза. Пошатываясь, подошел к носилкам Кочубей и начал разворачивать комиссара.

— Василь, як же тебя скорезило!.. Неужто это ты, мой комиссар?

— Я, Ваня, тиф у меня. Рана гниет что-то, — шептал беззвучно Кандыбин.

— Обмыть, одягнуть в чистую одежду, приготовить перины, — распоряжался Кочубей, сам еще еле держась на ногах.

Вечером подсел к комиссару. Обвел рукой обмерзшие, заиндевевшие стены вагона.

— Вот, видать, в этой хате поедем до Астрахани. А там полдела до товарища Ленина. Выведем ему начистоту все: як дрались, за шо дрались и до чего дошли.

Поезд тащился к Кизляру. Долгими ночами беседовали два друга.

— Вася, где ж тот сурьезный человек, шо выведет голоту на добрую дорогу? Где? — вопрошал Кочубей.

— Вон Батышев же выводит. Ты выводил.

— Ты больной, Васька, — досадовал Кочубей. — Батышевых да Кочубеев, як голышей в Кубани. Где сурьезный человек?

— Пойми, Ваня, — убеждал комиссар, — меня подвалило под Алексеевкой, Батышев стал на мое место. Ты слег — тоже не осталась бригада без присмотра, всех нас трех не станет — выйдут вперед другие. Выведут народ, не сомневайся, Ваня.

— Не то, не то! — отмахивался Кочубей. — Помню, як ты рассказывал за подковы да за рабочего. Там

было понятно, а тут туман, вроде я пеший блуждаю по Воровсколеской. А якие там туманы! Ой и туманы в воровсколесских ярах!

Кандыбин понял, что Кочубей все же задумывался над его словами. Значит, не пропали даром давние беседы.

— Помнишь, Ваня, речь Ахмета над могилой Айсы? Я тебе переводил.

— Эге, — тянул Кочубей и морщил лоб, пытаюсь догадаться, к чему клонит комиссар.

— Говорил тогда Ахмет: плохо человеку, если он один, даже пусть он будет орел.

— Эге, верно, — подтверждал Кочубей.

— Так и сейчас, Ваня. Худо одному, а когда много людей и все к одному стремятся, никто силу эту не поборет. Но когда много людей, Ваня, это еще не все. Поразбредаются в разные стороны и будут блуждать вроде в тумане, как ты говорил. Потому нужен штаб этим людям, армии. Без штаба, сам знаешь, какая война, — пойдут все кто куда... И штабом этим является партия большевиков-коммунистов... революционная партия рабочего класса. Без партии, Ваня, даже и рабочий класс — как армия без штаба...

Кандыбина утомлял разговор. Усиливался жар. Ноги были точно выскоблены, и в пустоту влит тяжелый горячий металл.

— Партия — все... Держись партии, Ваня. Сам же говорил, что весь отряд у тебя большевики.

— Верно! — радовался Кочубей. — Это моя думка.

— А большевики — это коммунисты, Ваня...

— А товарищ Ленин?

— Ленин тоже коммунист-большевик.

— Ты жаркий, Вася. Я сторел возле тебя, — говорил, отодвигаясь, Кочубей.

Потом опускал ноги с кровати, искал дрожащей ногой неуклюжие коты, сделанные из старых валенок.

— Ты тоже коммунист, Вася?

— Да.

— Батыш?

— Тоже.

— Пелипенко?

— Тоже.

Кочубей опустил голову и, закусывая губы, бормотал вполголоса:

— Ты меня ушиб, Васька. Выходит, я один на ме-

же, як бурьян. Обошли вы меня... Все коммунисты-большевики, все с Лениным. А я? Может, не примет меня Ленин? Не допустит до себя... Так я скину оружие и подойду до него босой, без маузера, без шапки. Расскажу ему все о себе...

Кочубей приник лбом к заиндевавшему окну, потом отстранился; на стекле осталось мокрое пятно. Снаружи к свисту ветра прибавлялись посторонние шумы — выстрелы, гул.

Кочубей порывисто, с хрипом дул в стекло, пытаясь разглядеть, что делалось снаружи. Отвернулся от окна со страдальческой гримасой.

— Яка беда, Вася! Бредут голые и босые други-товарищи... тучей... Як же так? А в Моздоке шинеля, снаряды, сапоги под кручу пустили. Грошей нема? Так два вагона грошей в Минеральных Водах пожгли. Вася! Дорогой мой Вася, да где же товарищ Ленин? Почему Ленина нема с нами, га?

Кочубей, шатаясь, вышел из вагона, орал, похудевший и страшный:

— Хлопцы, узнаете вы меня? Кто узнает Ваню Кочубея?

Опустив головы, проходили молчаливые, сосредоточенные тысячи. Никто не узнавал Кочубея. Да что за толк в одном человеке, размахивающем клинком у обочины этого страшного потока!

* * *

Когда поезд дотащился до станции Наурской, Кандыбина разыскал дружок Старцев — полевой комиссар армии. Тяготы великого отхода легли в известной мере и на его могучие плечи. Несмотря на это, Старцев был кипуч и энергичен. Он внес в тифозную обстановку вагона струю бодрости, силы, здоровья. Кочубей завистливо разглядывал этого здоровяка в меховой кавказской шубе, вооруженного маузером и карабином.

— Мне твое бы здоровье, Старцев, — мучительно сжал кулаки Кочубей. — Якое слово от тифа знаешь?

— Ничего, товарищ Кочубей, у тебя тоже, кажется, дела идут на поправку, — утешил Старцев.

— Яка там поправка! Больной я, — с трудом ответил комбриг и подозрительно спросил: — Что тебе надо, комиссар полевой?

— Думаю забрать Василия, — ответил Старцев. — Ты видишь, еле душа в теле, и сейчас даже меня не узнает.

— Иди, Старцев, — освиригел комбриг, приподымаясь. — Я хоть и больной, да еще в силах дать тебе тюху. Не отдам я комиссара. Сам довезу его до Астрахани.

Никакие уговоры не помогли. Старцев вынул полевую книжку, что-то размашисто написал, вырвал листок и передал Кочубею.

— Вот что, Ваня. Это адрес моей кизлярской квартиры. Как доберетесь до Кизляра, прямо ко мне. А там будет видно...

Кочубей зажал бумажку и опустил к полу бледную, исхудавшую руку.

— А як с подмогой, Старцев? — спросил он тихо и нерешительно. — Знает о наших делах Ленин?

— Слышишь, Ваня, — обратил внимание Кочубей Старцев на звуки марша, влетающие вместе с ветром через вентилятор, — на воле играют оркестры. Подходит Ленинский пехотный полк.

Кочубей оживился, сбросил одеяло, покачиваясь, поднялся.

— Погляжу, надо поглядеть, — бормотал он и, поддерживаемый Ахметом, вышел вслед за Старцевым из купе.

На станцию, ошеломленную и точно придавленную лавиной людей, поездов и обозов, вступали батальоны Ленинского полка. Они шли в колоннах по четыре, мерцая штыками, откованными пролетариями Ижевска. Воротники и рукава шинелей были обшиты черным сукном. Ботинки, обмотки. Серые высокие шапки из запасов царских интендантских складов. В этих шапках искусственного смушка сидели солдаты в пинских болотах, укреплениях Иксюля под Ригой, их видели Карпаты, Румыния, Эрзерум, Урмия, пустыни далекой Персии. Люди в таких шапках появлялись на грузовиках и бронированных машинах на улицах восставших Петрограда и Москвы. Они врывались в Зимний, спали на лестницах истоптанного ботинками мрамора, от них бежал Керенский...

Над шапками солдат теперь мерцали штыки красноармейцев. Яркие звезды, огромные и немного неуклюжие, точно вырезанные на левых рукавах шинелей,

ритмично двигались, поднимаясь и опускаясь в такт твердому шагу большевистской пехоты...

Кочубей был поражен. Своей непосредственной душой решил он, что Ленин услышал его тревоги и послал войско на помощь. Вырываясь от Ахмета, он распахнул дверку вагона, схватился за липкие от мороза поручни, загорланил:

— Хлопцы, я Кочубей! Завтра я сяду на коня и поведу вас в бой. Товарищи дорогие, ленинские солдаты!

Голос его сорвался. Кочубей согнулся в коленях, покачнулся. Его подхватил Ахмет:

— Никарашо. Давай в хату. Малако пить, колбасу кушать, силу брать. Все кричишь, уж теряешь... ай-ай-ай!

Полк шел мимо.

Кочубей кое-как доковылял до Кандыбина, неловко переступая через лежавших на полу больных. Навалился на комиссара, затряс его горячее тело.

— Василь! Великая радость! Узнал Ленин про нас. Прислал Ленин свою пехоту. — Кочубей сиял. — Вот бы мне эту пехоту, да мою кавалерию, да здоровья...

* * *

Потемневший от бессонных ночей, выносящий на своих плечах всю тяжесть отхода, чрезвычайный уполномоченный ЦК РКП(б) Серго Орджоникидзе перedal через лучшую радиостанцию фронта:

«Москва, Кремль, Ленину

...Ночью вопрос стоял покинуть всю Терскую область и уйти на Астрахань... Нет снарядов и патронов. Нет денег... Шесть месяцев ведем войну, покупая патроны по пяти рублей. Владимир Ильич, сообщая Вам об этом, будьте уверены, что мы все погибнем в неравном бою, но честь своей партии не опозорим бегством...

*Орджоникидзе
Владикавказ. 24 января 1919 года».*

Рация морского типа, монтированная на двуколках, подала в эфир шифровку. Начальник рации, коренастый человек с давно небритой бородой и впалы-

ми глазами, пошатываясь, вручил подлинник радиогаммы Серго.

Орджоникидзе поглядел на калоши начальника радиции, подвязанные веревками, взял радиогамму, благодарно кивнул и, задумавшись, прикрыл глаза...

— «Честь своей партии не опозорим бегством», — прошептал он, как клятву партии, последние слова шифровки.

К Орджоникидзе приходили командиры частей. Владикавказ готовился к обороне. Орджоникидзе готовил отпор. Отпор у Владикавказа задержит продвижение белых, отвлечет их от преследования одиннадцатой армии.

Из горной Дигории шли на боевые участки конники-корменисты. К городу приближались волчьи сотни Шкуро, многочисленная конница Султан-Гирея и Бабиева. Владикавказский район готовился к отражению штурмов. Укреплялись ворота города — село Христианское. Горцы знали Орджоникидзе — это был родной им и понятный человек. С запада шел Деникин, и все знали, что Деникин друг князей — бадеятов. Приходили женщины-горянки, рыли окопы, выносили в больших широкогорлых кумгалах сыпучую мерзловатую землю. От Немецкой Колонки до Лысой горы город ооясывался траншеями. На фронт молча направлялись вооруженные рабочие города, шахтеры Алагирских рудников. Под ружье стала авиационная рота, после геройски погибшая на баррикадах. На подмогу Владикавказу подходил Ленинский полк, встреченный Кочубеем в низовьях Терека.

XXXIV

Между Кизляром и Червленной-Узловой раскалывался, потрясенный небывалыми взрывами, воздух. Рвали фугасами составы с флотилией, перевозимой в Каспийское море, снаряды, тяжелые орудия, которые не могли стать на конную тягу.

Это было только начало. Еще не было приказа об оставлении Кизляра, но в прикаспийскую степь, отрываясь от железной дороги, уходило больше двухсот тысяч людей; из них половина — кубанские казаки.

Шпионы, агентурная разведка белых пускали панические слухи, раскидывали прокламации. Генералы звали казаков к себе. Листовки были тонко составле-

ны, с расчетом воздействия на психологию измученных и истощенных людей.

Почти никто не оставался. Редкие одиночки трусовато убредали или пережидали поток. Уходили к Советской России лучшие, смелые с сознанием правоты своего дела.

Увязав в мешки скудную пищу, упорно двигались бойцы. Вот прошел отряд казаков-пластунов и шахтеров, сбитый в регулярную часть. Люди пытались идти в ногу. С подветренной стороны колонны шагала женщина в шинели, с винтовкой. Она опустила голову и почти ничем не отличалась от своих соратников-мужчин. Она вместе с ними дралась под Кизляром с грбенским богатым казачьем. Под сердцем у нее все настойчивей и напористей ворочался ребенок, зачатый в столь бурное время. Их отряд поредел. Сто двадцать человек погибло, отражая первые попытки захвата Кизляра. Тогда же был убит Ураган — табунный жеребец Кочубея. Рядом с Натальей шел бородатый солдат, увязав в мешок лепешки, замешанные на чихире. Патронные подсумки были пусты. Солдат освободил от дополнительного груза женщину и нес кроме провизии деревянную баклагу с вином. Впереди не было воды. Кизлярское вино заменит воду; вода превратилась бы в лед. У Натальи у пояса колотился узелок с приданым, которое добыл Рой будущему сыну. Никто не знал, да и не интересовался, с чем уходит в прикаспийскую степь их товарка.

Люди ехали, шли, уползали. Еще не знали они, что прозвенят о них славные песни, что пройдут по базарам и ярмаркам Кубани и Терека слепцы бандуристы, воспевая доблесть казачью. Пронесут они из станицы в станицу, от аула к селу, по берегам горных рек Лабы, Урупа, Белой, Зеленчуков, к самому безбрежному Черному морю и далее певучее, за сердце хватающее и гордое слово о лучших из буйной казачьей вольницы.

Кочубеевцы, отшвырнув белых в районы хребтовой гряды Сулу-Чубутля, подходили к Кизляру вдоль линии железной дороги. Бригада, оставив Святой Крест, Прикумье и Мовдокскую низменность, смыкалась на основном кизлярском направлении. Широкий фронт угрожал поражениями. Батышев собрал части в кулак.

Бригада отходила долиной Терека, обезопасив правый фланг естественной преградой — песчано-бугристой полупустыней Западного Дагестана.

Трескучий «фарман» белых появился над частями, пользуясь установившейся ясной и даже солнечной погодой.

Кто-то прямо с седла начал стрелять по осторожному, высоко парящему аэроплану.

— Чего пугаешь завхоза? — останавливали его.

— Он еще бумажки притащит на цигарки! — пошутил Пелипенко.

— В калмыцком степу навозу много, а бумажки чертма. Эх ты, несуразный! — укорил стрелявшего усатый казак, покачиваясь на низкорослой бодрой лошаденке, навьюченной саквами¹ с зерном и пухлыми сетками с сеном.

Блеснув крылом, аэроплан повернул в сторону Моздока. Над бригадой забелели прокламации.

Крепко сжал губы казак коммунист Батышев, перехватив в воздухе белогвардейскую бумажку:

«Казаки, опомнитесь! Вы идете на верную смерть. Впереди вас встретят сыпучие пески, безводье, морозы, а позади вы найдете всепрощение. Вас встретят семьи ваши хлебом, лаской, и радостно будет ваше возвращение. Мы возвратим вам былую славу казаков, и на берегах многоводной Кубани и шумного Терека запоете старинные ваши песни. Мы простим вас и примем, как блудных сынов. Но если вы не послушаетесь, то пеняйте только на себя. Ваши дома и имущество будут преданы огню, а семьи — позору. Вас заклеят в веках как изменников и предателей казачества».

Так писали генералы.

Батышев подал сигнал построения в резервную колонну. Загудели, собираясь, выстраиваясь вокруг него, сотни кочубеевской бригады, чтобы послушать своего командира.

— Уходим мы ненадолго, — зажав в кулак прокламацию, погрозил Батышев. — Мы скажем подлому врагу: не упадем на колени перед вами. Мы вер-

¹ Саквы — кавалерийские сумы для зерна. Часть боевого походного вьюка.

немся победителями и заставим вас держать ответ за все, сделанное семьям нашим, за все, сделанное во вред республике нашей.

— Мы им еще покажем, как рубаются кубанские казаки, — бормотал Пелипенко, будто зная, что пройдет немного времени, и через ворота Ростова прорвется он на родную Кубань. Хлынут за ним буйно-пенной волной две тысячи всадников его бригады. Будто знал Пелипенко, как пройдет он во главе пяти тысяч острых клинков по Украине, Белоруссии, Уманщине, Польше, вломится в Крым и будет долго еще кружить быстрым соколом. Не мечтал даже сейчас Пелипенко, стоя в преддверии великой и страшной пустыни, что замерцают на его просторной крутой груди дорогие ордена за храбрость и беззаветное мужество во славу трудящихся великой и могучей страны.

— Не отгрызть кадету нашей головы, подавится! — весело выкрикнул Пелипенко. — Веди нас, Батыш, бо, говорят, заходила белая разведка уже до самого Черного Рынка. Не откусили б хвост у армии письменные генералы.

* * *

С Каспия вперегонку неслись бураны. Мелкая снежная пыль не успевала улечься на землю. Передвигались сыпучие пески по астраханской пустыне, и не было в воздухе и на земле в те дни покоя.

В восьми километрах от Кизляра, конечного пункта железной дороги, в вагон Кочубея вошел представитель двенадцатой армии.

— Придется выходить, — предложил он. — Мы взрываем составы.

Кочубей подозвал его.

— Я Кочубей, командир бригады заслона, — раздельно произнес он, впервые поименовав себя по должности. — Як же так? Я везу в Астрахань больного своего комиссара. Он же на коня еще не сядет. Як же так? Ай-ай-ай!

Он облизнул сухим языком запекшиеся губы.

— Нельзя, товарищ Кочубей, — козырнул представитель. — Приказ Реввоенсовета.

— Слухай сюда, — зашептал Кочубей, еле сдерживая гнев. — Паровоз тянет полсотни вагонов по

рельсам. Припряжи еще пять паровозов и тяни мой вагон до Астрахани по песку...

Представитель улыбнулся, пожал плечами, и по его лицу Кочубей понял, что этот план неудачен.

Кочубей вышел из вагона. Лично достал тачанку, лошадей, положил полтора пуда любимой колбасы, бочонок чихири, сала, хлеба. Посадил на тачанку фельдшера и с ним Кандыбина, сгорающего от высокой температуры. Оправил комбриг подушки, сошел с тачанки, заколыхались рессоры.

— Так добре, — обойдя еще раз тачанку, сказал Кочубей. — Катай, комиссар. Передавай поклон товарищу Ленину. А я подамся смерти шукать.

Грустно улыбнулся.

— Скажи Ленину, шо сложил Ваня Кочубей, большевик-коммунист, голову за нашу общую партию.

Был Кочубей готов в поход. В бурке, вооруженный. Худой, с покусанными губами, растрескавшимися от ветра и мороза. Но горело в глазах у него неугасимое пламя. Рядом с комбригом — неразлучный в славе и поражениях Ахмет. Подседланные, ждали их кони.

— Ну, пора...

Обнял и троекратно поцеловал комиссара. Надвинул на лоб коричневую шапку бухарского смушка, завязался своим пурпурным баншыком до самых глаз; то же сделал и Ахмет. Вскочили в седла и сгнули.

XXXV

По приказу Революционного военного совета армия потянулась на Астрахань. Гудел снова воздух, пылали пожарища оставляемого города. Не было больше многочисленных фронтов. Был один фронт — степной. На степном фронте, там, где не видно было зарева оставленного Кизляра, на Маныче, сколачивал красные части Иосиф Родионович Апанасенко, соратники знаменитых маршалов революции: Сталина, Ворошилова и Буденного. Дрались легендарные таманцы. Отгрызались части матросов и степняков, перерезая сбoku коварные ногайские пески.

В ночь на 7 февраля 1919 года подул сильный ветер, скоро превратившийся в ураган. Не было возможности двигаться даже по городу. Кучки людей, выби-

раясь за заставы, блуждали взад и вперед по сугробам из песка и снега, не имея возможности взять верное направление. Кизляр — Таловка — Черный Рынок — ледяные этапы, выхватившие первые тысячи жертв.

Кандыбина вынесли из квартиры Старцева. Мимо, держа направление на север, проплыл Чуйко на тощем, облезлом верблюде. Вопреки законам коллективного вождения караванов, бывший ветеринар передвигался в одиночку, потряхивая красными плетеными вожжами. На верблюде была уздечка с огромными наглазниками: верблюд мотал головой, неистово орал и отплеывался желтой слюной. Животное, чувствуя гибель, пыталось повернуть, лечь, но Чуйко был неумолим. Он колотил верблюда вожжами и длинной палкой и, подражая погонщикам караванов, завывал безнадежно и надрывно. Ошалелый верблюд ускорил шаг, и вскоре Чуйко пропал за лохматыми столбами выюги и дыма...

Кандыбин, точно в угарном дыму, разглядел Чуйко и надолго запомнил эту нелепую фигуру с его верблюдом, взмахами палки и воем. Комиссар погрузился в теплое, приятное забытие. Его вынесли, скользя и оступаясь, и положили на мажару. Кочубеевской тачанки не было: ее угнали в Кизляре лихие люди. Лошади еле тащили. Комиссар бредил и метался. Поддерживали его Старцев и пулеметчик Костя Чередниченко, братан известного командира бронированного поезда «Коммунист № 1». Поезд его брата, подвезенный к Кизляру, был взорван, а самого Мефодия Чередниченко, раненного в грудь, где-то впереди на плечах несли бойцы.

Вытянув в степь, кони стали и, понурившись, дрожали. Под колеса стало наметать, сначала до ступицы, потом выше и выше...

Старцев, передав карабин идущему рядом Леженину, завязав в песке, снял с подводы Кандыбина. Крякнув, взвалил на плечи и медленно пошел вперед, твердо и широко ставя ступню в зыбучую почву.

Пятнадцать километров шел полевой комиссар армии, вынося закадычного друга. Кандыбин перестал подавать признаки жизни. Он уже не хрипел, и черная тифозная пена, намерзнув на плече Старцева, там и осталась немалой ледяной сосулькой.

— Брось его, — скулил Леженин, сгибаясь под

порывистыми ударами непогоды, — брось, Мишка, пойдем быстрее.

Старцев опустил тело комиссара. Прикрыв полами шубы, отодрал ледяную намерзль. Нагнулся. Провел губами по глазам, лицу. Сомнений не было. Кончился друг Василь, не от пули, так от тифа. Погребать не надо. Следом на трупы наметались буруны, и через полчаса по этому месту, как по давней забытой могиле, шли, ехали, плелись, скрипели брички и перекачивались орудия...

Мимо прошагал батальон военных моряков. Плечом к плечу, спина к груди, плотно шли матросы, герои разгрома Бичерахова и Барагунова. Над правым плечом чернели культяпки ружейных лож. Дулом книзу, на ремнях несли матросы винтовки и карабины. Каждый третий в этой железной походной колонне спал. Таков был взаимный сговор еще в Кизляре. Ведь лечь на землю — равносильно гибели, а впереди не меньше двадцати суток бессонного марша. Правда, кое-кто умирал, труп не отпускали, он висел на плечах; в колонне уходили и простреленные в недавних боях. Очередной этапный пункт. Когорта размыкалась, на землю валились сраженные и генеральской пулей, и тифом, и усталостью.

Леженин, покинув друзей, пристал к матросам и долго подбегал, подпрыгивая, никак не умея взять ногу в такт мерному, упрямому шагу батальона.

Старцев двинулся, покачиваясь и согнувшись. Пройдя полверсты, остановился.

— А что, если жив Василь, а я убегаю? Нет, хоть труп, но донесу до Астрахани, — решил он.

Старцев возвращался. Он не возбуждал недоумения людей, шедших все вперед и вперед. Многие тогда сходили с ума. Человек, шагающий обратно, вероятно, обезумел... Кандыбина уже начало замечать. Старцев отряхнул его: Не доверяя ушам своим, разобрал еле уловимый голос, звавший его по имени.

— Вася, жив? — обрадовался он. — Васька?!

— Миша! — выдохнул Кандыбин.

Обрадованный Старцев поднялся, снял шубу. Завернул в шубу больного друга, подняв его с земли. Он старался, чтобы шуба не нахватала снега.

В ночь под 8 февраля 1919 года по пути на село Раздолье шел плечистый казак, закутанный башлы-

ком. Хлопали bóлы черкески. Колотился по бедру маузер. На плечах он нес человека.

Вырвал у смерти кочубеевского комиссара Старцев Михаил, коммунист с пламенной душой, доказавший на великом примере чувство человеческой дружбы. Замели бы прикаспийские пески комиссара, и кто бы угадал через два десятка лет кости Василия Кандыбина в грудe черепов и желтых позвонков, которыми до сих пор богат тот путь великого исхода.

...Когда у деревянного тротуара кривой улочки астраханского форпоста свалились пораженные тифом и лишениями два комиссара, трудно было определить в них еще живых людей. Они спали в неглубокой канаве, полузаметенной снегом.

По улицам ходили санитары, подбирая обессиленных людей, дотянувшихся до Астрахани, направляя их в госпитали, больницы, тифозные бараки.

Кандыбин услышал голос. Говорила женщина.

— Здесь лежат два человека, люди, — сказала она и равнодушно пошла вдоль улицы. Она была в шинели, с повязкой Красного Креста.

«Человек, — шевельнулось в уме комиссара. — И это мы — люди...»

Кандыбин не мог пошевелиться, не мог окликнуть женщину, Кандыбин не мог говорить: уже пять суток он не пил, не ел и поддерживал существование свое щепотками снега, вталкиваемого ему в рот другом, разившимся от него же, от Кандыбина, тифом.

Кандыбин опрокинулся на Старцева и снова потерял сознание.

Очнулся он от встряски. Его обронили на мостовую. Он вывалился из парусиновых носилок. Санитар поскользнулся и упал. Отряхиваясь и ругаясь, он приподнялся. Кандыбина поднимала знакомая уже женщина в шинели.

— Колченогий, — незлобно поругивала она санитаря, — а еще мужик, а еще небось за девчатами...

— Наталья! — медленно, по слогам вымолвил Кандыбин. — Наталья! — повторил он, чувствуя, что челюсти его еле двигаются.

Женщина услышала больного. Оправила на нем шубу, нагнулась. Комиссар увидел мягкие синеватые глаза Натальи.

— Комиссар, — улыбнулась она, укоризненно покачивая головой. — Ишь как тебя выпотрошили. На

носили тебя втягивали — узнала, и знаешь по чему? По шашке. Как это ты сберег?

— Это Мишка... Шуба тоже его... Где Старцев?

— Старцев?.. Ну и дружки! — покачала головой Наталья. — Тот тоже. Только разлепил глаза: «Где Васька?» Ну, тронули!

Наталья пошла впереди, изредка оглядываясь. Она заложила руки в карманы, и в ее колыхающейся походке было и что-то мальчишески-ухарское и женственно-нежное. От далеких Кирпилей до Волги прошла эта простая казачья девушка. Не было ничего удивительного, что живой и здоровой шагала она по окраине незнакомого ей города. Она тоже ничему не удивлялась. Наталья делала нехитрое, но великое дело, сама не сознавая величия своих поступков. Скажи ей об этом, она, пожалуй, и обругает.

— Беляночка, — прошептал комиссар прозвище, данное ей ранеными курсавского госпиталя.

Кандыбин прикрыл веки. На лицо упал свет. Сквозь оловянные тучи сурового приволжского неба продралось что-то веселое, лучистое, живительное...

* * *

Кочубей принял бригаду. Отбросив конную группу генерала Бабиева, пытавшегося перерезать надвое армию у Черного Рынка, Кочубей, лихо загнув правый фланг арьергарда, не заходя основными силами в Кизляр, вышел в пустыню.

Будто оживший в привычном шуме сражений, Кочубей скакал в голову бригады. В обозах, в туго увязанных бричках везли вино и фураж. Комбриг был доволен и молодо отвечал на ликующие крики сотен. Разве мог ураган побороть крылатую человеческую радость? С Кочубеем — Рой, Батышев, адъютант Левшаков, Володька. Разметывались гривы и хвосты лошадей. Зябли, коченели конечности.

— У, яка вьюга! — ежился Кочубей.

Володька подъехал с наветренной стороны. Комбригу стало затишней. Полез за пазуху Володька, вытащил теплую от мальчишеского здорового тела колбасу, толкнул командира.

— Ты шо? — повернулся Кочубей.

— Батько, пожуй малость, — предложил смущенно Володька.

— Як же так?! Вот шингалет! Не надо, шо ты! — отнекивался Кочубей. — Сам голодный.

— Батько, ты очень худой, — упрашивал Володька, тыча комбригу колбасу, — тебе после тифу надо поправляться.

— Вот грец, мабуть, шо так, — согласился комбриг. — Давай, давай, только по-божескому поделим.

Переломив кусок на две равные части и отдав половину Володьке, обернулся:

— Левшаков, колбасы хочешь?

Левшаков подъехал.

— Вы кликали, товарищ командир?

— Колбасы хочешь?

Адъютант вначале ухмыльнулся столь несвоевременной шутке. Вдохнул, глотнул голодную слюну. Вспомнил круги украинской колбасы, шипевшей и потрескивавшей на сковородке. Выбросил давным-давно сковороду адъютант. Комбриг что-то совал ему в руку. Он взял, недоверчиво понюхал. Да, это была колбаса, такая прекрасная, милая сердцу казака из черноморской станицы. Жевали. В рот попадал песок и скрипел на зубах.

— Где ж твоя зазноба, Левшаков? — любопытствовал комбриг, хитро подмигнув ему.

Известно было Кочубею о неудачной любви адъютанта к Наталье.

— Чего молчишь?

— Оторвались мы рано от баб... — вздохнул Левшаков.

— Говори громче, — нагнулся Кочубей. — Слышишь, яка вьюга... шо, ты горло простудил?

— Я говорю, рано мы от баб оторвались... Еще в Куршаве на холостое положение...

— Да яка ж она баба! Мост взяла, дралась, дралась, а ты все баба, баба! — озлился Кочубей. — Где ж она?

— Ушла с коммунистами в пески, когда пошел кизлярский отряд на Лагань.

— Ну, в Астрахани встретишь, — успокоил Кочубей, — свадьбу сыграем с музыкой. Только жаль оркестру перекувырнули с откосу. Придется занимать у командарма. — И затем серьезно: — Не горюй, Левшаков, у меня тоже горе. Настя-то осталась в Кизляре...

Наседал назойливый противник. Кочубей задержал

бригаду, и в вое вихрей то сплетались, то рассыпались блестящие круги клинков, и с врагом перебрасывались скороговоркой зубастые пулеметы.

Рой, изучивший торопливую повадку кочубеевцев, пагубную сейчас, ускользнул от прямого удара, сохраняя людей и силы конского состава. Преследование накалывалось на боковые походные заставы, на боевую разведку. Редели понемногу звенья бойцов, и из списков бригады вычеркивал Рой того или другого. Не изменял начальник штаба старой привычке. Думал дать в Советской России отчет о каждом потерянном человеке.

— Што-то не вижу Свирида Гробового да Редкодуба, — беспокоился комбриг на привале.

Трещали костры, задуваемые ветром, свежевали прирезанных коней, и темными чурбаками забылись казаки, завернувшись в надежные бурки. Необъятен мир; сотни миллионов людей в его просторах; но здесь безмерно тяжело ощущалась потеря одного человека.

— Где ж Гробовой, Редкодуб? — мучился комбриг, ворочаясь; его обострившиеся скулы неподвижно чернели на беспокойном лице.

— В разведке, товарищ комбриг, — приподнимаясь на локоть, отвечал Рой, — послал позавчера.

Вынимал записную книжку и ставил под именами двух казаков условные точки. Если не будет и завтра, значит, пропали казаки.

* *

Ускользая от волчьей стаи разведывательного отряда белых, Редкодуб и Гробовой потеряли направление. Кони пали. Бойцы вырвали внутренности своих боевых товарищей. Передремали в брюхе коней, отогрелись и пошли. Мигом заледенела окровавленная одежда. Редкодуб вел на восток, но снова сбился с пути, и они углубились в пустыню. Редкодубу казалось, что они идут к астраханскому форпосту. Он был упрям и надеялся вырвать у смерти и своего друга. Гробовой обморозился и, по всем признакам, заболел тифом. Идти дальше было невозможно. Пробовал тащить дружка седой Редкодуб, но не те были силы, и проклинал казак свою старость.

— Ну, может, еще поползеешь? — спросил Редкодуб.

Гробовой повернулся спиной к ветру и свалился на бок, потянув на себя Редкодуба.

— Ты што, Свирид?

— Двоим умирать убыток великий, — свистящим голосом сказал Гробовой, касаясь холодным и острым носом лица Редкодуба. — Слухай, Петро. Пристрели меня из нагана в ухо, как жеребца раненого, не могу я проползти двести верст до форпоста. Шлепни, Петро, просю тебя, и съешь мою левую ногу, што необходимо, а туловище закопай в солонцы поглубже.

— Разум теряешь, — толкнул его Редкодуб, — просишь несуразное. На что мне твоя нога? Одни мослы.

Подобие улыбки осветило Гробового. Нагнул к себе друга.

— Только положи какой-ся камень для приметы, Петро, и после того, как сживете кадетскую коросту, привези, друже, на это место жинку мою Гашку и сынка моего Федора...

Пола один Редкодуб, и едкая слеза замерзла на чугунных его щеках.

Поставил Рой значок над Гробовым; а Петро Редкодуб не плохим еще был бойцом, и не одному офицеру снес голову эскадронный командир шестой буденновской дивизии. Надолго пронес он в сердце неукротимый пламень возмездия.

* * *

Кротова везли на тачанке, прикрыв осетинской буркой, окаменевшей от мерзлого песка. Приближался, очевидно, кризис. Тифозная пена застывала на бороде и усах смоляными комками. Он нагибался и, томимый жаждой, слизывал снег с крыльев тачанки. Позади люди и лошади тащили обледенелую трехдюймовку, последнюю из меткой артиллерии второй партизанской дивизии. Кротов пытался оборачиваться, бредил, что-то выкрикивал, беспокоясь об оружии. Его лицо было поражено гнойными пятнами чернильного цвета: к тифу присоединился бич астраханской пустыни — черная оспа. Тачанка стала. Оружие проваливалось, вязло. Люди, помогая лошадям, надрывались. Но когда дотянули до тачанки, построшки бессильно повисли. Лошади свалились, вытянув ноги. Собрались

в тесный кружок бойцы, присели, накрылись бурками и, обогревая друг друга, заснули.

После на них намело песку. Над ними выросла дюна, или бурун, как называют здесь, в Прикаспии. И по буруну проходила все та же одиннадцатая армия: железнодорожники владикавказской магистрали из Тихорецка, Екатеринодара, Армавира, Минеральных Вод, Невинки; майкопская нефтяная мастеровщина; шахтеры-альбрустаны и хумаринцы; казачья и иногородняя голытьба Тамани, Кубани, Терека; джигиты солнечной Адыгеи, предгорной Черкесии, Карачая...

Заметая махрами обветшалых клешей, прошли, отплеываясь от непривычного песка, матросы Черноморского затопленного флота, оставляя позади себя могучие тела павших товарищей, расцвеченные татуировкой.

* * *

Давно исчезли сомнения в правильности взятого жизненного пути, бродившие точно в потемках в душе бывшего есаула Роя. Никто не знал, может, кроме Натальи, об этих сомнениях, так как поведение его было прямолинейно и недвусмысленно. Профессиональный воин, он сразу попал под обаяние Кочубея. Этот простой кубанский казак поразил его буйным размахом неукротимого атамана вольницы, безыскусственностью поступков, каким-то неугасимым огнем беспокойной и целомудренной души, верующей в великое дело вождя партии — Ленина.

* * *

Рой подъехал к Кочубею, покачивающемуся в седле. Кочубей дремал. Третьи сутки не спал комбриг и смертельно устал. Тронул его за плечо начальник штаба.

— Ты шо? — встрепнулся Кочубей. — Мабуть, скоро Промысловка...

— Да, скоро! — крепко пожав руку удивленному комбригу, сказал Рой. — Скоро Промысловка, скоро Советская Россия...

На сердце начальника штаба было тепло и светло.

— Добре поют хлопцы, — шепнул комбриг, улавливая мелодию, сплетенную из нарастающих бодрых

звуков, в которых слышались и любезный сердцу его разбойный посвист ушкуйников и торжество восставшей голоты...

Ой, наступае та черна хмара,
Став дождь накрапать.
Ой, там сбиралась бидна голота
До корчмы гулять.
Пили горилку, пили вишниковку,
Стали мед, пиво пить.
А кто з нас, братцы, будэ смеяться,
Того будэм бить...

Пела седьмая сотня Пелипенко, стяжавшая себе признанную славу во многих боях, сотня отрядненских казаков и хумаринских шахтеров. Заливались лихие кубанцы, входя в радостное утро.

— Добрые казаки, — шептал комбриг. — Мутузят, мутузят их, а они все веселые, все распевают. Яка ж радость у них, га? Вот так фокус!

Заливает измотанное тело комбрига пьяная, волнующая теплота, и не пытается скрыть своей обаятельной улыбки Кочубей ни от начальника штаба, ни от Батышева, ни от своих адъютантов и верных телохранителей Левшакова, Ахмета, Володьки.

Накось приходе богач-дукач
Тай насмежается:
Ой, чего ж, чего ж вот ця голота
Да напивается?
Взяли тут буку за праву руку,
А инший в шию бье.
Ой, не ходь, не ходь ты, вражий сыну,
Де голота пье.

XXXVI

Кто виноват? Особые условия требовали решительного, твердого руководства. Была ли эта решительность оправдана здесь? Была ли необходимость для революции отбирать знамя у знаменитой бригады? Бегло проверим обстановку.

В уральских степях было беспокойно. С востока угрожал колчаковский генерал Толстой, сколотивший конную группу белоказаков. Астрахань, последний оплот советского юго-востока, кишела недоброжелателями и шпионами. В городе ожидали восстания. В самой Астрахани не было крепких частей Красной Ар-

мид. Город переживал острый продовольственный кризис. С Северного Кавказа с хрипом, как через воронку, всасывались больные, изможденные тысячи, перенесшие тяжелый путь, который поколебал волю и распатал физические силы. И вот к городу подходила бригада кубанской кавалерии, несмотря ни на что, идущая в четких боевых колоннах. Во главе ее — комбриг, казак Кочубей.

Если бригада вступит в город, наполненный провокационными слухами, — не станет ли эта прославленная бригада вооруженной силой в руках контрреволюции?

Враг будет агитировать... Еще неизвестно было, как поступит бригада. Но бывшему полковнику генштаба Северину, предателю, было хорошо известно, как он поступит с бригадой Кочубея.

«Бригада, лишившая Деникина славы окончательного разгрома Северокавказской армии, должна быть расформирована или уничтожена, — решил Северин. — Надо доказать анархичность ее настроений; надо бороться с ней, как с предательской, пережившей себя и не добитой еще партизанщиной...»

К Астрахани приближалась регулярная арьергардная часть, в уставных звеньях, в колоннах. О Кочубее ходило много нелепых слухов. Отдельные ошибки его, промахи раздувались. За ними забывали, что это был вожак, сохранивший бригаду в небывалых условиях марша. Неграмотный кубанский казак, комбриг Красной Армии, затмил в сотни раз «подвиги» ледяного похода Корнилова, которыми так кичились белые генералы.

Этого не поняли даже люди, искренне преданные революции, и подписали приказ ставленника Троцкого, полковника Северина, позже расстрелянного за предательство.

Бригаде было приказано повернуться и снова уходить в пустыню, захватить Кизляр, Прикумье. Это заведомо невыполнимое задание было дано Севериным, чтобы доказать анархичность Кочубея.

Кочубея не допускали в Астрахань. Комбриг попросил отдыха. Вернуться — значит погибнуть. Казаки Кочубея находились на грани человеческих сил. Лошади питались камышом, люди — кониной. В седлах сторали сыпнотифозные. Кочубей потребовал пропустить его к Ленину в Москву или к Сталину в Ца-

рицын. Ему отказали. Бригада подтянулась к Промысловке, остановилась. Начались переговоры...

Командир третьей бригады особой кавдивизии, заметенный снегом, появился в комнате Реввоенсовета. Его вызвали в Реввоенсовет доверить особо важное поручение. Комбриг особой был исполнительный и преданный служака, оренбургский казак и бывший офицер. Он был высок, худ и рыж. Выслушав устный приказ особоуполномоченного Каспийско-Кавказского фронта и наштарма двенадцать Северина, он отшатнулся. Настолько неожиданно было поручение.

Дисциплина диктовала ему подчинение, долг коммуниста — ответственность и разумное выполнение приказов. Он резко выбросил слова недоумения:

— Я знаю Кочубея как командира Красной Армии. Почему я должен применить такие меры?

На него зло глянул аристократ и вышколенный выученик генеральных штабов Северин. Ему непонятен был этот выходящий из рамок армейских понятий вопрос подчиненного. Он разглядел в лице командира особой грубые черты уральского подхребетного крестьянина, он узнал в нем плебея, рассуждающего, как равный, в периоды небывалых потрясений государства, произведенных ими же, плебеями, и способного требовать ответа даже от вышестоящих. Рядом сидели члены Революционного военного совета, гражданские лица, облеченные невиданными еще в войнах прошлого полномочиями. Они могли стать на сторону комбрига. Надо было быстро подавить эту вспышку возмущения.

— Вам приказано, товарищ комбриг, и вы должны выполнить, — напряженно глядя на вызванного, отрезал Северин.

Комбриг не думал повторять приказания. Он попросил:

— Сделайте тогда письменное распоряжение.

— Пожалуйста, — передернулся наштарм двенадцать.

И машинистка, зевая и потирая желтые виски, отстукала бумажку:

«163 22 II 1919 г.

Командиру 3-й бригады особой кавалерийской дивизии.

С получением сего немедленно отправиться в с. Михайловское, принять на себя командование всем гар-

пизоном Михайловки и встретить банду Кочубея огнем артиллерии, не допустив последней проследовать в г. Астрахань.

Для чего выставить 4 орудия артиллерии, выслать в разведку конницу или артиллеристов, взять в свое распоряжение 3-й Петроградский кавалерийский полк и подчинить себе 77 человек коммунистов. Также воспользоваться имеющимися пулеметами. Зарядов и патронов не жалеть.

Иметь связь с Яндыками и летучей почтой обо всем доносить».

Машинистка подняла бледные, безразличные глаза:

— Товарищ Северин, кто подписывать будет, вы один?

Северин задержал взгляд на присутствующих, быстро, не поворачиваясь, кинул:

— Поставьте подпись: «Реввоенсовет двенадцать», мою...

Приняв бумагу, комбриг внимательно прочитал ее и попросил поставить печать. Северин, вырвав приказ, прилепнул круглую печать Реввоенсовета двенадцатой армии.

— Можете выполнять приказ.

Комбриг круто повернулся и ушел.

Ночью из Астрахани выступили по боевой тревоге дагестанцы третьей бригады.

* * *

Сверкавшая выстрелами линия Яндыки — Промысловка затихла. Бойцы Дагестанской бригады подняли головы в недоумении. Все было тихо и спокойно.

К Кочубею скакали сотенные командиры. Просили развернуть Знамя для боя. По широкой огненной дороге, расшвыривая все на пути, сотни, мол, проскачут до Царицына и Москвы.

Зайчик рвался вперед, ржал, почуяв за далекими дымками рыбацких сел фураж и пресную воду. Володька тревожно поглядывал на комбрига: поймав его пустой взор, хотел что-то сказать горячее, утешительное, но комбриг, его боевой отец, отворачивался, будто не узнавая Володьку.

Выехал перед фронтом сотен Кочубей.

— Не может бригада рубать своих же братьев, — сказал он. — Подыдем руку, и проклянет нас племя наше, як предателей и палачей. Хай остается бригада, а я прорвуся к товарищу Ленину, расскажу ему всю правду...

Троекратно поцеловал перед фронтом комбриг бригадное Знамя и взял с собой.

Героическая бригада Кочубея разоружалась, не сделав ни одного выстрела против обманутых изменниками красноармейцев, снимая с горькими слезами драгоценное оружие, клинки, пропеснившие славу багряного знамени. Горели костры; свалившись в песок, спали затрепанные боями и маршами кони.

— Нас не пустили дальше...

— Нас разоружили и думают расформировать.

— Неужели про это знает товарищ Ленин и не потручивает он черным воронам головы?

— Подался батько до самого Ленина и привезет от него грамоту на вечную славу бригаде и на вечный позор черной корысти, — сказал Пелипенко.

Шипели костры. Тяжко было на душе у бойцов.

— Де ж батько? — покачиваясь, спрашивали друг у друга кочубеевцы, и никли их чубатые, освистанные сабельным свистом головы.

— Где ж сейчас наш командир бригады?

XXXVII

С опустошенной душой скакал в глубь бесплодных степей Иван Кочубей. Вместе с ним мчались его боевые друзья, соратники — лучшие, выбранные самим Кочубеем из всего товариства. Неразлучный Рой, Батышев, Ахмет, Левшаков, Володька, командиры трех сотен, взводные и рядовые бойцы из того взрывного начала, давшего основание знаменитой конной бригаде.

Штандарт крыльями птицы колотился по ветру в руках Игната. Кочубей держал путь на Царицын, снова через дикую пустыню, лишенную воды, фуража и даже одиноких хатонов¹. Кочубей вез в сердце своем кипучее слово только самому товарищу Ленину или его сподвижникам, защищающим красный Царицын.

— Прорвуся к товарищу Ленину, расскажу ему

¹ Хатоны — села.

всю правду, поймет меня товарищ Ленин, — шептал Кочубей, и во взоре его горела неугасимая надежда на Ленина, взлелеянная всей кочубеевской жизнью. — Я расскажу ему про все, про черную измену, про полковников, засевших в штабах... Я скажу товарищу Ленину: возьми вот эту шапку Кочубея и, если не прав я, отсеки мне голову. Я не сдал шапки изменнику Северину и привез ее тебе, дорогой товарищ Ленин. А раз правый я, сидай на коня, и подадимся быстрее ветра сводить со свету кадетскую погань...

Опасна пустыня в такое время года, и далек, очень далек путь до Царицына. Изморились кони, пошатывались, лишенные фуража и воды. Все сокращал и сокращал Рой щупальца разведки, пока не вобрала копычья лапа охранения цепкие свои когти. Отряд целиком шел в ядре, ведя лошадей в поводу. Ночью, посоветовавшись у трескучего костра из колючки, решили отделить половину отряда и направить в глубокую разведку.

Кочубей положил обе руки на плечи Батышева и долго глядел в лицо его, точно навеки прощался с этим близким человеком.

— Ну, што ж, Батыш, все труды... труды... нет роздыху, га?

— На коне да под конем — труды невеликие, — улынулся Батышев.

— Ну-ка, вытягни шапку. — Кочубей опустил руки. — Шо там вырезано?

— «Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай», — наизусть прочитал Батышев, так как клинок, вынутый из ножен, сразу запотел и на ребрах засахарился инеем.

— Добре, добре, — качнул головой Кочубей. — Ну, спрячь. — Комбриг согнулся. — Даю тебе самых быстрых коней. Поезжай на Царицын. Сроку — двое суток. Туда и на возврат... Понял?

Батышев, оправив на шее башлык, отер губы тыльной стороной кисти.

— Попрощаемся, Ваня!

— Дурной знак, Микола... Но... была не была...

Обметаемые снегом, на бесконечной снежно-бугристой равнине обнялись два боевых друга.

Батышев вскочил на коня и пропал на хмуром северо-западе во главе сотни. Больше не видел Кочубей Батышева. Вероятно, закрыт путь на Царицын.

К Кочубею опять возвратился тиф, но крепился комбриг и отдал приказ:

— Начальник штаба, нет Батыша, вертай на Святой Крест. Подадимся в прикумские камыши. Гукнет снова Ваня Кочубей, и слетятся к нему хлопцы. Порубаем еще кадетов немало... Як ты думаешь, начальник штаба?

Подумал Рой. Тоже не сладкая штука идти назад, но есть возможность, двигаясь по удаленным от Каспия хатонам, пробиться к прикумским займищам с небольшим отрядом, снабжаясь из местных ресурсов.

— Надо поворачивать, — согласился Рой. — Был слух, остался в тылу товарищ Орджоникидзе, это важный будет союзник.

Отряд переменял направление. Повалил снег, подул шквалистый ветер с Каспийского моря, в заносах становились кони, отставали и гибли люди. Через трое суток добрались до одинокой кибитки, почти заваленной снегом. Раскопали вход, открыли дощатую дверь. В кибитку вошли Левшаков и Володька. Зажег Левшаков нацупанную в потемках плошку и засветил каганец. Обнажились стены, плетенные из хвороста и замазанные изнутри глиной.

— Кошму не снимали, почему? — удивился Левшаков.

— Сундуки! — воскликнул Володька. — А я думал, ящики.

И вдруг отпрянул:

— Левшаков, мертвяк!

Снаружи слышался резкий голос Ахмета:

— Зажигал лампа? Свети двери.

Прикрытого буркой, внесли Кочубея. Тиф окончательно сломил его, и он был недвижим. Кочубея положили на валявшиеся внутри кибитки плетенные из очерета маты. Он открыл глаза, огляделся, силился приподняться.

— Лежи, лежи, — уговаривал Ахмет, — опять многа кричать, мало кушать, лежи, я тебя знаю...

Комбриг снова прикрыл глаза. Тихо позвал:

— Начальник штаба!

В кибитку начали набиваться люди. Их тшечно уговаривал Левшаков погодить, пока не вытянут труп.

— Мы и сами уже мертвяки, чего там чураться! —

покрикивали кочубеевцы, скрываясь от вьюги. Снаружи остались только коноводы.

Разглядывали мертвое тело, найденное столь неожиданно, Игнат перевернул труп вверх лицом.

— Тю грец! — отшатнулся он. — Да это же степняк с партизанской сотни.

— Абуше Батырь?! — удивился Рой.

— Як ты его узнал, Игнат? — усомнился Левшаков и придвинулся ближе. — Он же поковырян оспой, сгнил весь.

— Дурной ты, Левшаков, — обиделся Игнат. — Ты гляди: наша папаха с партизанской сотни, форма, красная лента на ней, да и кинжал братьев, видишь?

Он вынул кинжал, ничуть не поржавевший и блестящий при тусклом свете каганца.

Кочубей приподнялся.

— Дай, Игнат, кинжал, — хмуро попросил он, облизнув губы.

Кинжал, перейдя десяток рук, попал к Кочубею. Он оглядел его со всех сторон.

— Это я отличил Батыря за мансуровский бой, — подтвердил комбриг прерывистым голосом. — Когда погнались Горбач да Сердюк за есаулом Колковым, спас их обоих Батырь, скинув с кручи есаульских выручалыщиков, синьковский конвой...

Комбриг откинулся, улыбнулся счастливо и довольно. Прошли перед его глазами славные картины боев, когда он был здоров и знаменит.

— Кинжал этот добыл я в Курдистане, — добавил он все с той же счастливой улыбкой, — еще был я тогда у Шкуро под началом... Время?! Кажись, уже сто годов прошло...

В сундуках нашли немного муки, окаменевшие лепешки, вонючий жир в глиняной миске и какое-то тряпье.

— Убегли степняки от чичика¹, — определил казак-незамаевец. — Ездили мы чумацким шляхом за солью. Боятся они чичика. Узнают, что захворал человек — будь то родной отец, — кидают все и уходят. Бывало, надо чего, намалюешь на роже углем пятна, скривишься — и в кибитку. Все долой. Ну и бери...

— Незамаевской станицы все воряги, — подтвер-

¹ Чичик — оспа.

дил Левшаков, разгрызая лепешку, — еще в мирное время забирали других.

— А Каниболотской станицы рыбалки — апостолы? — огрызнулся незамаевец. — Всех коней в Покровке да Успенке потягали.

— Ну, и брешешь! К нам ваши обычаи не пристали, даром шо земляки, — огрызнулся острый на язык адъютант комбрига.

В это время в кибитку ворвалась струя холодного воздуха и снега. Светильник мигнул. Раздался крепкий, басистый голос:

— Ну, слава богу, наконец разыскали вас... Я же говорил вам, ваше превосходительство, идем по верному пути.

— Какая часть? — спросил властный хриповатый голос.

Рой, раздвинув людей, приблизился. Ноздри Роя раздувались, и движения были осторожные и крадущиеся. В кибитку вошли трое. Они остановились у дверей — внутрь пройти было невозможно. Рой ощущал их взглядом. Басистый голос принадлежал казаку, широкому в плечах, высокого роста и усатому. По погонам Рой определил терские формирования генерала Драценко. Казак носил широкие лычки вахмистра. Он отряхивался, развязывал башлык и был совершенно спокоен и доволен затишным местом. Кроме того, его предположения оправдались. Он вывел его превосходительство на «верный путь».

— Ребята, у кого спички есть, закурим, а то мои отсырели, — басил он, выбирая удобное место, чтоб сесть, бесцеремонно раздвигая кочубеевцев.

— Вот так фрукты! — прищурился Левшаков, толкнув в бок незамаевца.

— Гляди, гляди, як Рой их путает, —дохнул незамаевец и заблаговременно отстегнул кнопку кобуры.

Рой во втором из вошедших определил штабного офицера в чине полковника.

Полковник был с холеным обрюзглым лицом, слегка надменно приподнятым: его выпуклые глаза изумительно шарили по кибитке. Он недовольно повторил вопрос, блеснув золотым зубом:

— Какой части?

— Сунженской бригады, — ответил Рой.

— Вот это нам и надо, — весело заметил третий,

молодой казачий офицер с ярко-красными, будто вывернутыми наружу, губами.

— Где командир? — спросил полковник, внимательно приглядываясь к Рою.

Теперь он огляделся, темнота прояснялась. Его несколько удивило отсутствие погон, но он не придавал этому особого значения, восприняв как признак расхлябанности и недисциплинированности части.

— Где командир? — резко переспросил он.

Кочубей приподнялся на локтях. Его поддерживали за спину Ахмет и Володька.

— Вот командир, — спрятав улыбку, сказал Рой и, помедлив, добавил: — Командир бригады — Иван Кочубей.

Полковник отпрянул. И, стараясь не терять присутствия духа, будто небрежно бросил:

— Так это не он. Нам не сюда.

Повернулся к выходу. В дверях уперлись дюжие кочубеевцы.

— Нет, видать, сюда, — сладким голосом произнес Кочубей.

Казачий офицер, пользуясь тем, что на него не обращают внимания, рванул с плеча погон, но сейчас же получил от конвоира удар в затылок.

Ничего не ускользнуло от острого взгляда комбрига, почувствовавшего прилив сил при встрече с врагами.

— Зря, ваше благородие, зря, — язвительно скривив губы, бросил Кочубей. — Гляжу, зря вас в офицеры производили. Эх вы, царевы служаки! Ну-кась, подпустите их ближе, я с ними побалакаю.

Офицер сунул какую-то бумагу вахмистру. Смекалистый вахмистр, смяв бумагу, пихнул ее в рот, пытаясь проглотить. Получив увесистый удар кулаком в спину, выплюнул.

Рой поднял. Это оказался скомканный пакет.

— Немного неосторожно, господин вахмистр, могли подавиться, сургуча много, — ухмыльнулся Рой, передавая пакет Кочубею.

Комбриг отстранился.

— Читай, — попросил он, полузакрыв глаза.

Рой читал приказание «Командиру Сунженской бригады»:

— «..Связаться со вторым черкесским полком, действующим восточнее Черного Рынка, обойти переправу

и пристань Серебряковскую и уничтожить красные банды на острове Бирюзьяк. Я нахожусь в селе Черный Рынок...»

Подписался видный генерал, один из участников ледяного похода Корнилова, друг генерала Романовского.

— Так, так, — качал головой Кочубей, внимая спокойному, уверенному голосу своего начальника штаба, — так, так.. Ишь, гады, мы — «красные банды»... Забыл, видать, как я ему, этому генералу, зад як крапивою жигал.

Поднял руку. Нагнулся вперед, устремив прежний кочубеевский взгляд в обрюзглое и надменное лицо полковника.

— Не знаете ще вы, брюхачи, шо это за Красная Армия, — прошипел Кочубей. — Попала вам лафа биться с красными солдатами, больными, мерзлыми да ранеными. Да не вы гнали нас, брюхачи, а тиф, оспа и изменники, шо прикинулись красными только для виду... Красная Армия идет от товарища Ленина, в новых шинелях, на быстрых конях, и настигнет она вас, як молния...

Кочубей вспотел. На его лице, обтянутом прозрачной обмороженной кожей, невидящим блеском пылали глаза, излучавшие какую-то особую вдохновенную силу.

Притихли бойцы, заулыбались. Почуяли в словах своего командира вещую правду, и не страшны им были пески, морозы, болезни...

— Кадетов в расход, — глухо распорядился Кочубей. — А с тобой, вахмистр, еще побалакаем. Будешь служить у Кочубея...

Комбриг откинулся, и на лбу его снова выступил густой мелкий пот.

* * *

Кочубеевцы петляли по пустыне, и их осталось четырнадцать человек. Левшакова согнул тиф. Адъютанта везли вместе с комбригом, приспособив из войлока и бурок подобие носилок. Лошадей осталось только шесть: известный Зайчик комбрига, неутомимый и выносливый, и пять лошадей, отобранных у белых. Зайчик и полковничий серый жеребец везли Кочубея и Левшакова. Двигались шагом. Впереди шли Рой и вахмистр, выводящий их из пустыни. Игнат Кочубей, пе-

рейдя на пешее положение, отодрал от древка знамя и обернулся им. Древко уже давно сожгли, разогревая в консервной банке снег, чтобы напоить горячей водой комбрига. Вся забота о Кочубее легла на Ахмета. Он никому не доверял больного командира. Ночью, не боясь ни заразы, ни зловония от гниющих струпов Кочубея, грел его своим телом, растирал руки, поил, массировал тело больного гибкими своими пальцами. Ахмет оброс, нос его заострился и был похож на клюв. Давно потерял былую красоту адыгеец, и никто бы сейчас из прежних друзей не узнал в этом человеке прежнего блестящего телохранителя славного Кочубея.

Иногда комбриг приходил в сознание, и время это исчислялось минутами, наполненными продолжением его бредовых, испепеляющих мыслей.

— Это ты, товарищ Ленин? Товарищ Ленин, в такой выюге можно потерять свое сердце. Товарищ Ленин, я не виноват... Не хотел Кочубей отдать Кубань кадету... Где бригада?

Приоткрывал воспаленные веки, слабо поворачивался:

— Ахмет? Где товарищ Ленин?

Ахмет, обрадованный коротким проблеском сознания комбрига, радостно и бесхитростно отвечал на вопрос:

— О! Товарищ Ленин Москва сидит, на свой умный галава многа мыслей кладет...

— А мне чудилось, шо он рядом, — затихая, шептал Кочубей и снова терял сознание.

У села Солдатского (Величаевки), Ставропольской губернии, кочубеевцы напоролись на конный отряд противника, рыскавший бесцельно по степи. Рой приказал положить лошадей, образовав замкнутый круг, и хладнокровно открыл стрельбу из винтовки. Вновь усиливавшийся ветер поднимал снежный песок и не давал возможности целиться. Стреляли наугад или по мутным теням всадников. Белые спешились и начали подбираться змейковой перебежкой. Совсем близко запылил пулемет.

Привычное ухо Роя определило английский «виккерс». Заметив, как, пораженный в грудь, опрокинулся навзничь Игнат, подумал, что, если бы англичане не подвезли скорострельное оружие из-за океана, может, брат комбрига не так скоро отдал бы свою жизнь. Выругавшись и выплюнув пузырчатую пену, захри-

пел незамаевец, обдав кровью Володьку, и, вцепившись в землю судорожными пальцами, вскоре затих. Вахмистр, заметив, что казак не обволакивается уже клубами пара, догадался о смерти, быстро перекрестился и сейчас же крутнул головой, закусив губу: левую руку раздробила пуля, вырвав хлопья овчины.

— Разрывными жарят, — улыбнулся Рой, — дум-думом... Так они всегда завоевывают колонии.

Вахмистр сгоряча сунул кисть за пазуху, навалился на руку всей грудью и послал последний выстрел.

— Парнишка, — выкрикнул он, оскалившись, — не верь им... Им служил, они и убили...

Вторая пуля перервала ему горло. Вероятно, кто-то зашел сбоку, белые закругляли фланги охвата.

Володька стрелял из австрийского карабина, лежа рядом с Ахметом, а когда опустел патронташ — патроны русского образца не входили в него, — откинул карабин и принял от Ахмета маузер Кочубей и кожаный мешочек с патронами. Сам комбриг, выведенный из бредового состояния, пытался подняться, но Ахмет спокойно придавливал его рукой, и комбриг откидывался на неподвижного Левшакова.

— Лежи, лежи... опять кричать начнешь... кров портить...

— Ахмет, пристрелю, — хрипел Кочубей. — Где Рой?

— Я тут, Ваня, — спокойно вогнав обойму и щелкая затвором, откликнулся начальник штаба, впервые, несмотря на давние просьбы комбрига, назвав его по имени. — Немного жарко, Ваня, — баня...

Подозвал Володьку. Тот подполз. Раненный в брюхо, Зайчик вскочил на ноги, кинулся в сторону и рухнул на землю. Круг разомкнулся.

Рой прокричал:

— Володя! Сними с Игната знамя, тикай! Может, расскажешь кому надо, какие нам припарки ставили.

— Я не пойду. Не брошу вас.

— Я приказываю вам, понятно? — резко оборвал его начальник штаба. — Вытащите из моей сумы карту, там указаны хатоны и колодцы, ползите за бурунами, а потом в карьер. Вы же, когда надо, умеете бегать, черт возьми!

Володька разыскал карту, с большим трудом развернул Игната, снял его дорогое одеяние и, предвари-

тельно скинув рваную овчинную шубейку, замотал знамя поверх рубашки. Затем нагнулся, поцеловал комбрига и, кивнув головой одобрительно и весело глядевшему Ахмету, пополз, по пути пристегивая маузер. Володька рыдал. Ведь он был еще совсем мальчишка, и ничего постыдного не было в жгучих слезах, хлынувших ручьями из глаз партизанского сына.

Ветер менял направление. Песок крутился, завихрялся, не сумев сразу повернуть по ветру. Позади щелчками кубанского батога хлопали выстрелы. Володька бежал, спотыкаясь и переползая дюны. Он уже не плакал, а кусал губы, ощущая соленый и одновременно сладкий вкус крови. Пережитые события стояли у него перед глазами. В его мальчишеской голове кипели горячие мысли. Он останется жив... он принесет весть о гибели батьки-комбрига. Пусть всем станет страшно... Он, Володька, соберет войско и появится на границах Кубани. Он расскажет Ленину о Кочубее. Он развернет перед Лениным Знамя бригады, пробитое пулями и обогренное кровью Игната...

Ленин даст ему пехоту, даст бронированные поезда; откуют рабочие броню по призыву товарища Ленина, как заковали невинномысские рабочие броневики «Коммунист № 1». Они, рабочие, снимали его, Володьку, с буферов, гоняли, но он давно помирился с ними. Через них он нашел себе батьку, знаменитого отца...

Стихла метель. Циклон, разорвав облака, будто обессиленный, упал на бескрайнюю прикаспийскую пустыню. Зажглась на солнце рукоятка меткого кочубеевского маузера...

XXXVIII

Кочубея везли в Святой Крест через села Урожайное, Левокумское, Покойное. Начальник карательного отряда полковник Пузанков выделил для сопровождения больного комбрига две сотни от 1-го Осетинского и 5-го Кабардинского полков. Белые, загнав крупного зверя, боялись его упустить. Кочубей почти не приходил в сознание. В святокрестовскую тюрьму его, связанного, снесли на руках. Сотни, доставившие Кочубея, держали оружие на изготовку. Человек, завернутый в бурку, был страшен даже теперь.

Кочубей не постигла участь красных вожakov, попадавших в руки белой гвардии. Кочубей остался жить. Известный большевистский командир, «раскаявшийся», во главе конного казачьего полка — что могло быть заманчивее для белых, сколачивавших казачьи части! Белым нужен был кубанский национальный герой. Казак Кочубей должен был заслужить жизнь и прощение боевыми делами.

Генерал Эрдели возбудил ходатайство перед командующим вооруженными силами юго-востока России.

Маневр, придуманный на Тереке, был хорош, и Эрдели не сомневался в успешном его разрешении.

Кочубей из тюрьмы перевезли на квартиру. Наряду с хозяйкой, женщиной с мягкими, приятными ладонями, теплоту которых часто ощущал Кочубей на своем лбу, к больному прикомандировали двух сиделок и врача. Предусмотрительный начальник контрразведки капитан Черкесов приставил к дому усиленный наряд от гусарского полка.

Утро. Кочубей сидел, обложенный подушками. Его брил парикмахер-армянин, словоохотливо рассказывая Кочубею о новостях, происшедших на воле. Парикмахер, осторожно поглядывая на дверь, шумно наводил бритву на зеленом английском поясе.

— Вы проезжали Солдатское, Урожайное, наверное, сами слышали...

— Ничего я не слышал. Был я хворый.

— Камышане там сейчас, красные, Моисеенко, Шейко, Федор Синеоков...

Бритва оставляла голубоватые широкие полосы в пухлой белой пене на лице комбрига.

— Моисеенко, Шейко? Про таких не слышал... — отрицательно качал головой Кочубей.

— Спокойней, могу порезать, — вежливо просил парикмахер, выжидая. — Вы еще молоды, а волосы лезут. Падают волосы...

— Шо ты! — хмурился Кочубей, проводя ладонью по голове. — Облез? Га?

— Немного, пустяки. Вы еще молоды. Вырастут, — утешал парикмахер, выбривая шрам на лбу Кочубея. — Вот только придется теперь бриться почаще.

Кочубей попросил зеркало, внимательно глядел в него, поворачивая зеркало в стороны и приподнимая.

В зеркале желтела лысина от лба до макушки. Кочубей снова щупал голову. Ладонь мягко скользила.

— От хворобы. От хворобы это... Отросли волосья за два тифа. Два месяца шапку не скидал... А тут жар, жар... Оголилась башка от подпарки, як курченок от кипятка.

Он прикрыл глаза.

— Так, говоришь, здóрово сгарбузовались красные бойцы в прикумском займище?

В вопросе звучали нотки удовлетворения. Кочубей, ожидая ответа, улыбнулся.

Парикмахер не расслышал вопроса — он вдевал пульверизатор в бутылку с мутной жидкостью. Пробка пульверизатора была велика и в горлышко не входила. Он торопливо пожевал ее и втиснул. Пробка вошла со скрипом. Придерживая одной рукой горло бутылки, парикмахер начал быстро и решительно сжимать резиновую грушу. Пульверизатор захрипел, засвистел, по лицу Кочубея потекли ручейки, скатываясь на грудь. Кочубей отфыркнулся.

— Шо ты водой меня полоскаешь?

— Одеколончик давно вышел, — оправдывался парикмахер. — Раньше, бывало, выедешь в Пятигорск за косметикой. А там приятели. В Кисловодск, в Ессентуки, бывало, приедем, по маленькой раз, по маленькой два... дамочки...

Кочубей закрыл глаза.

— Это в другой раз, в другой. Попрою тебя, скажи, як добре организовались камышане?

— Ну, раз бояться их, выходит, неплохо. Чтоб не было ошибки, по всем селам виселицы.

— Вешают? Кого? — тревожно спросил Кочубей.

— Больше коммунистов-большевиков, дружков товарища Примы, кто не успел уйти в камыши. Вы их не знаете?

— Говори, кого вешают, — раздражался комбриг. — может, узнаю кого.

— Ну, я могу только про своих, которых в городе. Плотника Филатова, Шаховцева...

— Еще кого?

— Мартыщенко, матроса...

— Еще?

— Орла.

— Шо ты мелешь! Неужель и орла повесили проклятые кадеты? До птицев добрались.

— Матроса Орла — коммуниста... Куритова, Гипсиса.

— Будет, будет, — отмахивался комбриг, — брешешь ты! Як можно столько? Що ж они не убегли?— Кочубей ловил руку парикмахера. Цепляясь за нее, добрался до уха, шептал горячо и хрипло: — А Ахмета, Роя, Левшакова, братана моего Игната? Володьку? Моих орлов...

— Про таких не знаю, ей-богу, не знаю, — отнекивался парикмахер, — не было про этих людей слухов. Что не слыхал, то не слыхал.

Парикмахер собрал инструменты в ручной чемоданчик и на цыпочках вышел. Кочубей удовлетворенно откинулся на подушки.

— Мабуть, ушли хлопцы в камыши аль до товарища Орджоникидзе, — прошептал комбриг. — Як же меня зацурали?

Память его не могла восстановить картину последнего боя. Видно, в бреду говорил тогда он с начальником штаба. Верил пленный комбриг, что остались жить и гуляют на свободе его друзья-соратники.

Вернулась сиделка, рыхлая женщина с испуганными глазами. Она принесла молоко. От кувшина сквозь подгорелую пенку шел пар. Женщина сполоснула чашку и начала наливать в нее молоко.

— Подведи меня до окна, товарищ женщина, — попросил Кочубей, приподнимаясь.

Сиделка бросила наливать молоко и отерла руки. Подхватила его под мышки, с трудом поворачивая больного, пока он старался попать ногами в войлочные туфли. Кочубей, поддерживаемый сиделкой, приближался к окну, широко расставляя худые ноги, на которых кальсоны болтались, как на палках.

Подоконник был покрыт тонким слоем пыли. Кочубей навалился на подоконник грудью. Локтем распахнул окно. Протянул наружу светлые исхудавшие кисти рук. Ветер, обычно утихающий на ночь и снова начинающийся с утра, еще не дул. Кочубей пошевелил пальцами.

— Нету ветра. Гарно як поют кочеты. Як в Суркулях. Товарищ женщина, вот так и у батьки моего спивали кочеты, когда был я маленький...

Кочубей говорил с сиделкой не оборачиваясь. Он не видел, как смахнула женщина слезу с ресницы и отвернулась к стене. Кочубей бормотал:

— Добрые трубачи эти кочеты, добрые... Зорю поют, радуются... Ветру нету, бури нету, кочету радость великая...

Было удивительное спокойствие в воздухе, поэтому так звонко раздавалось это бесчисленное «кукареку». Петухи орали во внеурочное время, точно решившись вдоволь накричаться, пока не воет циклон и в горло не летит горячий астраханский песок. Кочубей улавливал знакомое ему хлопанье крыльев горластой птицы, взлетающей на забор. Видел, как две хохлатые курицы вылезли из-под амбара. Попыжась, встряхивались, выбивая вчерашнюю пыль. Чирикали залиристо и продолжительно какие-то невидимые птички, — может, это были простые, заурядные воробы. Басовито мычали телята.

Где-то стучали подводы, и пленному комбригу мерещилось, что это окованные ходы обозов его бригады, что едут, покачиваясь в седлах, казаки, трепыхаются алые сотенные значки и впереди сотен, поблескивая серебром и золотом, гарцуют сотенные командиры. Растянулись сотни на десятки верст, а видны ясно все до одного, и те, кто на ровном шляху, и те, кто опускается в балки, и те, которые, поторапливая коней, проскакивают студёные быстрые речки. Кочубей, вздрогнув, провел ногтями по пыльному подоконнику.

— Где ж все други мои, товарищи? Где вы, товарищи дорогие? Какая вам слава?

Около окна прошел часовой, мельком взглянувший на Кочубея. Шаг часового был мягок, упруг. Он оставлял следы на черном, точно размельченном на жерновах песке.

— Ой, и далеко отсюда до товарища Ленина, — прошептал Кочубей, — ой, як далеко! А як там Кубань родная? Мабуть, великие зараз на Кубани пожары.

Гонялись друг за другом стремительные ласточки. Щебетали, переворачивались. Их белые брюшки сверкали, как перламутр.

Снова прошагал часовой. Бросил в окно короткое приказание:

— Окно закройте. Скоро поднимется ветер.

Еще не распустившиеся листья акации начали трепыхаться. Зашумели верхушки. Собаки принялись выть. Сейчас они спрячутся под сарай и амбары этого турлучного городка, прозванного мрачным именем —

Карабаглы. Ласточки исчезли. Ветер усиливался, но еще не было пыли. Песок только поднимается в пустыне, и минут через сорок с северо-востока появится бурое облако циклона.

Кочубей сам добрел до кровати. Сиделка подала воды. Он лязгал зубами, пытаясь поймать край стакана.

— Пустить, я подремаю.

Сиделка перешла к окну, принялась за вязанье. Под одеялом очерчивалось щуплое небольшое тело больного. Женщина оставила вязанье и долго глядела в сторону кровати будто невидящими глазами. Больной тяжело дышал и бредил...

Снаружи завывало. Ритмично хлопал, очевидно плохо привязанный, ставень. В комнате становилось душно...

* * *

Адъютант генерала ждал, когда проснется больной. Адъютант был пожилой щеголеватый офицер, сытый и добродушный. Он протирал пенсне, глядел близорукими навывкате глазами в сторону кровати, снова надевал пенсне. В руках его была бумага, которую он должен был огласить Кочубею. Из ставки, от самого Деникина, пришло помилование пленнику. С помилованием пришел и довольно солидный чин.

Адъютант не решался потревожить сон человека, облащенного ставкой. Он переговорил почти обо всем с сиделкой, узнал о поведении больного за последние сутки, перечитал хвостатые рецепты и этикетки флаконов с лекарствами, поинтересовался, у кого покупают молоко для больного и по какой цене. Когда сиделка похвалила молоко и назвала цену, он сказал:

— Поценно, поценно. Вы разрешите записать фамилию? — он вынул из наружного кармана френча потрепанную записную книжку и карандаш. — Представьте себе, я попадаю все на молозиво. Да, да. На молозиво. Не правда ли, странное название. Это, знаете ли, молоко жидкое, невкусное, травянистое какое-то... А у меня здесь жена и дочка. Были в Ростове. Как взяли наши Ростов, приехали сюда... Ну, тут не Ростов, конечно, дыра... ну и дыра ваш город...

Пришел врач. Он, мельком посмотрев на офицера, кивнул головой.

— Вы к нему? — спросил врач, моя руки.

— Да. Есть важное сообщение от его превосходительства генерала Эрдели.

Врач энергично вытирал руки полотенцем, поданным сестрой.

— Может, отложите визит до выздоровления?

Адъютант успокаивающе поднял руку и подмигнул:

— Не сомневайтесь, господин доктор. Мы заодно с медициной. Вы призваны физические силы восстанавливать, а мы — моральные. Вот увидите, как дело пойдет...

Кочубей проснулся. Обвел комнату мутным, еще сонным взглядом. Остановился на офицере. Взгляд прояснился. Позвал врача.

— А этот в пенсне? Чего ему надо? — спросил он.

Врач не ответил. Адъютант козырнул и развернул бумагу.

— Разрешите огласить?

— Читай, — невнятно бормотнул Кочубей, глядя вперед.

Офицер читал приказ Деникина о помиловании бывшего командира кавалерийской бригады одиннадцатой армии Кочубей при условии перехода Кочубея на службу в Добровольческую армию в качестве командира полка. Помилование определяло бывшему большевистскому комбригу чин полковника.

Офицер, закончив читку, сложил бумагу и снова подморгнул врачу.

Кочубей удивленно сдвинул брови, вяло приподнял руку.

— Шо-сь, я не понял. Повтори.

На френче адъютанта мягко отсвечивались латунные пуговицы, и знаки британского герба были похожи на тараканов. Бриджи желтели узкими полосками кожаных лей. Краги были массивны, точно отполированы. Кочубей лежал, стараясь не глядеть на лицо офицера, но эти особенности чужого мундира и противное пенсне, которое адъютант вертел в пальцах, пробуждали в Кочубее ненависть.

Адъютант торжественно перечитывал приказ, делал паузы после особенно, по его мнению, сочных фраз, оглядывал больного круглыми навывкате глазами. Кочубей закипал. Когда адъютант окончил и выжидательно уставился на больного, Кочубей скрипнул зубами, рывком захотел подняться. Захрипел, ударил-

ся головой о перекладину кровати. В уголках губ появилась кровь.

— Что с вами, господин полковник? — кинулся к нему офицер.

Доктор отстранил от постели офицера.

— Простите... Но я... предлагаю вам... не беспокоить больного.

Кочубей вздрагивал, сжимал и разжимал колени, а врач поминутно поправлял соскальзывавшее одеяло.

— Уйдите, — попросил доктор. — Ведь ему нужен длительный отдых. Спокойствие.

Офицер был напуган и растерян. Он не мог понять, что, в сущности, произошло.

Кочубей открыл глаза. Усилием воли он переборол слабость. Отстранил доктора, приподнялся, и руки его ухватились за блестящий прут кровати. Адъютант услужливо изогнулся:

— Разрешите передать ваше согласие, господин полковник?

Кочубей рванулся. Его обеими руками охватил доктор. Офицер отпрянул к двери. Он виновато кривился в улыбке, точно ища сочувствия у сиделки, жалостливо на него поглядывавшей.

— Жаль, что я тебя, суку лупатую, не встретил ни под Суркулями, ни под Невинкой, — с хрипом вырывалось у Кочубей, — я бы сделал с тебя кокету... То же передай генералам... Пускай дадут мне здоровья, а после того пусть выходит супротив меня, безоружного, сам твой Деникин со всеми Эрделями... я им когтями глотки перерву!..

Обессиленный, упал Кочубей на подушки.

* * *

Ранняя весна начиналась обычными в этих местах суховеями. Далеко на восток — знойные степи, а еще дальше — Каспий. А здесь турлучные и саманные домишки, восточный говор армян, горький запах подгнивших за зиму камышей. По долине реки Буйволы, там, где захирела недоделанная прикумчанами железная дорога, выезжали конные разведчики. Соскакивали, загоняли пруты в землю, определяя время пахоты под знаменитую буйволинскую мягкую пшеницу. Редкие только были дозорные весны тысяча девятьсот девятнадцатого года. Останутся непаханными массивы, и

выдолбленная снарядами земля не скоро еще покроеся разлитым морем пшеницы и виноградников.

Кочубея везли к единственному двухэтажному зданию городка под конвоем гусарского эскадрона. В пароконные дроги были запряжены понурые клячи. Сегодня был назначен военно-полевой суд. Кочубей был слаб, не оправившись еще от болезни. Его поддерживали, но он клонился и оседал в руках двух кряжистых терских казаков. Изредка поднимал глаза на голубое ветреное небо, наблюдая, как тянутся на восток хищные стаи ворожья.

— Це в Прикаспий, це чуют мадаль, — шептал еле внятно Кочубей.

Кочубея сняли с повозки и повели в парадную дверь здания военно-полевого суда. По обеим сторонам стояли гусары-юнкера. Когда за Кочубеем закрылась дверь, юнкера спешили, отпустили лошадям подпруги и наволокли на кирпичный тротуар вороха сена.

Зал, куда ввели Кочубея, был украшен портретами Корнилова, Дроздовского, Маркова, Алексеева, Шкуро... Портреты изображали храбрых генералов, увитых лавровыми венками, с вплетенными в венки саблями, фанфарами и винтовками. На почетном месте красовались лубочные портреты вояк импортного происхождения, надменно оглядывавших это убогое помещение из-под своих широких козырьков. Это были члены английской миссии, интервенты Мильн и Бригс. Они разъезжали по Кавказу, и этих новых хозяев белые всячески рекламировали перед населением.

Кочубея завели за перегородку, напоминавшую левый клирос какой-либо захудалой церквенки. Это была скамья подсудимых.

Кочубей сел на табуретку, опустив бессильно руки и уронив на грудь голову. Казаки, поддерживавшие его, явно смущались и переглядывались. Военные судьи занимали стол, накрытый черным сукном. Сукно было расшито шелковистым сугажом. За столом, в числе членов этого импровизированного трибунала, красовались два офицера бригады имени генерала Маркова. На марковцах были черные погоны с белой опушкой, на рукавах их кофейных гимнастеров были вышиты мрачные шевроны. Процесс походил на заседание какого-то тайного ордена. В зале было темно и малоллюдно. Правильными рядами, как в театре, блестели спинки стульев. Суд проходил при закрытых дверях. Де-

сятка три офицеров местного гарнизона разбились на несколько кучек. Переговаривались. Одни уверяли, что Кочубей даст согласие, другие с ними не соглашались. Прибывшие из Пятигорска от Эрдели крупные военные чины были степенны. Они заняли весь первый ряд. Перебрасывались фразами о делах на фронте. Часто произносились слова: Царицын, Колчак, Волга. Посплетничали о новых назначениях, о каких-то щенках и выскочках. Замолкли. С ними находились дамы, уже обрекшие себя на скуку, так как их предположения потерпели крах. Ничего интересного не предвиделось. Вместо свиреного большевистского атамана, похожего на Емельяна Пугачева или Степана Разина, перед ними предстал бледный и тощий заурядный казачий парубок.

Председатель суда, подполковник, пожевав губами и мельком глянув в зал и на подсудимого, невнятно прочитал обвинительный акт. Отложив бумагу в сторону, откашлялся и огласил текст последней телеграммы из ставки о необходимости еще раз подействовать на Кочубея и добиться его согласия.

— Подсудимый Ивап Кочубей, — обратился председатель суда, — считаете ли вы приемлемым предложение верховного командования?

Подсудимый не отвечал. Вторичный вопрос подполковника также остался без ответа. Кочубей навалился на копытого казака. Лица Кочубея не было видно. Поблескивала только его бритая голова. Кочубей был без сознания. Он не слышал ни обвинительного акта, ни вопросов.

Подполковник смущенно, точно извиняясь, развел руками. Сидевший в зале, во втором ряду, капитан Черкесов, начальник контрразведки, краснощекий плечистый здоровяк, выкрикнул:

— Что вы с ним нянчитесь? Нашли героя!

Полковник с сытым и неприятным лицом полуобернулся:

— Политику не понимаете, господин капитан, — наставительно сказал он. — Учитесь популяризации политических доктрин у большевиков.

— Мне бы его... Я б его уговорил!

Полковник понимающе улыбнулся.

— Чувство профессии, господин капитан! Понятно, понятно. И... похвально. Но не всегда так, не всег-

да. Политика требует ума, ума тонкого, такого... точного, я бы сказал...

Заседание было прервано. Послали за доктором. Не нашли. Ввели городского зубного врача.

— Не делал я подкожных выпрыскиваний. Не знаком я с дозировкой, — возмущался тот.

— Поучитесь на Кочубее, — подталкивал врача сопровождавший офицер.

— Я могу закатить столько, что вам придется судить мертвеца!

— Не волнуйтесь, господин доктор, — сказал Черкесов, исподлбывая оглядывая его. — Делайте, пока вас приглашают по-хорошему.

Врач зашел за перегородку, открыл саквояжик, начал раскладывать на перильцах барьера несложный инструмент: коробку с рекордовским шприцем, флаконы с притертыми пробками, вату. Казак, оставив винтовку, засучил рукав Кочубею. Рука была желта, худая, безвольна.

Врач протер спиртом место, предназначенное для укола, двумя пальцами натянул кожу и вогнал шприц.

Кочубей приподнял голову. Расстегнутый ворот ситцевой сорочки обнажил волосатую костлявую грудь, покрытую багровыми пятнами.

— Шо вам ще от меня надо? — мучительно морщась, спросил Кочубей.

Подполковник повторил предложение. Капитан Черкесов, забыв о разнице в чинах и положении, навалился на сытого полковника.

Кочубей, медленно и тяжело дыша, с недоумением обвел глазами все это сборище, пришедшее полюбоваться на его муки. Он видел офицеров, людей, против которых бросал свои крылатые сотни, людей, борьба с которыми была задачей его буйной жизни. Жены их и то не были похожи на женщин — это были прежде всего «мадамы», как называл их Кочубей. Его сейчас окружили обломки мира, вызывавшего бурный протест его пламенной и целостной натуры.

Даже на стенах надменно напыжились хорошо известные ему генералы, неоднократно битые им, а здесь прославленные как герои... Кочубей попытался приподняться. Табуретка закричала. Председатель, начиная терять терпение, раздраженным голосом произнес:

— Последний раз, подсудимый, соглашаетесь ли

вы принять предложение командования и сохранить жизнь?

На щеках Кочубея выступили красные пятна. Он уперся в табурет руками так, что хрустнули кости в локтях, и поднялся. Шагнул к барьеру, но, видно, не рассчитал своих сил, покачнулся и... повалился грудью на перегородку. К нему подскочили конвойные. Кочубей затряс головой:

— Не надо помощи! Геть!

Подмаргивая, подозвал подполковника:

— Подойди. Я на ухо, бо так соромно.

Подполковник, передернув плечами, настороженно приблизился к подсудимому.

— Еще ближе, еще, не укусю, — горячечно выдыхал комбриг.

Офицеры подхлынули к скамье подсудимых, оголив ряды стульев. Председатель суда, не совсем решительно подвинув к себе стул, сел и склонился к подсудимому, положив ему на спину руку. Кочубей привлёк подполковника к себе, цепко, как-то по-кошачьи, схватил его шею.

— Отдаю тебе, стерва, все, що могу! — выдохнул комбриг. Отхаркнулся и плюнул подполковнику в переносицу.

Колени Кочубея подогнулись, он рухнул на пол.

* * *

Кочубея везли на казнь. Вслед конвойной страже, по бокам и забегаая вперед, провожали его жители-прикумчане. Впереди всех — удивленная, растрепанная старушка. Полушалонок свалился с головы, и седые волосы выбились из-под чепца. Она бредет по пыльной обочине дороги, и в лице ее скорбь и ужас. Пожалуй, тридцатого провожает на смерть она, и первым был ее сын, большевик-матрос.

— Проклятые, ой, боже ж мой! — кричала она, бросаясь под ноги лошадям. — Ой, проклятые, смертью живущие.

За ней причитали женщины, поднимали детишек над головами, чтобы запомнили дети образ знаменитого красного командира.

— Ой, проклятые, смертью живущие! — выкрикивала старуха, и юнкера боялись опустить на нее плеть.

Неслась густая пыль, поднимались высоко вихревые

столбы. Дули в тот день сразу два ветра — туркестанский и черная буря.

Народ прибывал. Дорогу подводе прорезали плетями.

Кочубей очнулся.

— Шо это голоса бабы? За покойником? — спросил он.

Терский казак, сидевший в задке, на соломе, повернулся и буркнул, не поднимая глаз:

— Голосят по твою душу, казак.

— Пусть не голоса бабы, — сказал Кочубей. — Я ще возвернусь и орлом покружу по степу.

— Не возвернешься, казак, — вздохнул терец и, упорно глядя на сапоги Кочубея, тихо попросил: — Тебе чеботы не потребны уже. Дозволь стянуть?

Кочубей перевел взгляд на ноги. Голенища собрались в гармошку, торчали голубые ушки, на передках потерялась кожа — это от стремян. Зачем нужны теперь сапоги Кочубею?

— Тяни, — разрешил он, шевельнув ногой.

Терец, оглядываясь, чтобы не видели юнкера конного конвоя, поплевал на ладони и торопливо разул смертника.

— Спасибо, казак, — поблагодарил он и начал разглядывать подошвы. — Эх, атаман, атаман, и под стать разве тебе такая обужа? — Черкнул по подошве черным и крепким, будто железным, ногтем. — Потребно уже подметки подкинуть. А на ногах у тебя были как новые.

— Поперек песчаную степь перемахнул. Вперед и взад. Видать, время чеботам пришло, — утешил терца Кочубей.

Кляча уныло тащила дроги. Насмешкой над лучшим джигитом Кубани были эти, будто нарочно подобранные, нудные, мохнатые коняги...

Провода гудели. На откосе телеграфного столба была набита перекладина. Кочубея сняли с повозки и, поддерживая, повели к виселице.

Кочубей был наружно спокоен. Плотнo сжатые узкие его губы чуть-чуть вздрагивали. Взгляд был блестящ и насторожен. Казалось, он примирился со смертью и невозмутимо шел к ней, но его тревожило, не подвох ли это. Может, еще что-либо придумал каверзный враг. Прискакали офицеры-марковцы и начальник контрразведки. Вошли в круг. Капитан Черкесов, бра-

вируя, ковыряя в зубах и отплеываясь в песок, приблизился к виселице. Ветер сдувал фуражку, и он придерживал ее одной рукой.

— Счет им потерял, — бахвалился марковцам контрразведчик, — доверить некому. Терцы — жулье. Гусары — мальчишки.

Капитан опустил ремешок у фуражки. Теперь он походил на бравого немецкого шутмана. Марковцы, раскрутив веревку, ловко перекинули ее через перекладину. Один из них подошел под столб и примерил своим ростом высоту.

— Хорош, — удовлетворенно сказал офицер. — Кочубей на полголовы ниже. Вот тут и повиснет. Подводите. Мы его с протяжкой.

Кочубей ступил несколько шагов, поднял глаза вверх. Ветер относил веревку. Она стучала по столбу. Кочубей широким жестом провел ладонью по шее.

— Может, штыками або с маузера, — попросил комбриг.

— Испугался? — поиздевался Черкесов.

— Падло! — презрительно выдавил комбриг, скрипнув зубами. — Кочубей испугался?! Падло кадетское!

На шею положили петлю. Руки туго скрутили за спиной тонким скрипучим шпагатом. Кочубей гордо откинул голову. Ветер начал тянуть марковцы, думая после, когда повешенный оторвется от земли, прикрутить конец веревки за свежесрубленную выщерблину столба. «Повесить с протяжкой» — так называли такой способ искушенные в этих делах марковцы. Кочубей скривился. Он огромным напряжением воли не терял сознания. Вот пальцы ног комбрига отделились от земли, он захрипел, передернулся... Ветер оборвался у самой перекладки. Кочубей свалился лицом вниз.

— Ой, боже ж ты мой! Ой, праведная душа! — заголосила снова старуха.

Народ загудел.

— Выручай! — крикнул кто-то звонко и молодо.

Толпа навалилась. Старуха прорвалась и упала к ногам Кочубея, обнимая колени его. Юнкера взвили на дыбы коней, сдерживая напор. Старуху оттащили.

Кочубей, сляясь подняться, грубо ругал офицеров. Наконец он встал на колени, потом рванулся и встал на ноги. Ветер, торопясь, связал сам начальник контрразведки.

— Тащи! — скомандовал он, обнажая револьвер.

Толпа нажимала, рокотала. Кочубей почувал, что он не одинок, что гул этот, тщетно перекрываемый ветром и свистом юнкерских нагаек, — гул грозного девятого вала, тонот развернутых лав.

— Бейтесь, товарищи, за Советскую власть, за партию, за Ленина! — выкрикнул он бодро и задорно, как боевую команду любимым полкам...

...Труп Кочубея мотался, поворачиваясь и покачиваясь. Желтели пятки и пальцы из продранных шерстяных, крашенных фуксином носков. У столба убивалась старуха, обнимая столб и царапая его ногтями. Вороны орали и кружились выше вихревых столбов. Каркали вороны, сносимые бурей, ныряли вниз, взмахивая крылом, как черным старушечьим полупалком. Кочубей покрылся мелким астраханским песком. На груди знаменитого комбрига висела издевательская надпись, сделанная второпях на фанерной продолговатой дощечке: «КРАСНЫЙ БАНДИТ КОЧУБЕЙ».

* * *

На квартире, последнем приюте Кочубея, осталась скромная черкеска, потертая песками и ветрами, а в ней растрепанный букварь и шапка бухарского курнея. В газыре черкески была найдена записка, написанная самим Кочубеем наполовину печатными, наполовину письменными буквами:

«Вот шо, я кончаю. Мою одежду, як шо можно, про-
сю доставить до дому, як последнюю память. Я верю,
шо скоро придет наша Красная Армия. Хай не поми-
нает меня лихом. Перешлите товарищу Ленину, шо я
до последней минуты отдал свою жизнь за революцию».

ЭПИЛОГ



о голубому небу проплывали кучевые облачка, светлые по краям и свинцовые внутри. Может, слетались облачка в большую громовую тучу, но здесь, в дельте Волги, в рыбацьем селе, было пока тихо и спокойно. До Эркетеновской ставки дотянулся кадет и замер, оставив в покое одиннадцатую армию. Приносили слухи из сторожевых застав в рыбацьи села Оленичево, Икряное, Оранжевое, где остановилась кочубеевская конница, что потекли на Маныч и дальше, на Царицын, полки Бабиева, Улагая, Султан-Гирея, под командой вновь объявленного кубанского генерала, барона Врангеля.

Лечились, выздоравливали, оправлялись от великих трудов кубанцы, ставропольцы и терцы, вышедшие из пустыни. Переформировывались. Набирались сил, накачивали мускулы и готовились к битвам. Из сотен стали эскадроны, из отрядов — полки, а из бригады кочубеевцев образовалась теперь дивизия, впитав в свои ряды всех, кто прибыл в Прикаспий не самоходом, а верхом, при седле и оружии. Много в дивизию вошло казаков с далекой Тамани. Шесть полков стали в селах боевым авангардом, и было у всех оружие, и обласкали всех, и затянуло жирком все обиды, как рана затягивается от времени и ухода.

Апостол был привязан близ турлучной кривобокой клуни, пахнувшей илом и рыбой. Конь поднимал сухую голову, вытягивал верхнюю губу, щурился, скоблил столб, к которому был привязан, оставляя на нем следы зубов и слюну.

В руках Пелипенко мелькали щетка и скребница. Он с очевидным наслаждением наводил лоск на своего боевого друга. От щетки клубилась едкая пыль, точно поблизости чересчур усердная хозяйка выбивала сухой веник. На скребнице скоплялась перхоть. Эскадронный

чистил щетку об острую зубчатую насечку скребницы, а после сдувал перхоть шумно и со свистом. Круп коня начинал вновь ворониться и приобретать с боков сытые отблески полумесяцев. Когда Пелипенко дернул по брюху скребницей, конь мотнулся и, пытаясь укунить хозяина, щелкнул зубами. Лошадь чувствовала щекотку, значит, дело шло на поправку, лошадь набиралась сил, оправляясь от боевой зимы и голодного предвесенья. Пелипенко подтащил бадейку с водой, развернул тряпицу, вынул небольшой обмылок и принялся за гриву. Он взбил пену на холке, и казалось — к какому-то балу готовится вороной конь, подставив шею на расправу цирюльнику.

— Был ты, Апостол, в кочубеевской бригаде на Кубани, а теперь в л-е-г-у-л-я-р-н-о-й дивизии в Прикаспии, — будто журил коня Пелипенко, плеская водой из бадейки, — носил сотенного, а теперь — эскадронного. Эх ты, несуразный Апостол, эй, и перевертень ты, конь мой быстрый.

Пелипенко кончил уборку, протер Апостола шинельной суконкой. Потом завернул обмылок, поглядел на небо.

Плыли, перестраиваясь, то смыкаясь, то удлиняясь, облака. Тишина. Спокойствие.

— Вот так и в Кирилях. На четвертый день пасхи, — сказал вслух Пелипенко.

Да, только на четвертый день пасхи бывает такая тишина в кубанских станицах. За первые трое суток поедят, повыпивают все скопленное семинедельным великим постом, понабивают — кому след, кому не след — сопатки. Три дня балабонят колокола, пугая голубей и галок, три дня на колокольню имеют доступ все, кто захочет. Только раз в году, на четвертый день пасхи, безмолвны станицы: роздых, сон... и так же по небу, похожему на корыто с подсиненной водой, тянутся влажные, пухлые, как овечья «вовна», облака. Вроде не сами они, а тянет их кто-то на невидимой веревке.

...У Петра Редкодуба усы седые, нагорелые от курева. Палит какой-то навоз Редкодуб уже третий месяц, водоросль трухлявую, толченную и высушенную на сковородке. Стали усы у казака такие, точно пьяный маляр ткнул ему под нос щетку в охре. Труха из морской погани безвкусна, но дымит и вроде кружит голову, и чадит взводный Редкодуб часто и долго, со вздохом вспоминая о скаженном кубанском самосаде да о

заусайловском махряке, что доставляла станичная потребилка с Кавказского отдела и Екатеринодара.

Взводный пересматривал патроны, отпущенные Астраханью. Патроны привезли без «цинков», навалом в ящиках, клейменных непонятными буквами. Были короткие слухи: патроны английские в нашу винтовку лезли, в пулемете заедало — перекосы. Дал их Царицын, а там нахватили у кадетов. Редкодуб протирали патроны суконкой, макая ее в толченый кирпич. Везде под ногами песок, но не уважал песок взводный со времени отхода. Отняли пески у Петра любимого друга Свирида. А спроси его: «Чего кирпичом глянцеуешь, Петро?» — ответит: «Хорошего мало в твоём песке, только на зубах для хруста, а тут позадирает на патроны латуню, пошкарябает».

* * *

В том же дворе, на саманной завалинке, ковырялся старик в обветшалой крупноочковой сети. Долго раздумывал рыбак над каждой дырой и качал головой. Требовали невода замены, и если что и ценно было в них, так это чугунные грузила вперемешку с рваными осколками. Спускался старик вниз по Каспию, набрел на осколки и на человечьи и лошадиные кости. Куски лопнувших снарядов пошли хотя в дело, а кости... кому они нужны?

Тут же возле него работал швайкой боец, ремонтируя наборную уздечку с серебряными бляхами. Такие уздечки выменивали за десяток мериносов богатые овцеводы-экономщики у родовитых князей Чечни и Дагестана. Был боец у Кочубея, а раз был он у него, никто не заподозрит, что досталась казаку ценная сбруя путем обмена. Лопнула в двух местах уздечка — у трензельного кольца и у наглазника, появлялись в этих местах цветистые узоры от сыромятного вшивальника. За голову схватился бы любой шорник, заметив, как изувечил княжескую сбрую красноармеец-кавалерист, истыкав ее шилом и наварив на кожу секретной выделки ремни от дохлой коняги, павшей тут же, в Харбалах, от бескормицы.

У ног доморощенного шорника на снопе камыша лежало седло, раскидав по обеим сторонам путлища с резными чеченскими стремянами. Курпосый вихрастый

мальчонка, оставив игру в казанки, влез на седло и, гикая, начал сечь землю хворостиной. Мальчишка пылил, скреб землю ногами, шумно шмыгал носом, тщетно пытаюсь убрать с глаз долой зеленую сосулю.

— Эй, мальчонка, не вырони ее из носу. На седло не потеряй, — сказал боец и обернул к старику скуластое и точно опаленное лицо. — Внук небось твой, а? Чуешь, рыбалка?

Старик не торопился с ответом. Отложил сеть, вытянул правую ногу, изогнулся, полез в карман и долго шарил в нем, будто там были не только драный кисет и огниво, а много всяких вещей, и надо долго нащупывать и выуживать то, что тебе сейчас потребно. Кисет был похож на мешочек от поминаньяца. Трут огнива — на шнуре от нагана ставропольского полицейского урядника. Старик пошарил в кисете, вынул бумажку, заранее разрезанную на одну закрутку, ловко подхватил ее ртом и так, с приклеенной на губе бумажкой, ответил:

— Внук мой, факт. Сыны есть, значит, и внуками бог не обидел. Место мокрое. Живем подолгу, рожаем помногу.

Кочубеевец, шутливо цыкнув на мальчонку, подтянул к себе сноп камыша вместе с седлом. Снял козловую подушку. Обнажился скелет седла — лентик. Кочубеевец пощелкал по окованной луке.

— Кубань, Ставропольщину, Терек, Куму, прикаспийский степ — все обскакал на этом седле, а заразумки были повернуть свой скок по обратному направлению. Доброе седло, не то што твои сетки, папаша.

— Сетям срок пришел. Посчитать, десятый год без роздыху отработали свое с пользой.

Переменил тон и, хитро прищурившись, спросил:

— А от твоей скачки, казак, много ли барыша?

— Кому барыш, папаша, а кто и проторговался. С маузера доставал кадета, и пашкой порубались вволю, папаша, дай боже царство небесное товарищу Кочубею...

— Ты, видать, ум теряешь, — отозвался сердито Редкодуб, поднимаясь и отряхиваясь. — Может, живет да здравствует батко на радость трудовому классу, на страх врагам.

— Ой, хороши твои слова, взводный, слушал бы век их — и, кажись, все время по сердцу, как вареньем.

— А какие твои думки? — спросил осторожно Ред-

кодуб. Присел и начал собирать патроны, бережно укладывая их рядами, вверх обоями.

— Мои такие думки, товарищ взводный командир, что не такой батько, чтоб не объявился до этого времени, чтоб не проведаль свою бригаду, хоть и живет она не под дурным доглядом.

— Да, батько не такой, — согласился Редкодуб.

— Вон объявился же Батыш, — продолжал кочубеев. — Полковым командиром у Буденного товарищ Батыш. Передавали хлопцы, дуже убивался Батыш, узнав, что сгинул батько в безводном степу. Был слух, да как верить ему, будто ушел батько до Орджоникидзе в Осетинские горы...

— Нет, — отрицательно качнув головой, сказал Редкодуб, — не может быть у Орджоникидзе в Осетинских горах наш батько. Нам бы ничего не сказал товарищ Орджоникидзе, так на сорочьем хвосту докинул бы такое известие до Астрахани, товарищу Кирову.

— Разумное слово. Донес бы к нам весть ту товарищ Киров, кабы имел ее.

— Дай, боже, доброй памяти батько во всех племенах и народах, если уже не будет его к нам возврата, — сказал Редкодуб.

Справа над безмятежьем весеннего Каспия зарокотали, то утихая, то нарастая, моторы. Редкодуб приложил ладонь повыше густых белоснежных бровей. На Астрахань летела журавлиная стайка. Гул то нарастал, то затихал.

— Опять англичанин! С Петровского порта, а может, с Баку, — выдавил Редкодуб и, изменяя своей привычке, пространно выругался.

Гул уменьшился. Звено самолетов английских интервентов пошло на Астрахань.

* * *

— Казаки, на сбор. Гей, казаки-товарищи!

По улице скакал кочубеев, шныряя в седле, как егоза. Кочубеев был молодой, озорной казак, и, очевидно, поднять переполох в этом тихом селе доставляло ему особую радость.

— Казаки, гей, гей! Казаки-товарищи! — загорланил он, подстегнул коня и исчез.

Есть же такие озорники. Точно в седло ему всунули шило. Разве нельзя важно, чинно, как и полагается,

собрать на майдан товариство? Можно. И доверия ему было бы больше и весу его словам. Так нет, суматошит всех, баламутит. Думаете, под ним жеребец хороших кровей, из ноздрей дым, из очей пламя? Простая кобыла под его ветхим седлом, такая облезлая, что тьфу, а почему она носится, как точь-в-точь сумасшедшая, — непонятно! Промучил казак кобылу от станицы Дядьковской до вот этого самого села, и жрала она у него все, кроме дышла да стреляных гильз. Может, думаете, сам он видал разносолы? Какие там разносолы видал этот казак! Камыш да чакан¹, в праздник — верблюжьё голову, а сейчас, поблизости моря, — сухую селедку-бешенку, от которой, кажись, выпил бы все это невеселое Каспийское море.

А гикает казак, джигитует, то свалится с седла, то вспрыгнет да так подскочит на козловой подушке, что, кажется, вот-вот хрястнут позвонки у кобылки. В руках у него пика, а на ней красный флажок. Как же мог он протащить пику через всю бескрайнюю степь, когда голову, кажись, готов был с себя отодрать каждый и закинуть, чтоб не мешала ее свинцовая тифозная тяжесть?.. Что ж за пику проволока казак сквозь пустыню? Не пика это, а сотенный значок особой партизанской сотни. Где же взял его казак? Почему обрадовался Пелипенко, заметив его в руках казака, который вертел тот значок, как ему вздумается, и не сшиб все-таки ни одной печной трубы узкой улочки рыбацкого поселка. Перешел значок сотни ему, этому развеселому парню, когда, почуяв лихо, убред помирать в родную пустыню больной черной оспой и тифом степняк Абуше Батырь...

Вслед гонцу, точно по сговору, на разных концах села пророкотали трубы. Что делает тревога! Вот было мирно, спокойно; казалось, слышно было, как дохнут мухи. Пойди и, степенно минуя дворы, пересчитывай красноармейцев-казаков. На завалинках, на перекинутых бочках из-под вара, на связках очерета, а то и просто на земле сидели, лежали они. Заплатывали шаровары и черкески, накладывали на дорогое азиатское сукно парусовые латки, починяли уздечки, седла, чистили коней, соскребая с них навоз и коросту, прочищали наганы и маузеры, керосиня их и направляя дула на солнце, точно подзорные трубы. Пришивали на ру-

¹ Чакан — сочное болотное растение.

кава кумачовые звезды. Читали вслух в кружках партийные книжки и газеты.

А тут, полюбуйтесь! Даже сам Пелипенко, считай, уже почти полковник, выволок седло из клуни, кинул на Апостола, и черт его знает, когда он успел подтянуть подпруги. Может, на скаку? Так бывает, но только при очень уж большой спешке, как, к примеру, под Воровсколесской, против Покровского, когда сам командующий носился по боевому полю в одних исподних штанах и ночной рубашке.

И нужно уметь сделать так, как Пелипенко. Доскакать до площади, никого не сбив, не перекувырнуться вместе с конем через неудаху-пластуну, не повалить забор, проскальзывая, точно угорь, в узкую щелку промежду десятка прущих во весь опор казаков, занявших тесную улицу. На то он и эскадронный, чтоб превосходить в этих качествах своих подчиненных. Ловкость и сметка ему нужны до зарезу. Какой же он будет эскадронный командир, если приползет на сборное место последним?

* * *

Пелипенко долго протирали глаза, пучил их. Что такое? Его бросило сначала в жар, а потом в холод. Ему хотелось обернуться к братьям своим, к эскадрону, выстроенному во фронт перед самым начальником дивизии, но боялся Охрим Пелипенко. Что за чертовщина? Не наваждение ли? Обернись — и заметит эскадрон или ослиные уши, выросшие неизвестно когда, или козлиные роги, а может, лицо засветится, как у оборотня. Эскадронный уцепился за руку и снова уставился вперед.

Вместе с начдивом Хмеликовым, вместе с начальником штаба и с каким-то еще великим начальством на вороном лысом коне красовался их комиссар Василий Кандыбин, поворачиваясь и поблескивая серебряным эфесом дагестанской шашки. Раз тут комиссар, выходит, где-то рядом должен быть их батько Иван Кочубей. Может, он спрятался за спины и укрылся штандартом, что держит в руках какой-то черномазый мальчонка, точно не нашлось в дивизии под штандарт натурального казака. Но что это? Что-то больно знакомо лицо этого мальчишки. Правда, тогда оно было круглое и красное, как разрезанный арбуз, а сейчас желтое и длинное, точно дыня.

— Хлопцы, Володька! — почти ужаснулся Пелипенко.

— Володька, — подтвердил Редкодуб, стоявший на первой линии как командир первого взвода.

Пелипенко рад был этому неожиданному слову. Он пришел в себя, тихо окликнул взводного, и когда стремя Редкодуба звякнуло у левого бока Апостола, Пелипенко сказал, чуть сгибаясь влево:

— Ей-бо, Петро, это Володька!

— Ой, Охрим, а ведь, кажется мне, на Володьке батькин маузер. Урмийский маузер, персидской золотой чеканки.

Пелипенко на один шаг подтронул коня. Эскадронный узнал маузер Кочубея.

— Ой, великая шкода, великая шкода, видать, стряслась, — пробормотал Пелипенко и хотел было перекреститься.

Уже замахнулась рука и у газырей упала вниз. Вспомнил — креста нет, давно коммунистом стал, стыдно сделалось эскадронному. Оглянулся.

— Может, одарил комбриг Володьку? Какая ж тут испуга? — сказал он с достоинством. Вглядываясь, похвалил: — Вытянулся Володька за малое время. Натуральным стал казаком.

Партизанский сын был на темно-гнедой кобылице, белохрапой и белоногой. Красавица лошадь в тот памятный день была под приемным сыном кубанской бригады. Кобылица не стояла на месте, и подстриженная грива ее крутой шеи щетинилась, словно сапожная щетка. Она закидывала голову теми порывистыми движениями, которыми животное пытается во что бы то ни стало избавиться от нудных мундштуков. Кроме маузера на Володьке была известная всей бригаде шашка, отделанная рогом горного тура, та шашка, которой хитро хотел завладеть покойный старшина Горбачев. Володька узнал Пелипенко, качнулся вперед, заулыбался. Эскадронный обернулся к строю.

— Хлопцы, — сказал он тихо, но басовито, — узнаете партизанского сына?

Зашелестели хлопцы, приосанились. Была команда «вольно», и многие заворачивали на палец ус, перемаргивались, крикали.

— Может, за ним и сам батько? — осторожно сказал кто-то.

— Тю на тебя! Батько, видать, зараз у Ленина, колбасой балуется.

— Раз нету Левшакова, без колбасы не обошлось!

— Со всем штатом батько там, — бросил скуластый казак, оглаживая не то коня, не то княжескую уздечку: — Ахмет, Рой, Игнат...

Потом стихло все. Позванивали только трензеля, когда мотали головами кони, да кое-где лязгали два дружка стремя о стремя.

Говорил начальник дивизии:

— Отход одиннадцатой армии — не разгром. Мы имели крепкие тылы и железное руководство ленинской партии. Мы непобедимы. Гибли люди, становились кони, мели над ними метели, но теперь снова готовы к бою полки, бригады, дивизии. Наша задача — двинуться снова на врага и разбить его, и залогом этого пусть будет это знамя, простреленное, окровавленное, но пронесенное от Кубани до Волги...

Начдив объявил знамя и новую нумерацию полка. Оркестр заиграл «Интернационал». Перед фронтом, перед рядами, блеснувшими узкими кубанскими клинками, проскакал Володька. Рядом ритмично цокали подковы двух всадников, сопровождавших знаменосца. Володька вздорвался глазами со всеми этими знакомыми и близкими людьми. Его сердце было полно горячей радостью, когда он узнавал лица, коней, шашки, уздечки. Кого по повадке узнавал Володька, кого по осанке, кого по пышным усам или по известной ему черкеске, имевшей тоже свою историю, так как была она добыта или спита на глазах всей бригады, у всех на виду.

На правом фланге развернулся штандарт, и все повернули головы вправо. Кажется, первым крикнул Василий Кандыбин, вскинув вверх руку. «Ура» понеслось громовой бурей по рядам всадников, то замирая, то вспыхивая с потрясающей силой. Кто может поломать такую силу? Гляньте вы на них. Курпейчатые шапки облезли, свалиались в узлы, как на шелудивой овце, шаровары, когда-то соперничавшие с пестрыми тюльпанами Недреманного плато, изнашивались, превратились в сборище латок разных цветов, формы и качества. На бешметах и черкесках повыжигали пески и костры огромные дыры. Щегольские гарусы, повументы, басоны башлыков, шанок и штанов вылиняли, растрепались,

вытрусились, но по-прежнему ясно горели глаза кочубеевцев, так же как оправа их оружия, приобретающая ценность и блеск только с годами.

* * *

Тишина. Такое безмолвие, что, казалось, слышно, как потрескивает вода, затягиваясь вечерним стеклянистым салом. Резко гукнула, а потом застрекотала какая-то птица. Ерики, камыши, Волга — кто его знает, что за птица обитает в здешних местах? Не та рыба, и пернатость не та, что в кубанских плавнях, на Кирпиях, Челбасах, на Лабе.

Кочубеевцы сидели на земле, на сырой весенней земле, склонив головы. Здесь были и казаки, и горцы особой партизанской, и иногородние, и шахтеры... Спаяла их всех боевая неразрывная дружба. Они образовали круг, и в нем были их, теперь уже полковой, комиссар Кандыбин и Володька. Пробовал пересчитать комиссар бойцов, отказался. Боялся — не выдержит. Половины нет... да какое там половины! Пораскинули дружки-товарищи могучие руки по степям, бурунам. Кураями скатились в песчаные балки отважные головы...

...Чего ж так тихо стало в рыбацком селе? Докладывал партизанский сын о гибели их командира, батьки и атамана. Как умер Левшаков, закутанный в мохнатую карачаевскую бурку, как сразили Игната и незамаевца, как обложили последний отряд лихие люди...

Когда кончил Володька, сделалось еще безмолвней, тише. Над очеретовой крышей пропорхнула летучая мышь, и свист ее щуплых крылышек показался взмахом крыльев огромной птицы, взмахами орла или грифа.

Первым встал комиссар и снял белую папаху. За ним поднялись казаки.

— Слава Кочубея — наша слава, — сказал комиссар. — Был дорог он нам так же, как мы ему. Пришлось положить жизнь Кочубею за счастье трудового класса, за партию, за светлое будущее. Вырвали клинок у Кочубея, но остались пашки у нас, у его бойцов и соратников. Захрустят кости не у одного еще беляка. Слава Кочубею...

В эту ночь не заснул комиссар. Восемьдесят два бойца попросили записать их в партию Ленина. И каж-

дый, точно по взаимному уговору, обнажил свой клинок и давал обещание не снимать пашки, пока на советской земле будет хоть один из кадетов.

* * *

Горячим летом, когда сгорают, как на костре, даже ковыльные степи и полынь, от низовьев Терека на революционную Астрахань двинулся экспедиционный корпус генерала Драценко.

На сытых конях гарцевали командиры вновь сформированных полков — Чеченского, Кизляр-Гребенского, Моздокского, Кубанского... Богатое терское казачество выставило тысячные полки; англичане, не скупясь, подвезли пулеметы, френчи, галифе, патроны, эмалированные фляги, обшитые сукном. Мастера-кумыки, работая днями и ночами, наковали клинков, так как не хватало старинного холодного оружия. Никогда еще казахи окраины не держали под ружьем столько народу.

Двумя колоннами двинул генерал корпус, думая ударить первой колонной по-над Каспием на Бирюзьяк — Алабугу — Лагань, идя от Черного Рынка, а второй, святокрестовской группой закрутить фланг и с налета захватить Астрахань. Позади них горели разграбленные станицы и села, на виселицах высушались и чернели трупы. Может, еще доклевывало хищное воронье Кочубеевы очи и колыхалось тело комбрига, обдуваемое знойными ветрами, а по пустыне разостлались бунчужные сотни.

Генерал уверенно шел воевать древний прикаспийский город. Знал Драценко: выступил одновременно генерал Толстой во главе уральской армии, огибая город с востока. А в то время как они затянут петлей шею города, вверху на Волге, у Владимировки и Ахтубы, перехватят, точно ножом горло, генералы Улагай и Бабиев.

В Астрахани, в рабочих селах Прикаспия и волжской дельты, в полевых лагерях прозвенела боевая тревога...

В Харбалих стало пусто, просторно. Высыхающий помет, копытные следы, ямки от коновязных кольев. Пыльные выбитые круги у завалинок, засоренные подсолнечной шелухой да тараночной шкуркой, — места,

где плясали кочубеевцы в часы досуга. Вот все, оставленное полком, ускокавшим навстречу врагу.

На песке у тихой воды рассыхались баркасы, или кугасы по-здешнему, стекала с крутых боков кугасов вязкая смола, и рыбалка-старик, тот, у кого квартировал взвод Редкодуба, хмурился, вслушиваясь в близкий орудийный гул. Возле него кучкой грудилась загорелая и белобрысая детвора. Почти один на все село остался старик. Ушли с красными кавалеристами рыбалки, подались за ними и женщины. Бросили на просторных теперь улицах и у пустынного моря детишек своих на присмотр дряхлым дедам.

* * *

Седьмая кавалерийская отходила под напором многочисленного противника. Дивизия грызлась с врагом у каждого естественного рубежа — ерика¹. Люди не спали двое суток, раненые не выходили из строя. Генерал стремительно наступал, захватив Бирюзьяк, Эркетиновскую ставку, Лагань, Оленичево, Яндыки.

Орудия Драценко загрели у села Басинского. Кавалерия измоталась. И вот на помощь подошла пехота.

Противник остановился. Басинский плацдарм преградил путь к городу. В траншеях, наспех вырытых в рассыпчатой земле, пластунов генерала Драценко встретили стрелковые части, курсанты и рота бывших камышан, выведенная из прикумских займищ. Снаряды белых поджигали село. Над редкими витками колючей проволоки появились серые фигуры пластунов. У пластунов от зноя перегорели глотки. Они шли в атаку молча. Штурм был отбит. Повторная и третья атака... Снова отбиты.

Драценко отказался от лобового удара. Генерал направил в обход пехоте пять конных резервных полков. Жители доносили недобрые вести. Конные массы скачут по широкой степи, одинокие кибитки разграблены и сожжены. Степняки подлетали на своих мохнатых лошаденках, долго кричали неизвестно что, потом просили воды, глотали из фляг и потом уже в двух-трех фразах объясняли то важное, для чего они неслись сломя голову к большевистскому лагерю.

¹ Ерик — узкий непроточный залив, глубоко вдающийся в сушу.

— Обход со стороны Башмачаговской, — сказал начдив Хмеликов, расспросив степняков. — Это понятно. Они ищут слабое место, чтобы обрушиться на Астрахань.

Начдив повернулся к комиссару дивизии:

— Мигунов! Как люди?

— В эскадронах прошли летучки.

— Ну?

— Не допустить...

К Башмачаговской повел бригаду Кубенко.

Башмачаговская — пункт, обозначенный только на военных картах, где не чураются изображать камни, верстовые столбы и редкие, но приметные деревья. Башмачаговская — домик бывшей почтовой станции грунтового Кизляро-Астраханского тракта. За ней возвышенность, увалы, холмы, лощинки со светло-зеленой немошной травой и полное отсутствие воды. Впереди — сухая песчаная степь. Здесь не слышно конского топота, так как копыта лошадей вязнут в сыпучем песке и знойной пылилке. Конные атаки здесь лишаются своей батальной прелести, не поражают звоном и гулом.

Хмеликов остался на стыке пехотных и конных групп, у истока соленого ерика. Начали поступать донесения с фронта. Гонцы были с черными, запекшимися губами и сухими, выжженными лицами. Люди дрались, не имея во рту ни капли воды. Во фляге начдива что-то болталось. Он передал ее только что прибывшему посыльному 37-го полка. Посыльный пил, и кадык бегал под кожей. Выпив и поймав улыбку начдива, боец перевернул пустую флягу и виновато протянул ему:

— Вы как же сами-то, товарищ начдив?

— На фронте вовсе нет воды?

— Да.

Боец вытер усы, улыбнулся. Провел пальцами по зубам, снимая черную гарь. Пыль это, песок, дым? Кто знает, откуда накипает всякая дрянь на зубах во время непрерывного боя. Появился Кандыбин. Его белая черкеска из кавказского сукна была покрыта свежими пятнами крови, бока коня завалились.

— Ты ранен, Василий? — спросил Хмеликов.

— Нет. Это следы восьмой атаки.

— Как дела, Василий?

— Жарко!

— Ага!..

Они оба поскакали к флангу, и за ними стлались

неутомимые черкесы все той же кочубеевской партизанской. Не хватало только Ахмета, его крика, визга и особого боевого клекота, а то было бы все точно так, как в сражениях в бассейне Зеленчуков и Кубани.

Начдив видел, как кинжальные пулеметы, умело скрытые по гребням увалов, подрезали белогвардейскую лаву. Грязный и мокрый появился Пелипенко. Он держал по бокам пару трофейных помученных коней. Помощник командира полка ругался:

— Таких коней! За такой бой!

— Подбил конский состав у белых, как прошли пустыню, — сказал Хмеликов Кандыбину и улыбнулся.

Пелипенко приказал расседлать трофеи и отпустить на волю. Облегченные лошади повалились и стали кататься, сверкая всеми четырьмя подковами. На потных боках и спинах налип песок.

Пелипенко отдувался, вытирая лицо и шею шанкой. Потом слез на землю, снял сапоги, сунул их в тороки и снова вскочил в седло.

— Теперь свободней, — сказал Пелипенко, помахивая босыми ногами и грязными штрипками.

Комиссар поодаль тихо беседовал с эскадронными и взводными политруками.

— Разулся! Вроде не по форме, — заметил Кандыбин, мельком глянув в сторону Пелипенко.

— Тут не до жиру, абы быть живу, — отмахнулся Пелипенко. — Какая там форма, Васька, когда под тобой юшка!

Подъехал Володька со знаменем в сопровождении десятка всадников первого эскадрона. Володька держал штандарт чуть наискось. Новенький кожаный бушмат¹ древка был натянут повыше локтя, конец древка золотел, чехол был снят и переброшен поверх тощих козловых сакв с зерном. Начдив вызвал штандарт кочубеевской бригады для боя. Он нарочно не провел церемонию встречи штандарта, но с удовлетворением заметил, как подтянулись и приободрились бойцы, увидев старое знамя.

Володька кивнул Пелипенко и, заметив его босые ноги, удивленно приподнял брови.

— Опять в слепцы записался, Пелипенко? — спросил Володька и подмигнул Кандыбину.

¹ Бушмат — ременная петля, наручник на древке знамени.

Володька говорил баском и уже не называл Пелипенко дядей. Прошло много времени от начала его бранной жизни в кочубеевской бригаде, и поравнялся во всех правах партизанский сын со своими приемными отцами.

— Видать, что так, Володька, — ответил ему Пелипенко. — Вот органа нету, а органы глохнут, — он взялся за уши.

Близко рывкнул разрыв, и принесло дымку пороховой гари.

— Тут не Крутогорка. Шкуро стесняться нечего. Скидай гимнастерку, — крикнул Володька, — а то латать придется после боя!

— Это дело, — согласился Пелипенко, расстегивая ворот и навешивая оружие на луку седла. — Верно, Володька. Жаль рубаху. Пускай рвет отцовскую шкуру, проклятый кадет.

— Было б за што шкуру рвать, земли воевать, — сказал казак из группы всадников охраны штабдарты. — Песок да пылиука. Тоже земля!

— Земля тут, верно, незавидная, — добродушно согласился Пелипенко.

— Выходит, через прикаспийский степ Кубани не видно, — подтрунил кто-то над ним.

Пелипенко оглянулся. Казаки стояли развернутым фронтом, готовые к бою. Подтягивали пояса. Курили, передавая сигарку по рядам, на одну затяжку. В рядах находились легко раненные. Им помогали дружки потуже завязать бинт, заправляли вату под марлю, чтоб было поаккуратней. Все были спокойны, сдержанны, не переругивались между собой. Слишком близко к каждому из них витала смерть, чтобы заводить свару и перебранки. Пелипенко вздохнул. Подъехал к Капдыбину:

— Знаешь, Василь, чует сердце мое, дойдем мы таки опять до Кубани.

Комиссар внимательно посмотрел на полуголого Пелипенко — помощника командира полка, подготовившегося к страшной сече, — кивнул головой, пожал ему руку.

— Остались минуты, — сказал комиссар.

Орудийная пальба усилилась, хотя солнце, огромное и кровавое, катилось в сонные воды Каспийского моря.

— Драценко готовит последнюю атаку, — сказал Мигунов.

По-за увалами зачернели всадники белой боевой разведки.

Хмеликов, оставив по степи на широком фронте редкий заслон, начал подтягивать эскадроны к правому флангу, накапливая сильный конный кулак. Этот удар должен был решить судьбу Астрахани.

— Вот сейчас бы батьку Кочубея, — бормотал Пелипенко, облизывая губы шершавым, точно у быка, языком. — Чи слово знал батько?

Огненный шар солнца наполовину ушел в воду. Сытая спина Пелипенко, перекрещенная ремнями, отливала красной медью. Половина неба еще горела и лучилась. По степи бежали черные продолговатые тени. Теперь не будут мерещиться лиманы, осока, камыши, реки.

Орудия гремели реже.

От начдива разлетелись ординарцы, подчиняя воле начдива эскадроны и полки.

Кандыбин ожидал начала последней схватки, перекидываясь словами с Пелипенко. Давно уже снова столкнулся их боевой путь, но поговорить приходилось вот так — мельком, рывком, когда разговор по душам успокаивает напряженные нервы. Много общего связывало двух кочубеевцев; можно было бы сто ночей напролет болтать и не переговорить всего, что накопило за это бурное время.

— Говори, Володька, видел ты Наталью?

— Встречал в Астрахани.

— Как она там? — подморгнул Пелипенко. — Был слух, сынок в приплоде.

— Сынок-то в приплоде, а вот отец в расходе.

— Жизнь такая. Своего приказу не отдашь. А отдашь — не послушает.

— А может, и послушает?

— Может, и послушает! Вот зря она с тридцать третьей дивизией ушла, зря. Что ей в седьмой хуже было?

— Не сама ушла, послали. Тоже на фронт пошла под Воронеж.

— И там жмут? Когда же край?! Я думал, Васька...

Пелипенко оборвал речь, приподнялся, приложив руку, державшую плеть, козырьком ко лбу.

— Гляди, кажись, начинается. Здорова кадетская

лава пошла. Казаки же! — восхитился Пелипенко. — А все же, видать, придется подкинуть маленькому Роненку на зубок штук пять казаков, вон тех кадетских перевертней.

Катилась, искрясь обнаженным оружием, волна. Последние лучи кровянили блеск шашек, и от этого десятая атака казалась необычной.

Хмеликов прищурился, покусал губы и, небрежно скомкав донесение, сунул его за пазуху. Для такого рода бумаг у начдива была приспособлена полевая сумка. Обычно начдив был четок, аккуратен и подтянут. Хмеликов подозвал комбрига Кубенко и указал ему место, куда он должен вынести пенным барашком встречную волну своей бригады. Комбриг отъехал, высморкался, отерся полой черкески и отдал приказания хриповатым голосом. Лицо его было черно, так же, как бешмет и черкеска. На угловатой фигуре командира бригады светлели только газыри и серебро оружия. Кубенко вынул шашку и попробовал жало ногтем. Пелипенко подтолкнул Кандыбина:

— Глянь, комиссар. Это с нашей бражки... видать, рубака.

— Пожалуй, тебе не уважит, а? Пелипенко!

— Не шуткуй, комиссар, — сказал Пелипенко, приподнимаясь и подтягивая пояс. — Вот поглядишь, как я с кадета начну селезенку выдирать.

Хмеликов подал певучую команду, и одновременно он и Мигунов обнажили клинки.

— Саша, надо сбить, — бросил комиссар, набирая в левую руку повод и прижав шенкеля.

— Не выведу дивизию из боя, пока не собьем, — сказал Хмеликов и поднял высоко над головой шашку.

Седьмая кавалерийская тронулась навстречу вражеской лаве.

Пелипенко все время подозрительно следил за новыми командирами. Находясь в течение всех этих суток в отрыве, он наблюдал только лихую боевую работу своего комполка Абраменко. Теперь он видел впереди в стремительном беге сухощавого Хмеликова, всегда такого спокойного, рассудительного; широкоплечего Мигунова, такого простого и не похожего на рубаку; Кубенко, замкнутого, недоверчивого к словам, но уважающего крепкое, не бахвальное дело.

Вот они в момент решающей судьбы Каспия, Волги, Кавказа спокойно выбросились вперед, точно зная,

что нет слаще кочубеевцу, чем видеть бесстрашие своих командиров и их боевую ухватку. Опьянило сердце Пелипенко это новое разудалое начальство.

— Васька! Комиссар! — загорланил он. — Вот бы добавить к ним батько!

Метались в голове Пелипенко горячие и стремительные, как атака, думки: «Жаль, нет Кочубея, нет батька впереди вместе с этими командирами. Вполне поладили бы и помирились. Нечего было бы ему петлять по коварной, негодной пустыне».

Оборотился назад Пелипенко, крутнул над головой пашкой, сделав пять, а может, и все десять светлых свистящих кругов.

— За Советку власти! Помянем батько Кочубея!

— Помянем Кочубея! — рявкнуло в ответ.

Над полем боя, то свиваясь, то играя золотыми махрами и буквами, колотился штандарт, точно и не был он когда-то сорван с древка, будто и не гуляли по нему пули. Словно вечно молодое было это буйное знамя...

...И погнали генерала Драценко всадники бывшей бригады Ивана Кочубея, кубанцы и ставропольцы, вырвавшие в эту зиму жизни свои из цепких лап прикаспийской пустыни. И сбылись мечты Ивана Кочубея. Узнал о делах их сам великий товарищ Ленин, и прислал ВЦИК в награду от первой пролетарской республики Почетные революционные знамена полкам кавалерийской дивизии.

Это было только начало тех схваток, когда звенели по-над Волгой, по Украине, по Кубани и Ставрополю, по Польше и Крыму подковы и трензеля кубанских выносливых коней.

Вот и сейчас, после боя, после того как рассеялись в песках остатки кадетов, еще не дав роздыху зарезанным под пулеметными тачанками упряжкам, идет, развернув знамена, седьмая кавалерийская с песнями, с плясками, и на седле пляшет юный кочубеевец Володька. Обучился-таки партизанский сын искусству выкидывать разные колена и фортели, не сваливаясь на землю. Нет Наливайко, нет Айсы, нет Ахмета, а неплохо выходит наурская у Володьки, хотя давно уже и в помине нет кавказского несложного оркестра, взлелеянного преданным Ахметом.

Куда ж идет дивизия? Идет она к селу Оранжерейному, где ожидают баржи и буксиры, которые повезут

ее вверх по Волге громить генерала Бабиева, идущего на соединение с адмиралом Колчаком. Поджидают в Астрахани кубанцев рабочие, жители. Сам товарищ Киров взойдет на обитую кумачом трибуну порта, чтоб сказать пламенное партийное слово, от которого становится железным сердце и так напрягаются мышцы, что черта с два кто-нибудь сумеет вырвать из рук узкую кубанскую шашку.

Плывут знамена в горячем степном воздухе, колышались. Вот подул от Каспия ветер, слышится команда товарища Хмеликова: «Рысью!» Разматывает Володька штандарт во всю ширину алых полотнищ, разметанная, полощется грива, и кажется — ныряет в увалах и ложбинах порывистая лодка под бархатным парусом.

Мальчишка же Володька, и все детское ему свойственно. А потому, оглянувшись, точно думая, что и это стыдно перед усатым товариществом, украдкой целует краешек дорогого полотнища партизанский сын, мчится вперед, смеется, и солнце играет золотыми махрами.

Да разве одному Володьке любо и дорого багряное знамя?..

СКАЗАНИЕ О ВЕЛИКОМ ИСХОДЕ

Вот и прочитана книга об одной из трагических и героических страниц гражданской войны. И останется в памяти нашего сердца образ легендарного комбрига Ивана Кочубей, обаятельного в своей человеческой наивности и негнимо твердого в верности пролетарской революции. Роман «Кочубей» — одна из тех талантливых книг, что летописно рассказывает о простой и великой правде народной борьбы за землю, за волю. Вставший на правый бой трудовой люд России сокрушил профессиональную царскую армию, разгромил иностранную интервенцию. И не только «массой», «тьмой», «множествами». Он выдвинул из своих недр таких самородков-вожаков, талантливых краскомов, как Чапаев и Щорс, Котовский и Пархоменко, Буденный и Кочубей. О них слагались в народной молве легенды. А уж потом создавались книги и фильмы, полные, как в они сами, романтики борьбы за счастье народное и освобождение всего человечества. Именно таким предстает в романе и Иван Антонович Кочубей, определяя саму тональность повествования. Будучи истинным сыном народа, он привнес в повествование неповторимую образность языка, глубокое понимание жизни, любовь к просторам степного края. Того самого края, что был родным и для самого автора произведения.

Аркадий Алексеевич Первенцев родился на Ставропольщине, в небольшом селе Нагут. Детство его прошло в доме деда Андрея Никаноровича Афанасьева, жившего в станице Новопокровской. Самыми сильными впечатлениями тех лет, признавался позднее писатель, были рассказы деда о боях за освобождение Болгарии в 1877—1878 годах, в которых ему довелось участвовать. Об этом Первенцев поведал в повести «Баллада о детстве».

Самому писателю довелось стать свидетелем драматических революционных событий 1917—1920 годов на Кубани. Происходившее коснулось и его близких. Да и сам он оказался юношей в центре борьбы как боец продотряда. Именно эта глубинная причастность к живому потоку истории явилась самым весомым аргументом в его художественном сказании о великом исходе, каковыми предстают лучшие его книги — «Кочубей», «Над Кубанью», «Честь смолоду».

В двадцать лет Аркадий Первенцев стал комсомольцем и работал избаком в станице Новорождественской. Изба-читальня, как известно, в те годы была основным очагом культурной и идеологической работы на селе. Он выпускал стенную

газету, сплачивал вокруг себя активистов, проходил в житейской «буче» становления нового мира политическую закалку. Так складывалась биография души будущего писателя.

Вскоре его выдвинули на политпросветработу в Тихорецк. В 1926 году рабочие Тихорецких паровозных мастерских избрали его депутатом городского Совета. Спустя некоторое время Аркадий Первенцев был призван на службу в Красную Армию.

Служил он в кавалерии. Сначала рядовым курсантом в 5-й Ставропольской имени Блинова дивизии, затем командиром сабельного взвода. После возвращения со службы в Тихорецк вел активную патриотическую работу среди рабочей молодежи. По его инициативе организовался 1-й Тихорецкий полк с полковой школой, где Аркадий Алексеевич был на должности начальника штаба. Отсюда, из полка, в 1929 году он был направлен в Москву на учебу. Учиться пришлось на вечернем факультете МВТУ имени Баумана, поскольку на жизнь нужны были средства, он зарабатывал их на заводе.

В круговерти столичной жизни остро ощущалась тоска по родным степям, которые снились ночами. И однажды захотелось поведать о прожитом и пережитом. Да и сама обстановка в мире, полном суровых предупреждений о грозящей войне, трудовой энтузиазм заводчан и интенсивность духовной жизни столицы заряжали творческим вдохновением. Не миновали его души и прекрасные книги о тех годах, о тех событиях, в которых довелось участвовать на Кубани самому Первенцеву. Взахлеб были прочитаны им «Падение Даира» А. Малышкина и «Железный поток» А. Серафимовича, «Чапаев» Дм. Фурманова и «Разгром» А. Фадеева, «Как закалялась сталь» Н. Островского и особенно первые книги «Тихого Дона» М. Шолохова. Тогда-то и возник, видимо, в его сознании партизанский сын, любимец Кочубея Володька, прочитавший книгу Луи Буссенара «Пылающий остров». Его взору открылся неведомый и далекий мир в радостном узнавании революционной борьбы. И возникло в растревоженной душе Володьки желание написать о них, о его товарищах по бригаде такую же героическую книгу.

«Перебирал Володька людей бригады, и ни на кого нельзя было возложить столь почетной обязанности. Писать было о ком, а некому. Володьке даже взгрустнулось немного, а потом снова провихрились перед ним боевые будни, прославленные подвиги, шумной ватагой взметнулись властители дум его — бесстрашные Кочубей, Михайлов, Кандыбин, Батышев, Наливайко...

Нелепой показалась ему мысль, что не будет о них известно, что не узнает никто об этих непостижимых людях. Ведь каждый день их жизни — это целый «пылающий остров».

— Напишут... ей-богу, напишут! — громко воскликнул Володька, вскакивая на ноги. — А вырасту большой — сам напишу.

И от этого внезапного решения стало ему настолько радостно, что захотелось прыгать, плясать и кувыркаться...

История жизни и борьбы Ивана Кочубея, фигура этого замечательного человека и личности тех, кто окружал его, буквально захватили Аркадия Первенцева, и он жадно бро-

сается в работу над задуманным произведением. Собирает документы, встречается с бывшими кочубеевцами, изучает биографии многих реальных людей, которые затем станут основными персонажами повествования. Это и комиссар кочубеевской бригады Кандыбин, и начальник штаба, бывший есаул Рой, брат комбрига Игнат, ординарец Кочубея адыгеец Ахмет, главнокомандующий армией Сорокин, его начштаба Одарюк и другие.

Но каждый из них в романе — не «двойник» реального лица, а полнокровный художественный образ, живущий и действующий по законам действительности, изображенной в произведении. Да и само произведение — далеко не точная хроника кочубеевской бригады, а художнически пересозданная реальность событий, происходивших в кубанских стенах. Романтика авторского отношения к героической фигуре Кочубея и его боевым товарищам не только предопределила пафос повествования, но и обусловила образную систему романа, приподнято-возвышенную, монументально-былинную. В стилистике романа заметно влияние гоголевского «Тараса Бульбы». Вслушайтесь, взгляните в картины изображаемого, и вы сами обнаружите это.

Вот, скажем, как описывается появление всадников во главе с Кочубеем: «...из тумана вырвались всадники, показавшиеся Кондрашову великанами. Не мудрено — всадники мчались стоя, размахивая клинками, в косматых бурках, развешивающихся на ветру... Впереди был Кочубей в белой папахе, на лучшем своем жеребце; кубанский башлык развевался по ветру и, казалось, вслед за отчаянным вожаком несясь трепетный сокол, пылая небывало ярким опереньем». И далее: «Мосты прозвенели на ураганном аллюре, и на тот берег вырвалось на стрельчатом древке багряное знамя».

А вот как изображается месть Натальи, совершившая свой подвиг милосердия. «К мосту медленно шла женщина в белом платке. Она казалась огромной в дымных испарениях реки. Фигура ее как бы плыла по туману, и голова будто достигла вершин тополей, подступавших к реке. Дойдя до моста, она остановилась у перил, будто в нерешительности, и потом быстро побежала вперед».

И, наконец, прямое указание на подмеченный нами источник романтического воспроизведения героики народной борьбы: «Кочубей напоминал комиссару (Кандыбину. — *В. Л.*) атаманов запорожской вольницы, прославленных в казачьих песнях». Да и его боевые товарищи были под стать атаману: «Сподвижники Кочубея — виртуозы бранных подвигов: лобовой атаки мостов, ночных переправ через бурные реки, внезапных налетов, сабельных ударов грудь с грудью... Широко гуляла их слава, множилась, пленяла воображение».

В этот круговорот остросабельных походов включены все образные компоненты повествования. И былинная ширь окружающего мира: «Над пыльными чумацкими шляхами свились жгуты бурой пыли. У заброшенных колодцев снова запылали костры... Советская Россия готовилась к осаде». И картины природы и будущего мира, рисовавшиеся воображению бойцов: «Комиссар опустил руку на плечо Володьки, подставил лицо душному ветру, и вставали перед глазами в этой коричневой мгле прикумской полупустыни голубые квар-

талы многоэтажных домов, светлые корпуса заводов, гранитные берега каналов, бесконечные магистрали блестящих рельсов... Такими казались комиссару будущие пейзажи, и осуществление этой мечты было бы прекрасной наградой за эти годы борьбы и лишений». Романтически приподняты и сравнения, и метафоры, и эпитеты, коими наделял художник своих героев и их славные дела, «путь великого исхода». И высокой нотой неодолимости народа в битве за свою власть завершается роман. «Разматывает Володька штандарт во всю ширину алых полотнищ, разметанная полощется грива, и кажется — ныряет в увалах и лощинах порывистая лодка под бархатным парусом.

Мальчишка же Володька, и все детское ему свойственно. А потому, оглянувшись, точно думая, что и это стыдно перед усатым товариществом, украдкой целует краешек дорогого полотнища партизанский сын, мчится вперед, смеется, и солнце играет золотыми махрами.

Да разве одному Володьке любо и дорого багряное знамя?..»

Роман, опубликованный впервые в 1937 году в журнале «Октябрь», сразу же обрел популярность и принес автору известность. А. С. Макаренко писал о романе: «Такие книги, как раз такие, воспитывают людей, они умеют показать самую глубокую красоту человека в борьбе за освобождение, они умеют привлечь человеческую личность к этой красоте подвига, сделать подвиг полным нового содержания».

В Камерном театре режиссером Н. Охлопковым была поставлена пьеса «Кочубей». Написанная им вместе с Первенцевым по роману, пьеса обошла почти все театры страны. И пьеса, и книга призывали людей к бдительности, вселяли в сердца отвагу и мужество, которые вскоре оказались так необходимыми в жизни. Предчувствие войны, которым жила советская литература о гражданской войне и современной армии, оказалось пророческим. Советский народ встал на встречу фашистскому нашествию. И в его рядах оказались многие советские писатели.

В июне 1941 года Аркадий Первенцев становится специальным корреспондентом «Известий», затем «Красной звезды». Он пишет и публикует на газетных полосах статьи, очерки, рассказы о героической борьбе советских людей с фашистскими захватчиками. Зимой 1941 года писатель поехал на Урал, куда, как известно, были эвакуированы многие заводы из прифронтовой полосы. Он был поражен увиденным здесь. И прежде всего — самоотверженным трудом рабочих, большинство из которых составляли старая гвардия и совсем еще мальчишки. Они рассматривали свои рабочие места как боевую позицию, с которой вели огонь по фашистам многократным перевыполнением плана по выплавке стали, выпуску танков и самолетов, орудий и снарядов. О героическом труде рабочих Урала писатель рассказал в очерках, а затем в романе «Испытание», опубликованном в конце 1942 года.

В том же году А. Первенцев оказался на Южном фронте. Часто бывал на переднем крае среди солдат и офицеров, вживался в их быт, вслушивался в их разговоры, впитывал их думы, тяжкие, как дни и ночи противостояния врагу, радовался их радостями. Результатом этих наблюдений, прямого

приближения к душе солдата явились очерки и рассказы, собранные им в книги «Гвардейские высоты», «Комсомольский пакет», «Люди одного экипажа» и др.

Особую симпатию питал он к черноморским морякам: не раз выходил с ними на боевые задания в военное море, ходил в десанты с морскими пехотинцами. Летом 1942 года с ним случилось ЧП. Вместе с Евгением Петровым он летел на десантном самолете Ли-2. Неожиданно на самолет вышел вражеский истребитель. Уходя от него, Ли-2 на бреющем полете врезался в землю. Многие члены экипажа и пассажиры погибли, в том числе и Евгений Петров. Первенцев чудом остался жив. Его отправили в госпиталь, в Сталинград, затем перевели в куйбышевский госпиталь. Здесь он узнал, что эвакуированная в Пермь его мать при смерти. Не закончив лечения, он мчится в Пермь, но попрощаться с матерью не успел. Похоронив ее, просится на Южный фронт, где, как он узнал, готовился десант на Крым. Просьбу Аркадия Первенцева удовлетворили. О героическом десанте писатель позднее рассказал в книге «Огненная земля».

В непосредственном общении с бойцами Первенцев открывал для себя не только видимые примеры мужества и подвижничества советских людей, но и суровую правду переоценки вчерашних настроений о скорой победе над врагом, о легкой и малокровной цене ее. Причем возникла эта легкость не только от чьих-то субъективных пожеланий и установок. В ней была и определенная объективность: жила романтика побед в гражданской войне. Она, эта победная романтика, была характерна не только для литературы 30-х годов, но буквально пронизывала всю пропагандистскую патристическую работу этих лет. Речь в данном случае не о правомерности и необходимости такой работы, а всего лишь о констатации непреложного факта, нашедшего, как мы видим, свое художественное подтверждение и в романе самого Аркадия Первенцева «Кочубей».

Но уже начало войны, первые же соприкосновения человека с ее жестоким ликом буквально рушили представления о ней как о цепи подвигов. И одним из первых писателей, которые, следуя правде жизни, поведали о таком крушении облегченного восприятия войны, был Аркадий Первенцев в своем известном романе «Честь смолоду». В нем он поведал о сложном и мучительном процессе преодоления каждым себя прежнего в огне боев. И эту школу духовного мужания проходил главный герой романа Сергей Лагунов, его верные товарищи — Виктор Нехода, Яша Волынский и другие.

Особую убедительность внутреннему перелому в душе героя придает тот факт, что о происходящем с ним писатель доверяет высказать самому герою: «Война предстала передо мной, как тяжелая, каждодневная работа — лямка: кровь, муки, пыль. И полководцы должны были эти будни, усталость, раны, недоедание и недосыпание обратить в победу». Будничнее представляли в истинной величине и сами атаки, которые поначалу будоражили сердце. Вот одна из них: «Черные спины в коротких бушлатах мелькали впереди. Змейками развевались ленточки бескозырок. Моряки были вместе с красноармейцами, но я видел сейчас только своих ребят. Конечно, это они так громко, будто помогая себе, орут. Вряд ли

это извечный боевой крик «ура». Мне кажется, ребята просто орут каждый свое, стараясь кричать погромче и подольше, чтобы напугать врага своим приближением...»

Этапами в духовном мужании Сергея были жестокие марши и изнурительный труд, оборонительные и наступательные бои, гибель дорогих сердцу товарищей. В этой суровой фронтовой академии прошел Сергей Лагунов путь от солдата до настоящего боевого офицера.

Роман этот — «Честь смолоду» — очень современен по своему звучанию. Как и многие страницы других произведений писателя, обращенных к жизни послевоенной армии. В частности, о ракетчиках он сказал свое слово в многоплановом романе «Оливковая ветвь», о службе морской поведаль в романе «Матросы», о подводниках атомной подводной лодки рассказал в романе «Остров надежды». И в каждом из этих произведений он сумел запечатлеть чувство пути великого исхода, которое обрело себя в его творчестве незабываемым произведением в легендарном Кочубее.

Прошло более полувека после выхода его в свет, а роман живет. Энергии сердца художника, которая воплотилась в яркие, самобытные образы, в сочный и цветистый язык, в красочные пейзажные и бытовые картины, оказалось достаточно, чтобы заставить и нас, нынешних читателей, откликаться душой на духовное богатство этого произведения.

Заставить, несмотря на то что мы сегодня по-иному воспринимаем сам исторический смысл гражданской войны, понимаем некую наивность и героев, и автора в отношении к происходившему в России в то время. Истинность художественного слова проверяется сердечностью нашего отклика на него. Это подтверждает роман «Кочубей».

Бор. ЛЕОНОВ

Первенцев Аркадий Алексеевич

КОЧУБЕЙ

Художник *Н. А. Абакумов*
Художественный редактор *Т. А. Тихомирова*
Технический редактор *И. В. Яшкова*
Корректор *Е. М. Дубань*

ИБ № 4047

Сдано в набор 02.03.90. Подписано в печать 26.06.90.
Формат 84×108/32. Бумага тип. № 2. Гарн. обычн. нов. Печать высокая.
Печ. л. 8 1/2. Усл. печ. л. 14,28. Усл. кр.-отт. 14,7. Уч.-изд. л. 14,67.
Изд. № 4/5811. Тираж 100 000 экз. Зак. 51. Цена 2 р. 40 к.

Воениздат, 103160, Москва, К-160.
1-я типография Воениздата,
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3.

2 р. 40 к.

